

84/2Рз-Р.с)6
В.19

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ

Избранное

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

в трех томах

Том первый

РОМАН

«Прошу тебя, государь»

Том второй

ПРОЗА

Роман. Очерки. Рассказы

Том третий

**СТИХОТВОРЕНИЯ. ЭССЕ.
ВОСПОМИНАНИЯ.**



Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

Том третий

СТИХОТВОРЕНИЯ. ЭССЕ. ВОСПОМИНАНИЯ



Тюмень 2007

ББК 84(2Рос = Рус)6–5
УДК 882–1(571.12)
В 19

В 19 Анатолий Васильев
Избранное. Том третий. Стихотворения. Эссе. Воспоми-
нания. – Тюмень: ОАО «Тюменский издательский дом».
2007. 416 с.

ISBN 5–9288–0094–0
ISBN 5–9288–0100–9

© ОАО «Тюменский издательский дом»

«Анатолий Васильев: «И тоже пламенем объят»

«Мы прожили страшный век. Мне было семь лет, когда началась война 1914 года, и с тех пор мне помнится только плохое, хорошего было мало», — так подытоживает в финале своих воспоминаний о «всей человеческой жизни» героиня документальной прозы Анатолия Васильева Татьяна Белим. За этими безутешными словами — правда русской истории, жестокое «прессование» каждого, особенно невыдающегося человека. Весь ужас его положения был в невозможности спрятаться от истории в какую-либо «вторую действительность», например, в творчество. Но слово, данное герою Всевышним и представленное читателю в мастерской огранке Анатолием Васильевым, открывает ту бездну сопротивляемости агрессии, что живет в каждом из нас, что стоит за каждым, казалось бы незначительным фактом частной или общественно-политической практики. Есть и иной тип ситуации, когда слово художественное дано самому герою — будь то венгр Карой Лигети или россиянин Арсений Несмелов. И тут требуется обратное — восстановить документальную плотность истории, стоящую за высоким и вдохновенным словом героя, но при этом остаться лирически адекватным его диалогу со своим временем и пространством. Эту миссию и принимает на себя автор как художник, историк и человек.

Идея сущностного драматизма жизни при ее таинственной направленности и красоте была всегда присуща русскому офицеру и поэту Васильеву. Эта идея роднила его мир с миром Лермонтова, на которого он во многом духовно ориентирован. Не случайны стихи Васильева, посвященные автору «Демона» и «Героя нашего времени». Ранее обострение драматизма могло восприниматься им как состояние отчасти преодолеваемое. Он говорил о «чувствах и

пониманья и родства», «ворочающихся» в груди, о преодолении одиночества «в сквозных мирах лесных глубин» или в пути к женщине («Как к светлому причастию/Мы к женщине идем»). Пусть с ней не возникнет духовного совпадения («Ты – дорогой, я – осторонь/Через дни и года»; «Вот тебе только будет все-таки/Одиноко в моих снегах»), но есть чувство совместного полета «Ты всегда впереди меня/На один перелет./Машем крыльями медленно/Над вечерней водой»). Эти строки из стихотворения «Вечерние птицы», название которого совпадает с названием одной из итоговых книг Васильева. «Черные простыни» обыденности параллельны движению «вечерних птиц». Но у каждой птицы есть «птичья звезда», и она повелевает ее судьбой, ее небесным предназначеньем.

Поэту удастся заговорить драму, но не отменить ее. Поэтому он на протяжении уже четверти века осознает и подчеркивает в стихах вынужденность своего биографического пребывания в Тюмени. Художник культивирует в себе декабристский комплекс сосланности, противопоставляя городу, основанному «посреди болота» «в нехороший день», Омск («Не завожу знакомства./Между нами черта./Все-таки я из Омска./Все-таки не чета»). Эти противопоставления – грань поэтической мифологии Анатолия Васильева, отождествляющего себя с культурой, традицией, чистотой в противовес суетливому, временному, грязному («Рядом валяется баба./Грязная, как Тюмень»; «И такая драма/В слякоть или дождь:/Не проедешь прямо,/Но и не свернешь»). Омск, напомним, в свое время адмиралом Колчаком был обозначен в качестве столицы Сибири. В Омске Васильев получил высшее образование, там вышла в свет его первая книга. Ощущение себя российским офицером классической эпохи в противовес «красному покорению Сибири и доведению ее до «лунного пейзажа» вполне укладывается в логику конструирования поэтом субъективно оправданной топонимической антитезы Омск – Тюмень.

В 1977-м было создано знаковое для всего творческого пути Анатолия Васильева стихотворение «Люблю неторопливые слова». Знаковое – и потому, что оно вошло в хрестоматии региональной литературы, и потому, что именно о нем так проникновенно и профессионально писал Александр Гришин в юбилейной статье о друге, и, наконец, потому, что в этом произведении Ана-

толий Васильев с максимальной силой естественности высказал свое понимание любви:

*Люблю неторопливые слова.
Неторопливо падает листва.
Неторопливы дни в лесу осеннем.
Дымы неторопливы над селеньем.
И журавлей в заоблачный разлив
Нетороплив полет. Нетороплив.*

Признание «люблю» открывает стихотворение, далее оно проецируется на весь предметный ряд, распределенный по строчкам в жесткой иерархии: слова – листва – дни – дымы – журавли. Начальность Слова в этом ряду означает его сакральное предназначение («Вначале было Слово»). Подтверждает оно и личный выбор творящего. Шестикратное «нетороплив» на шесть строк небольшой длины звучит как заговаривание суетливого мира, как вызов ему. Сезон зрелости (осень) сочетается с ясностью и обнаженностью открывающихся пространств. Листва – дни – дымы – журавли летучи в своей природности. Лирический герой погружается в процесс полета, втягивает в него читателя. Постепенность процесса поддерживается взаимосвязанностью ассоциативного построения предметного ряда. Слова ложатся на лист – лист оборачивается листвой. Облетающая листва влечет уходящие дни. Нематериальные, ускользающие дни переходят в летучие дымы. Направленные в небо и растворяющиеся в нем дымы влекут устремленных «в заоблачный разлив» журавлей. В заключительной строке неторопливый полет властвует уже безраздельно, заполняет все пространство, становится метафизичным в своей беспредметности. Из пяти стоп стиха от двух с половиной до четырех по строчкам занимает повторяющееся «неторопливо». Выпадающие в этом длинном слове ударения при выбранном поэтом сверхтрадиционном для русского стихосложения пятистопном ямбе системно способствуют возникновению эффекта замедленности, заторможенности. В соединении с множественным числом существительных (слова, дни, дымы, журавли) это создает особую обобщенность, условность изображения. Ощущение полетности, летучести от начала к концу стиха нарастает по своей направленности и вписанности в природный цикл. Различные части речи, используемые в качестве точной и парной рифмы, усиливают впечатление свободы полета. Читатель, пораженный

естественностью и лаконичностью речи, оказывается под напором незримо воздействующих на его сознание приемов авторской воли. Он доверительно принимает неразрывность слова и природного мира и следует за поэтом, осуществляя свой неторопливый полет. Так Анатолий Васильев прорывается на значительные глубины эстетической органики, которые не могут не волновать внимающих ему.

Поэт всегда искал вескости и выразительности в кровности наших минут. Он ощущал природный мир как театр (с его эстетикой, аффектированностью, драматизмом, направленностью от человека к человеку, специфическим гуманизмом в культуре соиздания общезначимой эмоции). Он разворачивал эти ощущения в пластике слова:

*Некогда дань платить мелочам.
Падают звезды по вечерам
В стынувший август, в густые овсы –
И останавливаются часы.
Тихо, как в зале после спектакля.*

Это жизнь театром и в театре, но после спектакля – после драмы, комедии или трагедии, после суеты и усилий. Но заметим, здесь опять осень, сочетание знаков урожая и холода, символика вечера и остановки движения, то есть предзакатность жизни. Поэтому так остро и трагично описывает Васильев в конце 1970-х суетность «беспощадного» освоения территорий, при этом не отделяя себя от греха сотворителей «лунного пейзажа». Наш почерк – горько признается поэт:

*Здесь наломанного, набитого
На столетия – почерк наш.
Здесь до самого Ледовитого
Беспощадный лунный пейзаж.
Здесь примет земных не отыскивай.
Может, лишь комариная звень
Да с глазами ханты-мансийскими
Вдалеке одинокий олень.*

Это понимание абсолютной греховности происшедшего основано на личностном чувстве вековечности мировых процессов, аффектированной длительности истории, противостоящей минутам человеческого пребывания на земле.

Поэт не случайно ценит свои ранние лирические опыты и так развернуто представляет их в этом мини-собрании сочинений читателю, уже давно знакомому с «сухим пламенем» (Д. Самойлов) его прозы и поэзии. Автор хочет максимально открыться в слове, веруя в первозданность и огненную сочность юношеского ощущения мира, в игру страсти и жизни. Но он знает, что это все должно быть защищено не только словом художника, а и действием профессионала-воина, его духовной ответственностью перед собой, страной и ее гражданами. Поэтому быт служилого человека в его будничности и подлинности Анатолий Васильев также доверяет поэтическому слову. Слово это часто устремлено к сонетной форме, за которой строгость и страсть многовековой европейской культуры. У Анатолия Васильева ценности и реалии российской жизни естественно вписываются в данную форму.

Суетное – главная опасность для человеческого духа у Васильева. Поэтому он будет искать в окружающем, в земном те «точки», те состояния, те феномены, где физика жизни сомкнута с духовным покоем, с сакральностью существования. Для поэта принципиально, что это реальные, достижимые «вещи» – как сказал бы Кант, «вещи в себе», но они воспроизведены искусством слова. Начиная с Васильева безрассудную глубину улавливал в национально другом, например, в «Казашке»: «Она до глаз закуталась в платок,/И никуда, казалось, не спешила». Он прописывал это в картине заката:

*Закат себя сожжет вот-вот.
В большом огне земля и небо.
Не облака, а красный лебедь
За красным лебедем плывет.*

*На целый мир есть лишь закат,
Есть безрассудно и огромно.
Я у него стою на кромке –
И тоже пламенем объят.*

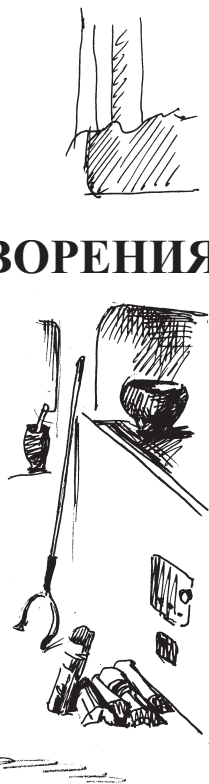
*И мне не надо ничего
Уже из жизни ежечасной –
К глазам подкатывает счастье
Или предчувствие его.*

Это стихотворение 1960 года манифестарно для поэта. «Жизнь ежечасная» упомянута, не забыта, она рядом, она с тобой, но из нее тебе «не надо ничего уже». Состояние заката, пламени развернуто в процесс, в длительность. И в то же время оно предельно («сожжет вот-вот»), тотально («целый мир», «земля и небо», «огромно»), само-достаточно по истокам и результатам (ведь наличествует самосжигание). Оно статично в своей феноменальности, но внутри динамично («сожжет вот-вот», «объят», «плывет», «подкатывает»), эстетически прекрасно (красный цвет в древних значениях). Это закреплено троячностью строфики, точностью рифмы в первой и четвертой строках и свободной (неточной) рифмой во второй и третьей строках, что при смежности строк дает эффект творческой завроженности и особой силы героя. Отстроенная гармоничность формы и восторг перед «без-рассудностью» сакрального выдают искомые основания практической эстетики Анатолия Васильева. И в этом читатель имеет прекрасную возможность убедиться сам.

С. А. Комаров,
доктор филологических наук.



СТИХОТВОРЕНИЯ



Я на донышке капли увидел тебя

* * *

Я на донышке капли увидел тебя.
Ты осталась в далеком затерянном дне,
Но забыла дождевку гроза на окне –
Я на донышке капли увидел тебя.

За спиной все померкнуло–погасло уйдя.
В легком сердце ни смуты и ни маеты.
Значит, только и было в судьбе моей – ты:
Я на донышке капли увидел тебя.

* * *

Долго-долго гармошка плакала,
Перед домом твоим причитала.
И лишь только на зорьке лаковой
За околицей замолчала.
Я не спал этой ночью лунною.
Слушал, окна раскрыв сторожко,
Как тебя, невозможно юную,
Вызывала-звала гармошка.
И боялся, что ты не выступишь,
Отзовешься на те страданья.
И зачем только белыми вишнями
В мае вышито мирозданье?!
Но заря занялась сполохами, —
Молодая плеснула алость.
А гармошка ушла со вздохами:
Значит, верной ты мне осталась.

* * *

Затерялась ты
В сини вечера
И найти тебя –
Думать нечего.
Над тобой
Холодок черемух,
Деревнями
Удочеренных.
За тобой – гитар перебор
И разрыв-трава,
И сыр-бор...

* * *

Ах, какая ты рыжая-рыжая!
Было просто сердце обжечь.
Под какими надежными крышами
Это пламя надо беречь?!

Брови сходятся у переносицы.
Мне понятно давным-давно:
Не успеешь мигнуть – перебросится
На соседний квартал оно.

Ветер искрами раскаленными
Полетит на мои пустыри...
Только я из огнепоклонников,
Ты не слушай меня – гори.

* * *

Сумасбродная, непослушная,
Все срывающаяся в бега,
Я засею твоими веснушками
Удивившиеся луга.
И когда голубой околесицей
Май пройдет по земле через год,
Столько рыжих ромашек в окрестности
Из веснушек твоих взойдет!
На увале любом, в низинке ли, –
Где б твой путь ни лежал незрим, –
Встанет каждая не былинкою,
А признаньем моим живым.

* * *

Ты улыбнешься издалека,
Первые скажешь слова, –
И майским шумом березняка
Шумит у меня голова.

И словно ранний рассвет в тиши
Меня по дороге застал –
В сумерки взрослой моей души
Вселяется детская чистота.

Счастью, кажется, нет границ...
Но испугнуты птицы твоих ресниц –
И ты уже на другой стороне, –

Уходишь несбыточной мечтой.
И все-таки вся останешься во мне
Детскою чистотой.

* * *

Небосвода осенняя полинь.
Перелесков степных рыжина.
И живешь ты в неведение полном,
Что судьба твоя предрешена.

Деды-бабки очьми отмерцали,
Отмолились в углу на свечу.
Пролечу, прозвеню бубенцами
И тебя на лету подхвачу.

* * *

«Далекая, как звезда...»
Строка родилась и смолкла.
Стучат в ночи поезда,
Земля от дождей размокла.
И снова ты опоздал
Ее по дороге встретить.
«Единственная звезда –
И та никому не светит».
Стекают за ворот твой
Дождя ледяные струи.
И, может быть, оттого
Срываются струны:
«Ну что ж, в облаках порхай –
Душа в глуши беспробудной.
Лесных цветов вороха
Тебе я таскать не буду.
Не мне на судьбу пенять:
Все ясно и все в ней просто.
Звезде никогда не понять
Ни боли земной, ни злости.
Пусть будет, как есть...»
А сам
Не в силах в себе запереться.
Ее голубым глазам
Распахнуто настежь сердце:
«Но сколько там ни витай,
А холод на землю сгонит.
Спустись, отдохни, оттай
На теплой моей ладони...»

* * *

Алюминиевой окраски
Разбушевавшаяся вода.
Я по мокрым камням с опаской
То сюда метнусь, то туда.
Но уже не мечтай о суше:
Поплавком всплывешь на волне.
В счастье верь, непогоду слушай
Робинзоном на валуне.
Я бы, может, и струсил – куда мне! –
Да привыкший: мне ли до чувств,
Если в сердце твоём годами
Как на этом камне ючусь.
Твоему равнодушью злomu,
Как грозе, конца не видать.
Вся в ухабинах, вся в изломах
Разбушевавшаяся вода.

* * *

...И какой ни была бы гроза –
Угол рта только горько дернется.
Как промытые окна горницы,
Глубоко потемнеют глаза.

Будто просят кого: защити!
И сама собою оправдана,
Тихо выкатившаяся градина,
Тяжело упадет со щеки...

И на этом дело с концом.
Я стою как перед лицом
Непогрешимой святости.

И воздет на ее кресте,
Каждый раз в своей правоте
Я ищу следы виноватости.

* * *

Весь мир зови на выручку
И ниц пади моля.
Прощайте, Ира-Ирочка,
Хорошая моя.
Не разобраться в ребусе:
В душе темным-темно.
В пустующем троллейбусе
Замерзшее окно.
Мы так друг другом бредили,
Как невозможно впредь.
Ах, этого бы, третьего,
Глаза мне разглядеть!
Не надо указательным
Оттаивать стекло.
Уже не обязательно.
И время истекло.
И только льдинка голоса:
Не надо — уходи!
Все колется, и колется,
И колется в груди.

* * *

Все вопреки тебе, все вопреки.
И этот смех, рассыпавшимся эхом
Вернувшийся с неведомой реки
И снова на мгновенье ставший смехом.
И эти всплески юности в крови.
И это сердце, тронутое болью,
Которое — приди к нему с любовью —
Еще не раз воскреснет для любви.
Все вопреки тебе, все вопреки.
И я теперь отлично понимаю,
Что не от глаз я руки отнимаю,
А просто вдаль смотрю из-под руки...

* * *

Все не так у нас, все не этак.
Все разлады да распри все.
Осень медленно падает с веток
Под трамвайное колесо.

Вместе быть нет надежд особых.
Мы от частых размолвок устали.
Но с тобой разбитую обувь
Я поставлю на пьедестале.

* * *

Мне четыреста лет. Пока!
И считаем вопрос решенным.
А за веками спят века
Позабыто и отрешенно...

Все как есть в тебе молодое.
Ни единой сединки в судьбе.
И, не зная, как быть с тобою,
Я тебя возвращаю тебе...

* * *

Это что за разговоры, что за тон!
Дам тебе я в руки сорок веретен.
Ты пряди-попрядывай,
На меня поглядывай.
Я тебе отец и дед,
И один в окошке свет.
Поступаю с тобой по-божески.
Все одно к одному приложится.
Подержу маненечко впроголодь
И такую зачну беседу:
Коли я таперича Рогволод,
То таперича ты Рогнеда.
Не пущайся в бега ни в какие,
А иди отвоевывай Киев.

* * *

Вот и кончено – расстаемся.
Ничего не поняв ладом,
Ухожу-уезжаю из Омска,
Будто свой оставляю дом.

Я боюсь твоего молчанья.
И другого боюсь, прости, –
Из годов и далее к началу
Одиноким скитальцем прийти.

Только лучше не быть пророком
На исходе этого дня.
Оставайся. И ненароком
Еще раз не предай меня.

* * *

А я без тебя все равно не смогу.
А я без тебя как иголка в стогу.

Сквозь снежную замять прорвется апрель –
Весну на земле утверждает капель.
С нависшего неба гроза упади –
Зеленою порослью всходят дожди...

А я без тебя все равно не смогу.
А я без тебя как иголка в стогу.

* * *

...И какой же я вежливый –
И словцом не кольну.
Очень уж по-нездешнему
Август щедр на луну.
Что-то скажут глаза твои –
И покатаются вниз.
Я влюблюсь обязательно,
Ты смотри не влюбись.
Не придумай, что будто бы
Ты одна на Руси.
Я немыслимый путаник,
Бог тебя упаси...
Просто вспомнилась женщина –
Дальний свет. Вот и льну.
Очень уж по-нездешнему
Август щедр на луну.

* * *

Все в мире сегодня привычно.
Два слова в дверях не попад –
И утренней электричке,
Пожалуй, я даже рад.
Не надо ни клясться, ни верить:
Один поворот колеса –
И в сутолочной круговерти
Ни голоса, ни лица...
Мгновенье вернуть – и взглядеться!
Упасть на колени моля.
Но очень похожа на бегство
Вокзальная спешка моя.

* * *

Не смотрите бережно
Из ресничной чащи.
Я теперешний –
Неподходящий.

Все о́кей было бы,
Да грусть одна:
Вылюблен
До дна.

Ничего шибкого,
Все наспех.
Я с моими ошибками –
Курам на смех.

Отойдет. Оттрепещется.
Но для чащи
Я теперешний –
Неподходящий.

* * *

Ой, не ходи, не ходи ты около.
Ой, не веди ты игры опасной.
В мире весна – до беды далеко ли:
Сердце вспыхнет и не погаснет.

Знаешь, другой это сердце отдано,
И для другой оно, знаешь, бьется,
Но не созрела еще смородина,
Лед не растаял еще в колодцах.

Звонкие токи в мире затокали.
Сердце в токах нет-нет да и екнет.
Веснами, знаешь ли, бьются соколы,
Соколы, знаешь ли, бьются в окна.

* * *

Пьет земля весенние дожди.
Ярче синева и зелень чище.
И цветы с полей несут мальчишки.
Пьет земля весенние дожди.

И меня весна не обошла.
Ты вчера вошла в мой мир неожиданно
Теплыми весенними дождями, —
И меня весна не обошла.

* * *

Выдумывал, сравнивал, взвешивал, —
А ты деревенская вся.
Волос твоих ливни крошечные
В ладони, зажмурившись, взять,
И шлепаньем детских подошв
По мокрым полам — за оградой
Такой молодой и обрадованный,
Такой неожиданный дождь.
Откроешь глаза — и как будто бы,
Года и даль истребя,
Среди полей забывчивых
Увидишь в детстве себя.
И смолкнешь. А ливни крошечные
Далеко над степью висят...
Выдумывал, сравнивал, взвешивал, —
А ты деревенская вся.

* * *

Какая девочка со мной!
Шалит княжна Голицына –
И полыхает черный зной
За черными ресницами.
А жизнь потечь готова вспять,
Чтобы опять над росами
Рассвету медленно вставать
И разгораться розово.
И чтоб коню звенеть уздой,
И чтобы, неслышанной,
Любви девчонкою босой
За мной из дома выбежать.

* * *

Я буду юность с тебя писать.
Окурки в пепельницу бросать.
Закрыв глаза, за столом сидеть,
Чтобы лучше тебя разглядеть.

Ты подойдешь ко мне легкой-легкой.
Смутившись, возьмешь неловко за локоть.
И то, что скрывали глаза, по ошибке
Выдаст нечаянная улыбка.

И вдруг я пойму, что верить мне не во что,
Что ты еще просто подросток-девочка.
И чтоб не случилось какой нелепости,
Подруга тебя увезет в троллейбусе.

И я себя взрослым-взрослым увижу.
Увижу, что волос мой солнцем выжжен.
Плеснут на меня серьезною синью
Глаза моего двухлетнего сына.

Ах, во поле-поле не мой ли сентябрь
Запутался рыжей лисицей в сетях?
И песни другие бы надо слагать...
Я буду юность с тебя писать.

Лика

Ночное море
Качает блики,
Как бесенят веселости.
К костру присела
И сушит Лика
Свои льняные волосы.

Тяжелый ветер
Идет с Босфора,
Как генерал таможенный.
И мы ходили
И за три моря,
И за четыре, может быть.

Не признает он
Ничьей управы.
Ему бы только почести.
И мы на славу
Имеем право,
Да портиться не хочется.

Ах, что наплел я,
Накуролесил –
На три копейки с хвостиком.
Как будто песня
Неинтересна,
Когда в наряде простеньком.

Зачем нам плавать
Заморской глушью
И петь с чужого голоса?!
А счастье рядом
Сидит и сушит
Свои льняные волосы.

* * *

Много в жизни страниц зачеркнутых,
Мало в жизни страниц переделанных,
Я довольно горел на черненьких,
Я хочу погореть на беленьких.

Что за ними, пока неведомо
Позже знанием обзаводятся.
Может, те же ангелы с ведьмами,
Может, что-нибудь на особицу.

Время катит часов колесики
К недалеким пределам вечности.
И в последний раз надо броситься —
Пусть в последний раз изувечиться.

* * *

Талка — не весталка.
Талка — веселится,
Стало лишним Талке
Платьице из ситца.
Где какая тайность —
Нагота.
Меж бутылок танец
Живота.

Мальчиков «железных»
Желторотый гогот.
И на тех, кто лезет,
Окрики: не трогать!
Дробных звуков тонны
Накатал
Гром магнитофона
И гитар.

Стон и плач столешниц
(Только что из склада!)
И побитых грешниц
Реплики из ада...
Талка не весталка,
Талка — гвоздь.
Пяток ей не жалко —
Мо-ло-дость!

Осенняя арфа

Хорошо, а как будто обидели.
Жестче возраст, а время добрей.
Озадачил, сразил удивительный
Этот солнечный дождь в сентябре.

Даль открылась за далями мокрыми...

Но не вечны границы дня.
И на фоне лесов моих охряных
Зеленее твои зелена.
Да и песни далекие – чьи они?!
Но тебя и себя щадя,
Я играю что-то счастливое
На недолгих струнах дождя.

Новогоднее

У нее в словах иголки,
Легкий ветер в голове.
У кого сегодня елка –
У меня сегодня две.
Может, это многовато,
Но такой уж я лихой:
На одной сияют ватты
И караты на другой.
Дорогой особе этой
Все внимание мое,
Потому что нет на свете
Длинношеее ее.
Потому что жизнь – мгновенье.
А на шалом вираже
Наши два сердцебиенья
Резонируют уже.
Потому что год в начале
И в начале наши дни,
А шампанское в бокале
Жжет бенгальские огни.

* * *

Женщина стоит на подоконнике.
С тряпкой наклоняется к ведру...

Тоненькие-тоненькие кленики
Вдруг зашелестели на ветру.
И как будто в уличный проем
Голубые выплеснулись конники...

А всего-то с тряпкой и ведром
Женщина стоит на подоконнике.

* * *

Я хожу по Первомайской.
Синий вечер. Синий дым.
Только ты, прошу, не майся
Ожиданием моим.
Крась веселые ресницы
И показывай язык.
Ожидает ученицу
Не учитель – ученик.

А вокруг сады клубятся,
Дышат маем глубоко.
А тебе едва за двадцать,
Мне за сорок далеко.

В нашей дружбе маломальской
Больше все-таки игры.
Я хожу по Первомайской
От вокзала до Туры.
Но не путай дней недели,
На семи не стой ветрах:
Все как есть твои портфели
Все равно в моих руках.

* * *

Года взрослей, а дни моложе.
Куда несет меня, куда?!
Я заглядевшийся прохожий,
А ты летящая звезда.

Учусь на собственных примерах
И говорю свои слова.
Тебе полет в небесных сферах,
А мне седая голова.

Какие домыслы, о чем ты?
У сердца нет забот иных.
Оно скворчит незащищенно
В ладонях крохотных твоих.

У счастья свой придуман идол,
И служба в честь него идет...
Уже я мысленно увидел,
Продолжил взглядом твой полет.

* * *

А я тебя читаю между строк.
И раздевая в спешке и восторге,
Тянусь туда губами, где сосок
Стоит Егоркой на высокой горке.
И ты уже как мостик над рекой,
Который сам, зовя на помощь, тонет.
И мне, ища перила под рукой,
Терять бразды и сдерживать погоню...
Мы шли друг к другу много-много дней.
И на земле за нами право первых.
В ногах прибой остывших простыней,
Нас только-только вынесший на берег.

* * *

У самой степи, над которой
В зените стоят ястреба,
Есть маленький-маленький город,
Степенно вошедший в хлеба.
И в городе этом неслышном
В далеких годах-волоках
Неслышно жил маленький книжник,
Витающий в облаках.
Никто и не думал из близких,
Что был околдован совсем
Он маленькою скандалисткой
Из дома под номером семь.
О ней на подворных советах
Такие плели короба!
Ах, где она бродит по свету,
Любым своим шагом права?
Ах, где она бродит по свету,
Счастливо не помня того,
Что столько уж десятилетий
Не снято с него колдовство?!

* * *

Я жениться приеду в Ишим,
Потерявший рассудок мужчина.
И как будто проглотит аршин
Мэр сконфуженного Ишима.
На одних мы с ним выросли щях,
И дано ему знать не случайно,
Что лежит на моих плечах,
Что лежит за моими плечами.
Но изменится обликом он
И забудет свои назиданья,
Лишь в его апартаментах лен
Зацветет голубыми глазами.
И почудится дух медовух,
Смех и грех деревенского клуба,
А улыбка из тридцати двух
Разомкнет первозванные губы.

* * *

По-над кварталами
Синяя марь.
Тихо.
Оттаянно.
В городе март.
В городе тихий рассеянный свет.
У настроения
Имени нет.
Путь наугад.
И слова невпопад.
Вечные аисты
Где-то летят.
Где-то в рассеянном свете возник
Их наплывающий медленный крик.
Мой аистенок,
Валясь на корму.
Тянет спросонок
Ручонки к нему.
Тянет ручонки,
Светя из-под век,
Дерева жизни
Зеленый побег...
Путь наугад.
И слова невпопад.
Белые аисты где-то летят.

* * *

Что кому завещано...
И живет он смолodu
С нелюбимой женщиной
В нелюбимом городе.

Годы черным вытканы,
В никуда отряжены.
Нелюбимый дитяtko –
Сволота тюряжная.

И все чувства визгами,
И все мысли дрызгами
За ворота изгнаны
Или в угол загнаны.

Сыплются опилками
Дни его за ставнями.
Пьяными бутылками
Кухонька заставлена.

* * *

Фигурка, рвущаяся в талии,
Нечаянная, как испуг,
В уснувших улицах оставила
Точеных шпилек перестук.
Ушла в высокое парадное,
В невозвратимые года,
Где все давным-давно оправдано
И позабыто навсегда.
Ушла, чтоб все пошло-поехало,
Все понеслось в тартарары,
Чтобы ни времени поэтому
Опять не знать мне, ни поры...

Молодость
ностальгический сонет

Вдруг
Круг
Рук
Туг.

Люб
Льнет
Мед
Губ.

Юн
Лун
Свет.

Им
Гимн
Пет.

* * *

И, кажется, глохнут антенны,
И мир далеко в стороне.
Натела, Натела, Натела,
Скажи, на какой ты волне?
Откликнись, приди ко мне, чтобы
Судьбу разделить пополам.
А полночь за выцветшей шторой
Огромная, как океан.
А полночь качает деревья
И видит, как в ливень и гром
Над ними окно мое бренно
Плывет кормовым фонарем.
Исчезнет, мелькнет и исчезнет.
А небу не скоро синеть.
И ты как предвестье, как песня,
Услышанная в полусне:
Попробовал вспомнить – и сбился.
Но в эту забытость и хмурь
Гортанно ворвался Тбилиси
Из хаоса радиобурь.
И рухнуло солнце на камни,
И город ослеп за двоих,
Тебя в многолюдье и гаме
Средь улицы остановив.

Вечерние птицы

Стелет черные простыни
По затонам вода.
Ты – дорогой, я – осторонь
Через дни и года.

Даже отзвука имени
Твоего не дойдет –
Ты всегда впереди меня
На один перелет.

Машем крыльями медленно
Над вечерней водой
Там, где каждому велено
Было птичьей звездой.

* * *

Мы еще вернемся в Парники.
И дожди на нас обрушит осень.
И по мокрым травам между сосен
Мы пойдем с тобою вдоль реки.
И у старой мельницы, где плес
Тишиной издревле созывал их,
Будем слушать пение русалок
В обомшелом шлепанье колес.
Постареть забыв и не сумев. —
Будто юность дальше оплатили! —
Будем скользко бегать по плотине,
С мокрых лиц роняя в осень смех.
А потом сползут к воротникам
Капюшоны медленно и волгло,
Чтоб опять нечаянно и долго
Поцелуй впервые пить губам.

* * *

Конечно, я этот и тот.
Небритому, с лохмами — в пустынь.
Но рядом со мною идет
Произведение искусства.

Шажочек — с носка на носок.
С открытым пупком животик.
О Господи Боже, что так
Всю жизнь ты со мной жесток?!

* * *

Я руки к тебе тяну через годы в детство.
Милая, маленькая, слышишь, бежим!
Две минуты на то, чтоб поужинать и одеться:
Нас давно уже ждет,
Давно уже ждет Ишим.
Я не робок теперь – и сразу возьму за плечи.
Когда седа голова, что людская молва?!
Я люблю тебя с первой той школьной встречи –
За четыреста лет отстоялись слова.
Я мужчина сегодня с тобой.
И мальчишка.
Позднюю смелость того и другого – прости.
Я люблю тебя.
Время ступает неслышно.
И на реке весла перестали грести.
Ни оглянуться, ни закурить, ни заплакать.
Я люблю тебя.
Ты ищешь руку рукой.
Над городом так высоки звездного неба палаты.
И тишина под нами – как вечный покой.
Я целую глаза твои, волосы, плечи.
Стало холодно.
Я – один.
Ты – одна.
Вброд, увы, не дано перейти этот вечер,
Потому что четыреста лет глубина.

Тянет гарью и временем ощутимо.
Далеко-далеко
Детство звенит колокольчиком под дугой.
Над рекой
обнялись
женщина и мужчина,
А мальчишка с девчонкой
порознь
стоят над рекой.
И уже ничего не начать сначала.
И не пойти дорогой другой.
Волны мерно колотят в сваи причала.
Далеко-далеко
Детство звенит колокольчиком под дугой.

* * *

Вся на взводах, на вздохах-выдохах
Этой осени хмурая грусть.
Ты не делай поспешных выводов —
Я, наверное, просто злюсь.
Выхожу на дорогу зимнюю:
Кто-то предал, а кто-то устал.
Вот проснусь, а деревья в инее —
И расставлено все по местам.
И ни свиста, ни грая, ни сокота.
Кто свой путь проходил не сникав?
Вот тебе только будет все-таки
Одиноко в моих снегах.

* * *

И боль кровоточащая,
И слава, и надлом...
Как к светлому причастию
Мы к женщине идем.
Да мы-то что?!
С перрона
Махнувшая рука.
Коленопреклоненно
Пред ней стоят века.

К любви

А у жизни отсрочек нет:
Час придет – и бабки подбей.
Только я через столько лет
Все еще на пути к тебе.

Водит дни журавлиный конвой.
Реки гонят в моря шугу.
Так и ткнусь в кювет головой
Где-нибудь на последнем шагу.

Ткнусь, не смяв тишины рядом
Ни на чьем плетне-городьбе,
На земле оставив одно –
Завещанье идти к тебе.

Снежный этюд

1

Вот так-то вот: неважные дела.
Весь белый свет метель перемела.
И что за бес вчера меня попутал –
К тебе ли отправляться на попутных?!
Ни колеса. Ни полоза. И мгла.
Сошли от ветра кустики в изложины.
А мне на ветер. Мне наоборот.
Тебе о том и мысли не придет,
Где я сейчас плутаю, обмороженный.
Меня самолеты на бегу,
За три часа две тысячи-то верных
Неблизких километров я отмерил,
А сорока – за сутки не могу,
Былинка на негнущемся снегу.

2

Ты все взяла, что некогда дала.
Твои признанья – крошки со стола.
Глаза студеной, сумрачной колодца.
Мне ничего на жизнь не остается –
Уходят даль и высь из-под крыла.
Я опоздал. И все, пожалуй, правильно.
Натянутая ниточка слаба.
Чужие, незнакомые слова,
Чужим дыханьем комната отравлена...
Тяну в чащобы узкий след лыжни,
А надо мной восходят в небо древне
Спокойными вершинами деревья.
Они сейчас мне только и нужны –
Высокие покои тишины.

3

...И нечего мне делать в этом доме,
 Где я перед бедой как на ладони.
 Готов краснеть от собственного лепета.
 Из сказок улетают гуси-лебеди
 И косяком идут на водоемы...
 Мети, метель, звени во все бубенчики.
 В конечном счете – счастье неизменчиво:
 Оно то не догонит, то обгонит.
 Мети, метель, знамений и примет
 Не принимало сердце и не примет.
 Но Дед Мороз, он в скоморошьем гриме,
 А в снежной кутерьме просвета нет.

4

Стоят в собольих шубах дерева.
 Позванивает стыло конопляник,
 И с хлопаньем тяжелым на полянах
 Взлетают из-под ног тетерева.
 Лыжня не от тебя – к тебе ведет.
 Мы в этом мире вместе пребываем.
 Нет-нет, на пень со снежным караваем
 Солонкой с пихты шишка упадет.
 И старый кедр с нашивками сверхсрочника
 У просеки возьмет под козырек
 Ему ещё, пожалуй, невдомек,
 Что вахта у него уже окончена.
 – Ну, как тебе живется, старина?
 Лежит в снегах лесная сторона.

5

Я дальний путник у твоих ворот.
И год пройдет, и десять лет пройдет,
А мне тебя, оглядываясь, слышать
Под каждым небом и под каждой крышей
Оставшиеся годы напролет.

Прости-прощай. Ни имени. Ни отчества.
Морозных окон лунная парча.
И моего касается плеча
Холодною ладонью одиночество.

Уходит ночь по Млечному Пути.
Восток светло приподнят над лесами.
Встающий день коня впрягает в сани.
Прости-прощай. Но более – прости,
Что ничего не удалось спасти...

6

За мною юность лунными обозами.
Позванивают розвальни полозьями.
Ты от меня за тысячи застав
Ушла, воспоминаньями не став.
А став морозной роздымью под звездами.

В какую даль и кем была ты позвана?

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

* * *

Дощатый мост. Дорога на Ишим.
Над маревом плывущие увалы.
И чибисы, над зарослями тала
Взлетающие с утренних лощин.

И свет из тех послезакатных сит
На западе в июле перед жатвой,
Когда с покоса бойкая лошадка
Под сумерками весело трусит.

И колкая сентябрьская стерня.
И паутин сентябрьское касанье...
Родись я под другими небесами –
Во мне недоставало бы меня.

* * *

Поезд скроется, даль клубя,
А разъезд в тополиной вате
Солнцем летнего дня тебя
Из ведра золотого окатит.
Где ни странствовал ты?! Со лба
Незаметно сбегут морщины.
Через легкий лесок в хлеба
Выйдешь — и захлебнешься ширью.
И Бог весть в далеке каком —
Не добраться ни конным, ни пешим!
Вдруг увидишь свой отчий дом
Под шестами своих скворешен.

* * *

Моему брату Геннадию

Вставало солнце в начале дороги,
Садилось в конце ее.
В кюветах рядом, с дорожной толокой,
Скупой подорожник цвел.
А надо было дополнить картину –
И наше легло село.
Бензином, пылью, словами крутыми
С дороги на нас несло.
Мальчишки, завистью души изранив,
Смотрели машинам вслед.
Мечты о дальних неведомых странах
Жили у нас в селе.

* * *

Умерла моя мама. Отхлопотала.
Отколдовала руками мучными.
Остановились под стулом устало
Бесшумные мамины туфли ночные.

Сиреневый запах. Кленовые бусы
Звонят в палисаднике после цветенья.
А в доме без мамы безмолвно и пусто,
По стенам пугливые мечутся тени.

Мелькают года, как в дороге селенья
Но с прежнею болью – щемящей, бездонной –
Тепло материнского прикосновенья
Хранит еще каждая вещь в нашем доме.

* * *

Поля не ждут войны.
И колос каждый
Доверчиво и важно
Пьет солнце тишины.

В прозрачной мари дней
Стоит пшеница.
Березы будто жницы
Склоняются над ней.

И далеко слышны
Девичьи песни
Из деревень окрестных...
Поля не ждут войны.

* * *

Я на земле в родстве со всем,
Что дышит солнцем и простором.
Обдало вечностью и морем
Мое купе у Туапсе.
В накатах, пене и стекле
Шел гул
Последним перегоном.
Он разбивался под вагоном,
А начинался вдалеке.
В седом бессмертии его,
В его зюйд-вестах и норд-остах
Я услышал далекий отзвук
Чего-то очень своего.
И вот качнулось побережье
Тревожной памятью в душе,
Как будто им я жил уже,
Когда еще на свете не жил.

* * *

Прибой.
Будто белые кони
Сквозь ночь оглушительно скачут,
Четыре копыта невидимых
Бросая во тьме наугад.
Куда они,
Что они?!
Море
Скрывает их вечную тайну.
Но сердце мое приторочено
К невидимым седлам их.

* * *

Смолкло море.
И принесло
Чье-то сломанное весло.

* * *

Ни ходко ни валко
Идут из рассвета
Рыбачьи фелюги.
Меж бочек уложены мокрые сети
В чешуйках севрюги.
Усталость,
Залегшая как аллигатор, —
В руках просоленных.
Ведут рыбаки разговор угловатый
О доме и женах.
Фелюги качаются, как на рессорах,
В подветренном крене.
И вот их у плеса встречает поселок
В воде по колено.
... Утрами мычат на подворье коровы,
Визжат поросята.
На каждой поленнице сушатся робы,
Как будто распяты.
В гранитных ладонях — покуранных трубок
Клокастые гривы.
И думы на двух устойчивых румбах:
О море и рыбе.

* * *

Литого июльского моря
Теряющийся горизонт.
Веселых бликов у мола
Солнечный перезвон.

Ивовое деревцо –
Девушка в синем купальнике
Солнцу, такому недалекому,
Подставившая лицо.

И неба белесая голубизна,
Тающая остудно...
Как-то неловко знать,
Что день этот – просто будни.

Черкесск

Горы туманны и палевы.
Близка горизонта черта.
Город — на нижней палубе
Кавказского хребта.
Рвется Кубань стремнинная
К равнине сквозь заросли ив,
Чистеньких улочек линии
Над берегом остановив.
Тягучее солнце над крышами
Плавают летние дни.
И перелезят мальчишками
Подсолнухи через плетни.
Город как город. Но изредка
Сюда спускаются с гор
Старцы в черкесках, как призраки
Полузабытых пор.
И вдруг проносятся всадники
Куда-то мимо меня,
Кто-то в бою на задние
Поднимает коня.
Гиканье. Ножны медные
О стремяна гремят.
С седла боевого
Медленно
Сползает Хаджи-Мурат.
Жаркую кровь долинами
С гор уносит река...
Такая дорога длинная.
Так рядом стоят века.

Стихи о старом городе Таре

Торовата Тара товарами.
С тараторкою тарабарской
Деревянными тротуарами
Люд торговый ступает по-барски.
А за высящимися заборами –
По кирпичной кладки амбарам
Штуки шелка с мехами отборными,
Плюш и хна, и бадьи с нектаром.
Торовата Тара товарами.
Бродит Тара большим базаром.
Пахнет жареным, пахнет пареным,
Пахнет свежим и залежалым.
И нет-нет над лесами окольными,
Чтобы звонче смеялось злату,
Восемнадцать церквей колокольными
Бронзу густо сыпать заладят.
Ох, темны, ох, темны беззвездные
Опускаются ночи над Тарой.
Прикорнув на земле разостланной,
Спят юродивые у тротуаров.
Спят под стражей отцов и горничных
Дочки, пышные как опара...
Ни руля, ни стяга, ни кормчего
Нет у грузного струга Тары.

На зеленом острове

Владимиру Пальчикову

Иртыш не знает счета верстам.
Не помнит счета лет и зим.
Выносит нас Зеленый Остров
В работу, молодость и синь.
Заходим в дни широким руслом.
Рисковой скорость у излук.
Все так же путь волнами устлан.
Все так же даль и ширь вокруг.
И солнца вешняя крамола,
И внешний гром, и вешний дождь.
И остается за кормою
Все преходящее и ложь.

На станции «Никола Полома»

Никола Полома...
Из давности
Не каждому просто вырваться.
И нет еще этой станции
В лесной глухоманной сырости.
И ветры тогдашние хлынули,
И хлынули ливни тогдашние.
Под солнцем сермяга вылиняла
На сгорбившимся бродяжке.
Пасясь по осиным сотам,
Суставами больно постреливая,
По белу свету несет он
Веру свою незатейливую.
Как в Пасху, заимки и села
Его в сатин наряжают,
Встречают хлебом и солью
И в красный угол сажают.
«Бессчастию – счастье исходом. –
Пророчит он под иконами. –
Разливается свет господен
По каждому подоконнику.
У Духа, Отца и Сына
На щедрость душа велика:
Быть лошади и десятине
У каждого мужика...»
И крестит хлеб из одоньев,
Надеждой-верою свят.
Светляки его слов на ладонях
К посадку несет посад.

В краю тишины залежалой,
Где кот на печной трубе, –
На капельку прибывало
Тепла в горемычной избе.
А сам он стал частью тайности
Лесной глухоманной сырости,
Чтоб к нашему веку из давности
Названием станции вырваться.

Московские стихи

1

Деревенщина, лапоть всмятку,
Я чего оказался тут,
Где по главной пройди с трехрядкой –
Ненормальным еще сочтут.

Совершает земля вращение,
Вертят судьбы ее волхвы.
Я, пожалуй, похож на кочевника
С таганом посреди Москвы.

Но опять с гудками короткими
Прижимаю трубку к губам.
Будто снова к ней огородами,
Как в Безруково, по задам.

Не признают – мосток разводят,
А признают – так для мостка.
Ходит кругом, кругами ходит
Концентрическая Москва.

2

Красавица ты не из первых,
Ты просто мой выдох и вдох.
Молчание черных деревьев
В молчании черных прудов.

И медленно снег кружится –
Ложиться на землю лень.
Сегодня в Москве, в столице,
Такой деревенский день.

Февраль

Февраль размок – и на бока
Автомашин наляпал грязи.
И засудачили все сразу:
Видать, весна недалеко!

Но этот фокус показав,
Он со стрехи убрал капли.
И налетевшие метели
Опять лежат на кузовах.

Апрель

Опять апрель. Ах, водолей,
Шалун-забавник, недотепа.
Твои подтаявшие тропы
Поди попробуй одолей!

Живые роспуски в крови.
Но света прибыло немного.
И разбежавшиеся ноги
Вернее ставить норови.

* * *

Закат себя сожжет вот-вот.
В большом огне земля и небо.
Не облака, а красный лебедь
За красным лебедем плывет.

На целый мир есть лишь закат,
Есть безрассудно и огромно.
Я у него стою на кромке —
И тоже пламенем объят.

И мне не надо ничего
Уже из жизни ежечасной:
К глазам подкатывает счастье
Или предчувствие его.

* * *

Раскалился июль – и уже
Стал Ишим мелководней и уже.
Над водою ватаги стрижей –
Как клубки металлических стружек.
В звон легирует сталь осок
Зной,
Накапливающийся в высях.
Человеческой речи слог
В харалужный пергамент высох.

Я не флюгер на тычке дня.
Только чувствую: в слове и жесте
Появляется и у меня
Что-то от сгибаемой жести.

* * *

Тяжелей и ровней поплыла
В длинном звоне моя планета —
Это медные колокола
Над хлебами тронуло лето.
Дотлевают искрой в золе
Дни, которым взойти не сумелось.
Так уж водится на земле —
В медь себя отливает зрелость.
И судьбы иной не иметь —
Слит и спаян неотделимо.
Это время и мне звенеть
Медно, выстоянно и длинно.

Осень

Сплошной пожар.
Оранжевое буйство.
По всей Руси
Глаза смежай и узь.
Но не успев
Одеться и обуться,
Глядеть на диво
Выбежала Русь.
А день высок над огненным обвалом!
И пламенем берез оттенены,
К захлестнутым стихией перевалам
Восходят сосен черные дымы.
Восходят,
В фон врисовываясь четко.
А лес в своей прощальной правоте
Бросает в реки красные ошметки –
И, вздрагивая, вспыхивают те.
Пластает лес.
Я с ним ни в чем не разнюсь.
И мне, презрев навеки хлябь и твердь,
Бежать в его помешанность и ясность,
Чтоб вместе с ним сгорая, умереть.
А там – кочуй душа в мирах зазвездья,
А там – вершишь веществ круговорот!
Придет любовь
Гляди, придет известность.
А случая такого – не придет!
Сплошной пожар.
Оранжевое буйство.
По всей Руси
Глаза смежай и узь!
Но не успев
Одеться и обуться,
Глядеть на диво
Выбежала Русь.

* * *

Низко поклоны кладу
Тихой украине, где
Ловят русалки звезду
В маленькой речке Айбе,
Где над лесами стоят –
Каждый в свой час и черед –
Горизонтальный закат
И вертикальный восход,
Где перед Троицей впрок,
Труд не считая за труд,
Сельский большак поперек
Лисы хвостами метут.
Где васильки – сорняки.
Где в окружении чад
В мир выпускают с руки
Гости мои ласточат...

Дачники

Красив и спокоен, как Пяткин,
Стою посредине двора.
Мир солнечным золотом заткан.
В разгаре грибная пора.
А эти нагие мустанги
Забавой себя веселят:
Из змея-горыныча шланга
Орла поливает Фуат.
Его ледяного купанья
Приятность уже обожгла,
И он никакого вниманья
На вопли и крики Орла.
Ему бы до цели добраться
Струею веселой игры...
Мочалкой у шумного Брайса
Мохнатые лапы мокры...
На подвиг не будучи падким,
В беседке, где стол и скамья,
Колдует над водкою Пяткин,
Красив и спокоен, как я...
Отбой и трудам и заботам!
Друзья совершенствуют слог.
А рядышком с кружкой компота
Сидит золотой Василек.

* * *

Ах, эти сосны, эти сосны,
Звещающе рвущиеся ввысь!
Зеленый мир для мысли создан,
Войдя в него — остановись.
Настрой отученную душу,
Неспешно разоболоки.
Все отдаленнее, все глуше
И города, и городки.
Свежо. Распахнуто. И грустно.
Жизнь бесконечна и проста.
В груди ворочаются чувства
И пониманья, и родства.
И нет и не было секрета
В сквозных мирах лесных глубин,
Что человек на белом свете
Не одинок и не один...
В чужих краях закат затонет.
И только он со всех сторон —
Благословенный шум зеленый
Поверх коричневых колонн.

* * *

Надо мною кулики,
А порою утки.
Я гуляю вдоль реки
В этом промежутке.
Над водой блеснет чебак,
Выгнет спину щука.
Пожиранья — где как —
Двигается наука.
Мир в далекой стороне —
Под гербом крылатым.
Там подумать обо мне
Некогда ребятам.
Кто-то чисто банк метет,
Кто-то пьяно бредит,
Кто-то задом-наперед
Все куда-то едет.
Да какого мне рожна!
То пойду, то лягу.
Наугад с речного дна
Выброшу корягу.

Дорога

Владимиру Новикову

1

Разъята хлябь пропадающая –
Была и не была.
Летит в тайгу свистящая
Бетонная стрела.
Полета не задерживай!
Ошметьями вразброс
Болота проржавевшие
Летят из-под колес.
И нет руля послушнее,
Наверное, в стране,
Чем этот руль в веснушчатой
Гранитной пятерне.

2

Не дать ли тягу от рассчитанной
Любви на тихом берегу?!
Без предисловий, неожиданно
Дорога падает в тайгу.
Над нами рвется нитка просини –
Вершины сходятся. И вот
Густою тьмой в ущелье просеки
Грозит дороге поворот.
И мы, напуганные сизмальства,
На всю тайгу гудком басим.
Но нас дорога в небо вынесла,
В ошеломляющую синь.
На горизонте
В зыбкой падыми –

Заторов облачных стога.
Под нами, прогнутая падями,
Ворочается тайга.

3

Сколько суток она протянется,
В край какой невзначай мотнёт?!
Только знаки триангуляции
В обе стороны от нее.
Да еще аварий лихаческих
Обгорелые кузова.
Испытанье сдают на качество
Человеческие слова.
Над урочищами, над гатями,
От костра к костру — к городам.
Путь-дороги, в стекло накатанной,
Не размыть никаким дождям!
А ударит громами близкими —
В колее потеряешь след.
И покажется, что не высохнуть
Ей и за сто ближайших лет...
Только знаков триангуляции
Усеченные конуса.
И царит она над пространствами,
Потому что ей нет конца.

Батюшка хлеб

Хлеб на стол, и стол – престол.
Хлеба ни куска, и стол – доска.
Скатерть-самобранку мужик избобрел:
Она вековая мечта мужика.

1

От озера к озеру по перелеску,
От озера к озеру по большаку
Вечернее эхо протяжнее песни
Свою отраженную водит строку.
И только покажется, что оно сникло,
Упало в осоку, в овсы ли, в осот,
Как кто-то, промчавшийся на мотоцикле,
Подхватит его и с собой повезет.
Осеннее время. Когда на увалах
Сгорают комбайнами скошенный день,
Плывут по озерам огни самосвалов
Среди неподвижных огней деревень.

2

Я на постое: уборка, выезд –
В жизнь окунается институт.
Ходики в доме остановились,
Только кажется, что идут.
Бабка Елена взглядом пытлива.
Спицы в руках или веретено.
Все обосновано неторопливо,
Неторопливо объяснено.
Тянет четкую борозду лемех.
Лунный свет лежит на столе.

Мы расходимся только в темах:
Я – о погоде, она о земле.
– Сколько ни будь, а все в ней потреба.
Ясное дело – жизнь однова.
Ангелы с неба не просят хлеба,
Для человека он голова.
С давнего времени чуть верстанье –
И занимается враз сыр-бор.
Батюшка хлеб уступать не станет:
Бах-тарабах – и весь разговор.
Шито-строчено красной прошвой.
Да вот только кто глух, кто слеп.
Все во-вторых, дорогой-хороший,
А во-первых – батюшка хлеб...

День сегодняшний, день вчерашний.
Бабкин дом-пятистенок лицом
Смотрит столетье на пажити-пашни,
К озеру сходит крыльцом.
Чисто выметен каждый угол.
Вдовый уют ее холодноват.
А на божнице медали супруга
И пятерых сыновей-соколят.

Чисто выметено у бабки.
Веники разные: по поре...
В горнице бед-несчастий охапкой
И поленицей во дворе.

– ...А началось с извода под корень.
Как же – послушались большевика:
Дескать, себя и страну прокормим,
Если избавимся от кулака.

Где уговором, а где пристуком.
Вот и аукнулось – видит Бог.
Ни сыновьям, ни себе, ни внукам –
И в стороне от людских дорог.
Спицы нитку за ниткою нижут.
Всплески озера в доме слышны.
Я понимаю, слышу и вижу.
Мне пояснения не нужны.

3

Красный флаг над прогнутою крышей.
Лампы керосиновой в окне
Язычок коптелой искрой брызжет
И качает тени на стене.
Выцвели глаза, запали щеки.
Выгорели бороды, усы.
Будто мужиков в степи широкой
С головой осыпали овсы.
Сельсовет дела решает крупно.
Думает, доходит до основ.
Обжигает руки самокруткой
Председатель Митрей Иванов:
– Трудно ли, не трудно, не об этом.
Новый ткач дерюг стране не тки.
Хорошо еще, что в сельсовете
Только мы, сам-друг фронтовики.
И сюда других пока не надо:
Не туда повернуты башки.
В душах разгораживать ограды,
Может, то же, что ходить в штыки.
Только дело тут поосторожней,
Тут тебе не каждый шаг хорош.

Главное запомнить непреложно:
Носишь правду, не иди на ложь.
И тогда, коль требуется – требуй,
Нагружай телеги, кошевы.
Встанут золотые гривы хлеба
Аж до самой аж до синевы...
Но того гляди, Макар достанет:
Братка браткой, а ведь все не то.
И пошто злобив у нас крестьянин,
Беден и богат злобив пошто?!

Лунные дорожки на озерах.
Выйти в путь готовится рассвет.
О грядущем грезит в разговорах
С прогнутою крышей сельсовет.

На подворье встрепанный, в исподнем
Чешет бок Макарка Иванов.
Он – другой, другой заботой поднят,
Только и другому не до снов.
Голытьба встает – не знать покоя.
Дожились до бедственной поры.
Вековые рушатся устои,
Прахом мир летит в тартарары.
Сев на всех парах на поле катит,
Катит копошливый чёрный труд.
Своего-то лодырни не хватит –
Добрые хозяйства оберут.
И попробуй добреньким останься:
Ко святому тянется рука.
Как России легче – без крестьянства
Или легче без большевика?

Народился хлеб густой да рослый.
 Закордонным плюшем без плешин.
 Первые подводы продразверстки
 Рано утром вышли на Ишим.
 И теперь не скажешь, за какими
 Верстами дороги-большака
 Шествуют быки, невозмутимо
 Раздувая потные бока.

– Вот нам с вами первая награда.
 Или как считать, фронтовики?! –
 Председатель с них не сводит взгляда,
 А они кто в пол, кто в потолок.
 – Верят нам – и вот в пути подводы.
 А несли-то злые языки!
 – Что мы не мужицкая порода?
 – Мужики, конечно, мужики.

Стар и млад с утра в земле руками,
 А на стол бурда да требуха.
 Вошь в одном кармане на аркане,
 На цепи в другом сидит блоха.

Жизнь осталась узкою полоской.
 Голову ломаешь за двоих:
 Как бы, переживши продразверстку,
 Сохранить самих себя в живых.
 И когда мужик расправит плечи,
 Обрядится в праздничный сатин,
 Оторвется взглядом вековечным
 От корыт, колод и десятинок?!

Тяжким взглядом владенья обводит Макар.
 Все здесь было его, а теперь будет отнято?!
 Лес наметят под вырубку, пашню – под пар,
 А его – продавать на толкучке исподники.
 Хоть шаром покати – ни кола ни двора.
 А туда же – хозяева, власть. Голоштанники!
 Не имели, в глаза не видали добра,
 А ведь знай баламутят народ обещаньями.
 Ржет, мычит и кудахчет подворье мое.
 Трется стельное и супоросное об стену.
 Хоть туда, хоть сюда эта жизнь повернет –
 Как была она, так и останется – собственность!
 И пока десятин моих зреют мыски,
 А над ними стрекочет косилка обкатанно, –
 Пусть любая бумажка идет из Москвы:
 Мне не стать по сусекам мести, вымогатели...

Уходят на погосты старики:
 Оградка, крест – и долг последний отдан.
 Но мысль не соглашается с уходом.
 За млечной далью машут ветряки,
 За млечной далью ветры широки.
 И вынесены временем на гребень,
 Под сабельною радугой полки
 Летят в ворота взорванного неба...

Уходят на погосты старики.
 Под потолки полынно дни горьки.
 Пусть дали приглушенной и туманной,
 Сыны земли – не пасынки земли.

Как лес их выкорчевывали, жгли –
И каждый стал пшеничною поляной.

Сошлись поляны в хлебные поля,
Поля сошлись в российское безбрежье.
Не всякий, кто захочет, тот отрежет...

Большой цены ты, русская земля.

У жизни точки нет в конце строки.
Не каждому счастливый выпал жребий.
Кресты на мир глядят из-под руки:
Кто пробовал их лакомого хлеба?!

На реке Кайле

Метут снега, метут снега.
И вдруг у них запинка.
Через сугробы, как слега,
Легла к реке тропинка.

Журчит река, сквозит до дна –
Морозы не помеха, –
Не ключевой водой полна,
Полна счастливым смехом.

Ходить с реки тропинкой той,
Что жердочкой для женщин:
Их ведра плещут не водой –
Счастливым смехом плещут.

Январь

Застекленели даль и ширь.
Стоят стеклянные березы.
Одни крещенские морозы
На всю великую Сибирь.

По норам жизнь лежит лежмя.
Не шелохнет куста, не взглянет.
Лежит вдоль просеки стеклянной
Застекленелая лыжня.

И прогуди, сюда заехав
Не позже этого числа, —
У ног осколками стекла
Через мгновенье ляжет эхо.

Обращение к любви

* * *

Освяти мой поруганный храм.

Только вороны над куполами.

Да заметно несет полами

Смертным холодом по утрам.

Перед Богом никто ни о ком.

Каждый каждому – старые счета.

Почерневшая позолота

Опадает с тихих икон.

Взгляды ангелы отвели:

В наши сумеречные бараки

Пьянь да оборотни-вурдалаки

Перекрыли дороги твои.

Под прищуром залитых зенок

Избываю себя за бесценок.

* * *

Избываю себя за бесценок.

Кто поймет в разбитой стране,
Что любовь — это жизнь, а не
Представление из нескольких сценок?!

Свой алтарь я построил сам,
Сам приделы наполнил светом.
Только что, по совести, в этом
Покупателям и продацам?!

Высь заоблачна. Спуск крутенок.
От разрыва сосудистых стенок
Умирать суждено другим.

На хорах Всевышнему гимн,
Но колышется запах денег
У поросших травой ступенек.

* * *

У поросших травой ступенек
Заворочался, чтоб реветь
Поднимающийся с четверенек
Долго-долго русский медведь.

Он не с этими и не с теми.
У него извечный урок:
Или лбом колотиться в стену,
Или теменем в потолок.

Целый мир у него отобран.
Сердце бьет кулаком по ребрам.
Поллитровка. Подъезд. Стакан.

Никуда не идем, не едем.
Благосклоннее будь к медведям, —
Я к твоим припадаю стопам.

* * *

Я к твоим припадаю стопам.
Приношу, что имею, — седины.
Ковыли по моим степям
Горизонты соединили.

Я тобою только и жив.
На тебе благодать Господня.
До утра ни своих, ни чужих
Возле нас не будет сегодня.

Обустроим свой уголок.
Наглядишься, каков милосерд —
Ломан телом, душою стебан.

Что твое, то твое. А мне
Оставаться наедине
Не с легендой, не с вымыслом — с небом.

* * *

Не с легендой, не с вымыслом – с небом!

Милосердной да буду услышан.

Наше время как будто по крышам

Днем и ночью развозит щебень.

По кумеканью, позам, гримасам

Одинаковы люди, положим.

Но кто больше других громогласен,

Откровенней других ничтожен.

Вороти их рассудку и Богу:

Так к любви короче дорога.

А иначе в грехе умрем:

Или вскроют в горячке вены,

Или мысль не заложат в гены

Ни о будущем, ни о былом.

* * *

Ни о будущем, ни о былом.

Шаг и взгляд от столба до столба.

Может, горькая поделом

Помыкает нами судьба?!

Не откликнется, зазовись!

Всё не набело, всё вчерне.

Не свою проживаю жизнь

Не в своей, похоже, стране.

На тебя то и дело прав

Домогается род лукав,

За которым ни поприщ, ни лиц.

В Благовещенье выпущу птиц —

И на все четыре поклон...

Мир несчастьями не обделен.

* * *

Мир несчастьями не обделен:

Их старанием чьей-то опеки
Человеку несут от века
Закодированная ладонь,

Силуэты солнечных вспышек,
Зелен взгляд, плутанье планет.
Достоверных знаков-примет
У природы явный излишек...

На голодном пайке сидим.
Но слова не про хлеб един
Даже в очереди за хлебом.

Наше поле полоть да полоть.
Но упруга женская плоть,
Но вдыхаемый воздух целебен.

* * *

Но вдыхаемый воздух целебен?! –
Ах, короткие ноги лжи!
По себе самому молебен
Очистительный закажи.

Все мы мечены этой метой,
По столетию краха родня.
Но России песенкой спетой
Никогда не быть для меня.

Вдох и выдох не без опаски.
И цветут не анютины глазки
В палисадниках – львиный зев.

И уже за окном со страху
Кто-то видит топор и плаху...
Растворись и останься во всех!

* * *

Растворись и останься во всех!

Пусть наполнятся клетки и поры.
По ростку-листочку, не скоро,
Но взойдет озимый посев.

И виденьем из снов не забытых
На лугу и в куще деревьев
Будут рядом и вол, и лев,
И ребенок будет водить их.

Кто какою мечтою грет, –
Может статься, библейский бред
Не сложнее школьных заданий...

Все никак гнезда не совью:
Счастье тянет тропу свою
Стороной, переулком, задами.

* * *

Стороной, переулком, задами,
Через заросли конопли
На свидание к чуду-созданию
Ах, как легкие ноги несли,

Ах, как пели юные струны!
В лунном свете мерцало чело...
Я как будто бы накануне,
Но пока не пойму – чего.

С прокаженного места стронься –
И увидишь новое солнце,
Новых звезд голубую эмаль,

Край сбывающихся желаний,
Где асфальтовой марью даль
Улетает в конец мироздания.

* * *

Улетает в конец мироздания,
За кулички, за тартарары
Обнадеживающей поры
Прерывающееся дыхание.

У расстриги-большевика
С пониманием его и верой
В рассуждении тонких материй
Оказалась кишка тонка...

Соплеменницы бочкотары,
Надрывают голос гитары,
Пожинающие успех.

Думы в Думе. Пары перегара.
Блоки, партии. Тары-бары.
Хорошо откормленный смех.

* * *

Хорошо откормленный смех.

Депутаты не сходят с экрана.
То на Библии, то на Коране
Дарят клятвенно смену вех.

Смотришь, темные воды зажглись,
Засветлели леса-урманы.
Продолжающуюся жизнь
Не скудит Господь закромами.

Будто снова все впереди.
По широкой земле броди
И в зеленом лесу аукай.

Если б только не чушь и блажь!
Через шумный думский кураж
Постигаю земную науку.

* * *

Постигаю земную науку.
Затрибунному соловью
Обещаньями не убаюкать
Просвещенную душу мою.

Посникали знамена, намокнув.
А надежды порой ночной
На удавках подвешены в окнах
И скальпированы Чечней.

На свирепствующую дурость
Не тяну улыбку, не щурюсь:
Сколько будет еще всего!

И зевотой скулы свело.
Перестрелки, вожди – доука.
Положи мне на голову руку.

* * *

Положи мне на голову руку.
Загораживая окоем,
Новый век из-за дальней излуки
Выдвигается материком.

Он уже прочтен, между прочим.
Ну а я, хрипя и сипя,
Только-только из-за обочин
До тебя дотащил себя.

Через ненависть, через нелюдь.
Из меня еще можно сделать
Что-нибудь? Матерьяла грамм.

А над утренней колокольной
Все раздольней шабаш, раздольней...
Освяти мой поруганный храм.

* * *

**Освяти мой поруганный храм.
Избываю себя за бесценок.
У поросших травой ступенек
Я к твоим припадаю стопам.**

**Не с легендой, не с вымыслом – с небом!
Не о будущем, не о былом.
Мир несчастьями не обделен,
Но вдыхаемый воздух целебен.**

**Растворись и останься во всех!
Стороной, переулкем, задами
Улетает в конец мирозданья
Хорошо откормленный смех.**

**Постигаю земную науку.
Положи мне на голову руку.**

СВЕТ БЕЗ ТЕНИ

* * *

Люблю неторопливые слова.
Неторопливо падает листва.
Неторопливы дни в лесу осеннем.
Дымы неторопливы над селеньем.
И журавлей в заоблачный разлив
Нетороплив полет. Нетороплив.

* * *

А жизнь права: последней переправы
Мелькнут огни размытым сном слюды —
Приходит ветер сумрачным прорабом
И замечает наших ног следы.

Высоко-высоко метет над нами —
И правильный порядок наведен:
Пусть никто не ищет сил в обмане,
Что будто бы мы все еще идем.

И потому: последней переправы
Мелькнут огни размытым сном слюды —
Приходит ветер сумрачным прорабом
И замечает наших ног следы.

* * *

Геннадию Шиповалову

Дай у твоего костра погреться.
Дождь со снегом крутит ветерок.
Ты не обессудь, что я до сердца
В этакую непогодь продрог.
Не перед кем, право же, стараться.
Варит ночь крутых потемок вар.
Сдвинем-ка давай усталый транспорт,
Стол соорудим при свете фар.
Счастье может в девках засидеться.
Это не про нас с тобой, дружок.
Дай у твоего костра погреться –
Своего я что-то не разжег.

* * *

Моей сестре Наташе

«Гулеванам обед на столбе».
Мама нас по головке не гладит.
Но в забитой луною избе –
На столе молоко и оладьи.

Мы ушли набираться ума.
Мы обветрены всеми ветрами.
А над вечным пристанищем мамы
Наметает сугробы зима.

Горечь меда и горечь полыни
В неприкаянной нашей судьбе.
Но одно непреложно поныне:
Гулеванам обед на столбе.

* * *

Владимиру Пальчикову

...И за глухими ставнями
Квартиры ледяной
Я вымерзал, оставленный,
Друзьями и женой.
Не брил угрюмо бороду,
Сживаясь с мыслью той,
Что за стеной – ни города
И ни души живой.
Смолил табак по-лютому.
И, вздрогнув на звонок,
Не мог понять – откуда бы
Кто позвонить бы мог?!
А это он, провьюженный,
Продрогший до костей,
Ко мне ломился с дюжиной
Отличных новостей.
И к черту меланхолии
Заезженных коняг!
Симфонии Бетховена,
Есенин и коньяк...
Касалось душ великое.
И пламенели лбы.
Не путаники никлые –
Хозяева судьбы.

Казашка

«Скорей, скорей! Ну что за жизнь бегом?!».
Звенят монист истершиеся блески.
Суша, как степь, она на перекрестке
Замешкалась с внучонком и мешком.
Ни слов, ни лиц. Колеса, тормоза.
Немого светофора окрик грозный.
Раскосые расширены глаза
И тонкие подрагивают ноздри.
«Туда, туда, — дрожало меж ресниц, —
Где солнце за поводья водят птицы,
Где ветер гор, срывающийся вниз,
Разметывает гривы кобылицам».
Ей город выдавал, в чем преуспел.
Она стояла, молча внука глядя.
В ее глазах лежал простор степей
И запах трав таился в складках платья.
Мимо нее летел людской поток,
Железо громыhalo и грозило.
Она до глаз закуталась в платок,
И никуда, казалось, не спешила.

Айя

С этим именем странным одна маета.
Или сон не такой или явь не такая?
Это криком ослепшего вдруг маяка
В море брошено в черной полуночи:

– АЙЯ!

Ты проходишь стремглав по осенней листве.
Учишь в школе ребят, пребываешь в гордыне.
И не знаешь о том, что в моей голове
Постоянно твое непонятное имя.
Будто кренится мир, как корабль, на корму.
Будто смертная катит волна, нарастая.
И в полночном часу неизвестно кому
Я кричу в опустевшие улицы:

– АЙЯ!

* * *

Свет без тени. Рощи — мачтами.
Одинокий вскрик клеста.
Мы становимся прозрачными,
Как осенние леса.

Что утрачено — утрачено.
А за прочее — горой...
Мы становимся прозрачными;
Так что холодно порой.

* * *

Все не то я делаю,
Все не то.
Все не там оказываюсь,
Все не там.
Я не в тех прихожих снимаю пальто,
Руку подаю не тем рукам.
Я не в те глаза заглядываю,
Не в те глаза.
Я прислушиваюсь к голосу
Не к тому.
И ведь не разразится над крышей гроза,
Не повышибает окна в дому.
По задворкам памяти хоть не ходи —
Можно и не встретить людей.
А уже не ласточки впереди —
Стаи белые лебедей.

* * *

Некогда дань платить мелочам.
Падают звезды по вечерам
В стынувший август, в густые овсы —
И останавливаются часы.
Тихо, как в зале после спектакля.
Капают с крыш монотонные капли.
Веско и выразительно — будто
Капают кровные наши минуты...

* * *

Мы растем быстрее, чем города,
Где прошли мальчишеские годы.
Оттого-то кажется – сюда
Будто не приходим мы, а сходим.
Но качнется под ногой земля –
И душа невольно устыдится.
На какого в небе журавля
Выменял из рук своих синицу?!
Не узнать любимого лица,
Не заметить школьного порога.
Далеко за годы и леса
Уводила странница дорога.
А не за горами время жатв.
Многого не надо нам для счастья:
Было бы откуда уезжать,
И куда с годами возвращаться.

* * *

Еще весенние ветры
Пряно стоят в волосах.
Не пройденные километры
Еще голубеют в глазах.
Еще молодого риска
Зерна зреют в душе...
Но первые желтые листья
Лежат на асфальте уже.

1919

Погони тяжелое цоканье,
Щелчок карабина – и вдруг
У парня поводья, как окуни,
Выскальзывают из рук.

Не вскрикнув, с лицом перекошенным
Упал конармеец в траву,
Хватая рукою отброшенной
Вечернюю синеву.

Остановились глаза его.
Склонилась над ним бузина.
И лунным накрыла саваном
Внезапная тишина.

А в мире – весенняя звонница,
Стремительный солнцеворот.
И гневными саблями конницы
Гремит девятнадцатый год.

Лермонтов. 1841

Предела нет российскому размаху.
Новинки не в диковинку у нас:
Москва крамолу волокла на плаху,
Санкт-Петербург ссылает на Кавказ.
Не оглянись! Он гонит аргамака.
В горах набрякли вишни – к плоду плод.
Коснись ветвей – и белая рубаха
Кроваво-красно пятнами пойдет.
У нас ума не надо для предлога.
За ним вослед летит собачий лай.
Отвесную ведет его дорогу
Стеклянными глазами Николай.
Не оглянись! Все, Боже мой, по-русски.
Хлестнули разом выстрел и гроза.
Остановились медленно и грустно
Под русским небом русские глаза.
И тишина ударила с размаха.
И темень навалилась, как скала.
На мертвом теле белая рубаха
Кроваво-красно пятнами пошла.

Блок. 1917

От заседаний в Петропавловке
Раскалывалась голова.
Страна раскачивалась, как палуба –
Он узнавал ее едва.
Нева волнами шла крутыми
И о гранит их разбивала.
Для полной ясности картины
Ей лишь «Авроры» не хватало.
Но сокрушительно резонна,
Качая скошенными мачтами,
Та на октябрьском горизонте
Уже отчетливо маячила.
Там, впереди, затворы клацали,
Мело студено впереди.
Он слышал дальний шаг двенадцати
И на него переходил...

Коммунальный сюжет

Не работается – беда.
Что ни строчка – ни в зуб ногой.
Тут хоть Богу душу отдай –
Не поможет никто другой.
Ночь пропала по существу.
Лезет в голову всякий вздор.
Выхожу в четвертом часу
Туча тучею в коридор.
Слепо тлеет на кухне свет:
Это стирка опять у той,
Что грозит много-много лет
Стать однажды моей женой.
Помогаю отжать белье,
Ванну снять, передвинуть стол.
Уколоть пытаюсь ее
Обращением: слабый пол.
А она говорит: «Дела!
Застопорило – и несет.
Кислород богема взяла,
И тебе остался азот.
Потому волосья стриги,
Заводи себе огород...».
И увижу я вдруг строки
Неожиданный поворот.
За строкою в беде моей
Свет увидится впереди.
И, прощаясь, скажу я ей:
– Дольше замуж не выходи!

* * *

Все те же споры в свете ламповом.
Поэмы. Формулы. Мазки.
Друзья отчаянно талантливы –
Хоть отойди да шапку скинь.
Их соль и суть – упрек насмешливый
Мастеровым и мастерам.
Их тесто так давно замешано,
Пора бы быть и пирогам.
А вот увы. Смолкаешь замкнуто
И локти вдавливаешь в стол.
Уж возраст за полдень, а сам-то ты
Как далеко от них ушел?!

Кого учить?!

Сплошная грамотность.
Любой на выкладки горазд.
И все сомнительнее крайности,
И все прищуреннее глаз.

Моей пишущей машинке

Я пустовал, как в мае сеновал, –
Лежалая труха и паутины –
Куда никто входить не рисковал,
Чтоб невзначай не запылить ботинок.
Я пустовал, как в мае сеновал.
Исподтишка покрыта пылью серой,
И ты в своей ненужности осела,
Сомкнув притихших букв полуовал.
Но был июнь настоян на степи.
И душно прели травы, и сараи
Уже срывали крыши со стропил,
С фундаментов самих себя срывали.
И мы с тобою снова на коне.
И мир открыт и честен без подвоха.
И каждый нерв уже гудит во мне
Высоким напряжением эпохи.
Уже рукою голою не тронь!
Пути никто нигде не сможет застить.
Мы, часто расшибавшиеся насмерть,
Не бабочки, простите, на огонь!
В окне звезда колючая светла.
В окне деревьев конные отряды.
Ты гейгеровским счетчиком пошла
Отсчитывать души моей разряды.

Стихи из кинозала

Мне этого больше не вынести!
Воздетые куклы рук.
В монументальной картинности
Навис над столом хирург.
И вот уже слава около.
Цветы победившим рукам.
Позирующего доктора
Улыбка во весь экран.
Да нет же!
В свою бессонную
Работу только включись —
До поля операционного
Сужается жизнь...

* * *

Я наших планов люблю громадьё
В. МАЯКОВСКИЙ

Несло-несло и вынесло.
За громадьё-турами
По всей Расее минусы
Давай являться плюсами.
В комедии затейливой
Давай, сияя лицами,
Нули первостатейные
Являться единицами.
Да все донельзя сытые,
Донельзя гужеватые.
...И вот она посыпала,
Погода сыроватая.

* * *

Ты куда опять, капитан?!
Только пенный бурун от форштевня,
Только с берега длинно и древне
Чей-то взгляд через даль и туман.

Коротки и весомы слова.
В лёгкой дрожи надстроек – скорость.
Как младенцев, зеленую поросль
Окунают в волну острова.

Годы гонятся по пятам.
Под фуражкой густы седины.
И ни дочери, и ни сына
У тебя нет ни здесь, ни там.

Ты куда опять, капитан?!

* * *

Антону Васильеву

В бесполезных гаснут усилиях
И наветы, и спесь, и месть,
Потому что я есть Васильев,
Из Васильевых, то есть, есть.

Земледелец — пашу и сею.
Жизнеделец — с тока на ток.
Если бабочка — то на шее.
Только чаще под локоток.

* * *

Этих мы в Дели,
Этих в Кабуле
Или одели,
Или обули.

Эти нас в Дели,
Эти в Кабуле
Или раздели,
Или разули.

И зачастили
Ливни косые.
Что ты, Россия,
Где ты, Россия?!

* * *

Соседу яму не копаю
И взятки не передаю.
Я ничего не покупаю
И ничего не продаю.

Хожу в лаптях на босу ногу,
Сижу с бутылкою в потьмах.
И понимаю понемногу,
Что со странною дело швах.

* * *

Все обыденно просто:
Никогда не вернусь
На Васильевский остров,
На Васильевский спуск.

И как будто привечен,
И как будто чужой.
Лишь Васильевский вечер
У меня за душой.

Три войны на погосте —
Поднят век на штыки.
От фамилии остов.
И года далеки.

* * *

Александру Гришину

Научи меня быть молодым.
Дни не встанут в розовом дыме.
Просто с пыльной тропинки алтын
Ни гроша не имевший поднимет.

Никаких чудес в решете.
А такая малая малость:
На какой-то далекой версте
Что-то очень мое потерялось.

Сам с собой один на один.
Не находит душа причала.
Научи меня быть молодым —
Остается времени мало.

* * *

Памяти Александра Гришина

И нет спасенья от тоски:
Такая жизнь, такое время.
Он поднимался на носки,
Когда читал стихотворенье.

Ни строчки задом-наперед,
Все в соответствии с природой.
Он знал, откуда что идет
И кто его рукою водит.

Сороковины

Да, дружище, снега, снега.
Голубые, дружище, белые.
Хоть дорога и недолга –
Мы большие привалы делаем.

Нааукаешься в пустоте –
И под сень берез опрокинешься.
Фотографией на кресте
Ты встречаешься с нами, нынешний.

Ни туда, ни сюда ни на шаг.
Ясновидцы. Пророки. Стоики.
...Поминальных рюмок куржак
Серебрится на тихом столике.

* * *

Который раз я поражен,
Который раз повержен...
От сыновей, увы, от жен
Удара мы не держим.

Они читают нас с листа,
А мы идем контекстом.
И жизнь проста, и мысль проста –
Поговорить вот не с кем.

* * *

Владимиру Макарову

Завтра выпадает снег. Последние
Опадают окрест леса.
И друзей моих заповеднее
Отдаленные голоса.
В перегуде аудиторий,
Под трассирующими в горах...
Не расскажешь своих историй,
Хоть чуть-чутьочку не перебрав.
Небо на два раза простирано.
Даль раскрыта до полюсов.
На дорогах к закату пустынное:
Больше отзвуков, чем голосов.

* * *

Брайсу Вегису

Говорок печурки картав.
Две звезды над окном зажглись.
Я, наверное, был не прав
Всю счастливую эту жизнь.
Бренный путь уже освящен.
Надо было думать новей.
Просто время случайных жен
И потерянных сыновей.
Просто время слепой езды.
В голове дурман-белена.
Верхней шишечкой до звезды
Дотянулась в окне сосна.
Я, наверное, был не прав.
Падал снег, а не смрадил смог.
Говорок печурки картав.
И собака лежит у ног.

* * *

По мосткам-переходам из жиденьких плашек,
Рано голову суетной блажью набив,
От себя мы уходим все дальше и дальше,
Невзначай уходя и от первой любви.

Замыкается круг. Хватит. Пряжи напряли.
И ступая за полузабытый порог,
Мы находим, что нет нас в оставленном крае,
А у первой любви нет давно к нам дорог.

Для чего на чужие всходили вершины,
И зачем так дорога была далека?!
Мы лежим, опрокинувшись, на кошенине,
А над нами плывут и плывут облака.

* * *

По огнищам, урочищам, поймам
Жизнь раздарена музам и узам.
Кто-то призраком счастья был пойман,
Кто-то, кажется, не был им узнан.

Нас к заутрени колокол будит,
Будят ранние автомобили.
Мы считали, что все еще будет,
Оказалось, что все уже было.

Памяти Брайса Вегиса

Звезды рассыпаны азбукой
Вечною — им не стереться.
Ты, принесенный за пазухой,
Так и остался у сердца.
Поздняя память спохватится —
Грома и молний отводчик,
По коридору покатится
В ноги живой комочек...
Звезды морозцем озвончены —
Музыка синих льдинок.
Это твой взгляд настойчивый
Через их дымку стынет.
Ты за чертой, за околицей,
На вековечном постое.
Как тебе там покоится,
Солнце мое золотое?

О старости

Никуда от нее, серебряной,
Никуда от нее, зловредной.
Столько струн еще, Боже, не брано,
А она толчется в передней.

То ругнется, то стукнет тросточкой
И нет-нет приоткроет двери.
Вот возьму и единым росчерком
Запрещу глухую тетерю.

И отправлю на поселение
Лен трепать и плести рогожи...
Придержи ее до последнего,
Если не преуспею, Боже.

* * *

Да, господа, не слабо!
Тяжек с похмелья день.
Рядом валяется баба,
Грязная, как Тюмень.

Не завожу знакомства.
Между нами черта.
Все-таки я из Омска,
Все-таки не чета.

РЕКА И БЕРЕГ

Пролог

Как много их, великих без заслуг!
Отшатываюсь в страхе суеверном.
Который год выходишь к ним на стук,
Выходишь к ним, а никого за дверью.
Всё те же тени мутят белый свет:
– Почто не возят нас в автомобиле?
Ну да, нас нет, но если даже нет –
Мы быть могли, а может быть, и были!
Всё объяснимо. И не вразуми!
И ни одной претензии не снято.
И на одном ты можешь доказать им,
Они тебе докажут на семи.

Уносит солнце за полдень река.
Спохватывается вечерний берег.
Он всё еще надеется и верит,
Но издали – прощальная рука.
Она как будто: «Встреч не предреки!».
Она как будто: «Я без возвращения!».
Свое предназначенье у реки,
У берега свое предназначенье.

Отвлечь вниманье проще, чем привлечь.
Но тянет нас вода исконной тягой.
Река, как жизнь, бывает работягой
Как жизнь, бывает, может просто течь.

Отправная точка

Жить так жить – полнее лей в стаканы,
Чтобы пыль столбом от трепака!
Или мы с тобою не Иваны,
Или не потомки Ермака?!
Рви с плеча последнюю рубаху,
И последний рубль – но вверх орлом!
Мы еще на жизнь нагоним страху,
Мы еще такое завернем!
А пока транжирь себя в задоре.
Наши предки, голь и нищета,
Погулять любили на просторе.
Или мы душой им не чета?!
Честь сберег, родной предел не предал, –
Не маячит впереди сума.
Или нам Господь силёнок не дал,
Или не дал, может быть, ума?!
Мелкота пыхтит и копит опыт,
Ставит сеть на своего ерша.
День-деньской ломаемые копы
Ломаного стоят ли гроша?!
Час пробьет – мы не придем, а грянем!

Но уже и возраст их настиг,
И для посторонних иностранным
Кажется привычный их язык.
И не отлипает грязь от бродней.
В мыслях разлохмаченных – затор.
И давным-давно им подворотней
Обернулся дедовский простор.
А на зеленеющую озимь,
На седины убранных полей,
Журавлиный клик роняет осень.
Осени нельзя без журавлей.

Ресторан

Танцует девочка со мной –
Нейлоновое облачко.
Издалека с ее весной
Моя бежит по тропочке.
И у нее по сторонам
Мои леса аугают,
Как будто бы не ресторан,
А то село Безруково.
Не жаль стихов – да Боже мой! –
Накопленных по строчечке.
Танцует девочка со мной,
Нейлоновое облачко.
А станут ставни закрывать –
И вот тебе одна еще!
Она уйдет со мною спать,
Невинна и всезнающая.
Ей-ей, детей ей не рожать.
Где притулился – притулишься.
Ей только б так успеть сбежать,
Чтоб никого на улице.
А жизнь привычна за спиной
Вести рассказы устные.
Танцует девочка со мной,
Пока жена в отсутствии.

Концерт

Как просто потеряться, просто сгинуť.
Я ухожу, и ты поешь мне в спину.
Ни сцены нет, ни стен, ни потолков.
А зал – он не поймет, он бестолков:
Его твое умение с толку сбило.

Уйти, сбежать, уехать! Но таксист
Сидит как богдыхан под балдахин.
А ты, портьеру локтем отодвинув,
Уже на бис идешь из-за кулис.
Но славен лес не птицей пустельгой.
Чуть намекни – взрываешься с обидой.
Не повтори других, себя не выдай
Ни голосом, ни жестом, ни строкой.
Из года в год под модой-бастрьком!
Тебе привычно быть и знаменитым,
И к своему разбитому корыту
Привычно возвращаться стариком.
Затолкованные, мелкотные дни.
Ты – никого, тебя – никто, не бойся!
Вплывает торжествующе авоська
В твои покои – и не прогони!
И, мыслью оглушительную пронят,
Порой на всем готов поставить крест.
В конце концов на улицах оркестр
Слышней, когда кого-нибудь хоронят.

Дед в день рождения

Восемьдесят деду. Рык на рык.
Он речник, и к рыку попривык.
– Скупщики подержанных вещей,
Всё не нахлебались лаптем щей?
Не вините Бога, баб и старших –
Нет у жизни милостей монарших.
Кто из вас силёнкой подзапася,
Чтоб не уступать, не поступаться?
Никому счастливых карт не роздано.
Ранними сплошали – стали поздними.
И теперь довольствуйтесь, хорошие,
Робою, с плеча чужого сброшенной.

Только час последний не оттикал,
Ибо в школе жизни нет каникул.
Дед живет материю высшей,
Поживи под дедушкиной крышей!
– Восемьдесят стукнуло. Старик.
Резал облака и волны стриг.
Вас куда нелегкая несла?
Уберите руки со стола.

Лирика

Эге-гей!
Далеко-далеко
Берега отзываются эхом.
То гармонью, то девичьим смехом
Отзывается ночь над рекой.
А река не замедлит течения,
Не ускорит течения река.
То, что жизнь у людей коротка,
Для нее не имеет значенья.
Сокровенное, вечное ей
Приношу и хочу докричаться,
Но немая река беспричастно
Шевелится во тьме.
Эге-гей!

Разговор над рекой

«Вам сколько лет?
Пора бы быть умней.
Не вскидывайте голову – нелепо.
Судьба судьбой, но человек, по мне,
Он сам себя в конечном счете лепит.
Ему, по мне, зазорно жить зудя:
Не с крыши начинают строить зданье.
Уж эти надоевшие страданья

Замешкавшихся в поисках себя.
У счастья слишком много едоков.
Не очень разживешься на готовом.
Давно Жар-Птиц закончился отлов,
Давным-давно пособраны подковы.
С чего сыр-бор?! А, впрочем, ерунда.
У вас глаза как восемьдесят восемь.
Но все-таки, когда приходит осень,
Должны же быть слышнее поезда;
По-из-за окоема окаянно
Должны же дуть ночные холода?!
Как пристани оставив города,
Река уносит воды к океану.
И отвлекало, да не отвлекло.
Не потерялся след в ее урманах.
И для меня сейчас ее туманов
Целебнее парного молока.

Простите, но у вас не взгляд, а вздох,
Как у щенка, скулящего на прясло.
И вы не понимаете напрасно
Ни слов моих, ни рек, ни поездов.

Песня

Это давняя-давняя песня про Север
В нашей жизни когда-нибудь разже была?!
Не на рифы, на мели мы, кажется, сели:
Декорации убраны – сцена гола.
День неведомо где отгорит не взойдя.
По всему – помереть нам придется в постели.
Но какой-то забытой частицей себя
Мы всё едем на Север, всё едем на Север.

Испыток не убыток –
Выходим в океан.

Напитками напитан
Товарищ капитан.
Мужик что надо: лощий
И в руки не берет.
И сам перевернется,
И нас перевернет.
Его характер шалый
Не многим по нутру.
Дойдут дела, пожалуй,
До бунта на борту.
Дойдут и очень просто –
Волнуется народ:
Какого пароходства
Веселый теплоход?!
За чемоданы эти,
За валерьянку те,
На необычной трети
Какой-то высоте.
Мы вышли в понедельник.
И вот до четверга
Нам море по колено
И жизнь недорога.
За кои это веки
Увидеть суждено,
Когда у человека
Лицо обнажено!

И во весь-то свой рост поднимается возраст:
Мы стоим перед ним, словно дети в трико.
Человек над рекой, объявляется розыск
Расхитителей дней, человек над рекой.
Вы простите мне тот разговор бестолковый:
Я хотел вам сказать, что не падайте ниц.
Нам-то что, если пособирали подковы,
Нам-то что, если переловили Жар-Птиц?!

Эпилог

Река течет на Север, далеко.
И попусту ее не окликайте.
Поверженными кедрами на карте
Через Сибирь так много их легло.
Им дела нет до наших бурь в стакане.
И эти кедры знали, где упасть.
Но только и над нами эта власть
Ветров и льдов, ветров и океанов.
Гремят-грохочут, пробуя и зля,
Чтоб вопрошать — откуда ты и кто ты?!
В нас испокон гудмя гудят работы
На полных оборотах дизеля:
Чтоб выгореть до капли — и каюк.
Мы все уходим к вечному ночлегу.
Судьба судьбой. Но только человеку
Не знать судьбы, отбившейся от рук...

Река течет на Север, далеко.
Дымком и дымкой даль обволокло.
В прохладном свете.
В поднятости синей
Еще огромней мир, еще вместимей
От высоко стоящих облаков.

ОФИЦЕРСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Производство в офицеры

Лейтенанты целуют знамена.
И познабливает слегка
От торжественного холодка
На притихшем плацу батальоны.

Пролетают эпохи в мгновеньях.
А они в переплеске погон
На колено встают у знамен,
Чтоб не знать, как стоят на коленях.

* * *

Они из каких семян прорастают,
Военные песни.
Военные песни?!
Года свои численники пролистают –
И юности на дом приносят повестку.
Гармошка и плач на перронах истертых.
Бегущий назад станционный заборчик.
И вот у тебя под ремнем гимнастерка
Уже непривычные складки топорщит.
Уже сапоги – чтобы даль не страшила,
И чтобы земля не страшила – лопата.
Но традиционно усатым старшинам
Из тебя еще долго делать солдата.
А песня над строем по слову приказа
Пошла в наступленье на передовые –
И ты, не слыхавший ее ни разу,
Срываешь в ней связки голосовые.
И под ноги полдень дороги бросает –
Поля, перелески,
Поля, перелески...
Они из каких семян прорастают,
Военные песни,
Военные песни?!

* * *

Офицерское общежитие –
Подорожный мой дом без сна.
Открывается вся решительно
С колоколен его страна.
В разговорах пойдется-поедется
По дорогам армейской судьбы –
И поднимется белой медведицей
Вьюга-падера на дыбы.
Только рвутся длинные высвисты!
Но в тулупе, тяжел, как дот,
Часовой из метели выступит
И окликнет: «Стой. Кто идет!»
Лунных окон на стенах прогалины.
Искранет трамвай, озарив.
И всплывают в бухтах окраинных
Субмарины у пирсов сырых.
Наклоняется степь ястребиная
И становится на ребро
Поднимающихся истребителей
Вертикальное серебро.

Баллада о мальчишках

1

Они ходили по этим улицам.
И с этих тротуаров
Поднимали осенние листья,
Просто так, ни о чем, грустя.
Они мимоходом смотрели в эти витрины,
Не видя ни цен, ни костюмов,
Но увидеть себя успевали.
На этих сквозных перекрестках,
У этих часов отстающих
Ждали их лучше в мире девчонки.
И когда
Глаза встречались с глазами,
Руки с руками,
А губы с губами встретиться не могли, —
Мальчишки любимым на память
Дарили эту планету
С ее росами и ветрами,
С зорями и черемухой.

2

Я знаю:
Мальчишкам мечталось о небе.
О головокружительном небе,
В котором так хорошо купалось
Их голубям.
Я знаю:
Мальчишкам мечталось о море
О море странствий и славы,
Выносящем на берег
водоросли,
как лавровые венки.
Да мало ль о чем ни мечталось мальчишкам!

Но выпало им
 Копать в болотах окопы,
 И, заскорузлой рукой раздвигая камыш,
 Вслушиваться в тишину,
 Готовую вот-вот взорваться.
 И тяжело выводить
 Ночные бомбардировщики
 В холодное звездное небо,
 Забывшее о голубях.

И вот мы ходим по этим улицам.
 У этих часов отстающих
 Ждут нас лучшие в мире девчонки,
 И руки их пахнут
 Росами и ветрами.
 Зорями и черемухой.
 Из солнечной выси
 Возвращаются голубиные стаи,
 Словно падает облако
 На крыши и мостовые.
 Прибрежные камни
 По-прежнему голы и серы,
 Далью и солью
 По-прежнему отдают...
 А они
 Бронзовыми глазами
 Смотрят на нас с пьедесталов,
 Смотрят с мемориальных досок
 И книжных обложек,
 На все времена
 Оставленные
 В списках живых...

* * *

Над кварталами звезд – как из короба.
Небеса в тишине строги.
В электрических сумерках города
Одиноки мои шаги.
Мы вольны от беды занавеситься
И от горя уйти вольны.
Только я, как пропавшие без вести,
Все иду из большой войны.
Все путями-дорогами длинными.
И вернусь ли к кому когда?!
Пролетят журавлиными клиньями
Над моей головой года –
Где-то будет последняя станция,
За которой уже ни зги.
Но в ночных переулках останутся,
Как надежда, мои шаги.

* * *

Ни за понюшку ни за чох
Генералиссимус Грачев
Кладёт младенца за младенцем.
В великомудром деле том
И задает и держит тон
Главкомандующий Ельцин.

Россия-мать, героев чти!
Под аркой славы дай пройти
Своим воителям-умельцам!
Набрали больше всех очков
Генералиссимус Грачев,
Главкомандующий Ельцин.

Условный противник

1

В атаке нет пути назад.
И страха нет. Но это враки.
Звения, над пропастью висят
Отполированные траки.
В них скоростей высоких зуд.
Уже в бою наполовину,
Они по воздуху несут
Разгоряченную машину.
За нею пыль, за нею прах!
Ее азарт – в душе тревогой.
Но не расходятся в горах
Без столкновения дороги.

2

Упругие нервы – под током.
Приказов и вводных – обвал.
Гудит селевым потоком
По каждому борту напалм.
Глаза заливают потом.
Натужный мотор перегрет.
Двужильным солдатским работам
Готового перечня нет.
И надо медали чеканить, –
Не просто большая игра
Раздавшегося плечами
Мальчишеского двора!
Тяжелое пламя отринет
И вновь упадет на броню.
Сжигает условный противник
Дорогу в условном бою.
Сломался. Не вынес нажима.
Но праздновать рано не даст!

Отбрасывает машину
На черные скалы фугас.
Хребет проседает, охнув...

Далекому взрыву в ответ
В бессонных маминых окнах
Нечаянно дрогнул свет.

3

Ночью холода в горах остры.
Каждому работы перепало.
В стороны кидаются костры
Нашего высокого привала.
Ни умом, ни сердцем не робей.
Карту развернули командиры.
Нижний мир пускает голубей.
Навык отрабатывают тиры.
Стынут бездны далей, бездны лет.
Белый свет, к чему себя готовишь?!
Млечный Путь – как тянущийся след
От костров кочевий и становищ.
Оглянись – и снимутся века,
Покидая пожни и пожитки.
За копытным стуканьем валька –
Детский плач и женский плач кибитки.
Миру в мире жить не привелось.
Воздух настороженный и колкий.
И сквозят отверстиями звезд
В небе стрелы, пули и осколки.

Трудный разговор. Угомонись!
И не нарушай равнение строя,
Чтобы продырявленная высь
Не разверзлась черною дырою.
Грудь – вперед. Рука на кобуре.

Только соверши такую малость.
Чтобы в детских играх во дворе
Памяти о войнах не осталось.

4

Костры – как наведенные мосты.
Привал как дом, в котором свет не гасят.
Издалека ко мне приходишь ты
В несмелости всегдашней и всевластье.
В твоих глазах лесная тишина.
И полутени сумерек вечерних.
И кажется, что ты отражена
Рекою с оставленным теченьем.
И мне одно на голубом и алом,
На грозовом моем материке:
Чтобы случайной зыбью не сломало
Живое отражение в реке.

5

Трактаты о вечном мире...
Выси – к горе гора.
В четкой сетке визира
То же, что и вчера.
Полк батальоны двинул
В серый сырой рассвет.
Есть условный противник,
Долга условного нет.
Кто здесь чего под дождями
В годы какие искал?!
Хмурое выжиданье
Ошеломленных скал.
Просто так не пропустят –
Испытают собой...
И обостренной чувство
Родины за спиной.

* * *

Не положить Россию ниц,
Меня не положить.
В моей душе ее границ
Не перешить.

Не приводи других в пример,
Слов не переиначь:
Я старый русский офицер
И старый русский врач.

ТЮМЕНСКИЙ СЕВЕР

Тюмень

Обложили Тюмень болота.
Обступили Тюмень леса.
Постоянно в ее широтах
Непогодные небеса.
Перекрыты пути-дороги.
Соизмерь. Рассчитай. И взвесь.
Если черти ломают ноги.
То, наверное, только здесь.
Отступи и не пробуй силы.
Горизонт не проступит, стёрт.
Теплоходу причал опостылел,
Самолету – аэропорт.
Обложили Тюмень болота.
Обступили Тюмень леса.
Постоянно в ее широтах
Непогодные небеса.
А под нею – не слышно разве?!
А под нею ревет-гудит
Голубая стихия газа,
Нефти черный котел кипит.
Ни замены им, ни отмены –
Пребывают всегда в цене.
И ни шагу без них Тюмени,
И ни шагу без них стране.
Не сошлешься на то и то-то.
И не скажешь, что не могу.
Простилает Тюмень болота,
Прорубает Тюмень тайгу.
Носят грузы вода и воздух –
Вопреки и наперекор...
Государственных планов поступь.
Государственный разговор.

В самолете

Буду пятым, десятым, сотым –
Не о том сейчас разговор.
Подо мной проплывают соты
От воды разбухших озер.
Жизнь, меня не води под локоть
Ни сейчас, ни потом – никогда.
Широко, далеко-далеко –
Разливанная водь, вода.
Чертополье. Шаманий танец.
Ходит истина здесь нагой.
На сухих пятачках не встанешь,
И одной не встанешь ногой.
А попробуй рискни некстати –
Не отыщет никто следа...
Что за люди, которые встали
Здесь обеими – и навсегда?!

Междуреченск

Жизнь закружит – и не встречусь,
Разойдусь в пути с тобой.
Ты приснись мне, Междуреченск,
Солнцем, лесом и водой.
Сотвори счастливый праздник!
В мир полуденный плесни
Откровенный запах краски
И распиленной сосны.
И ступенек – плаха к плахе –
Повтори веселый счет,
Чтобы пристань Устье-Аха
В сердце ахнула еще.
И пока на перекатах
Навигация, сезон,
Дымный след потянет катер
Над рекой за горизонт.
И его гудкам над плесом
Отзовется вновь она
Оселками сенокоса,
Луговая сторона.

Тюмень – Тобольск

Говорим о работе вскользь.
Лишним словом не тронем.
Пассажирский Тюмень – Тобольск
Отошел от перрона.
Встречный ветер упруго вит.
Слаб – отстань и останься.
Делать дело торопит вид
Обживаемых станций.
Пядь за пядью, за падью падь:
Метод прост и отлажен.
Нам прокладывать-пробивать
Путь-дороженьку дальше.
Лет не очень велик запас:
Жизнь разумней используй...
Север вглядывается в нас
Куполами Тобольска.

* * *

На берегах Инк-ван-югана,
Полгода горько веселясь,
Из-за тебя рвались баяны,
Связь телефонная рвалась.
Смятенных душ шатались глуби,
В глаза темно летела гарь.
С ума сходили лесорубы
И сам партийный секретарь.
Тайга – кому какое дело?!
Законы – в рае шалаша.
Ты собралась и улетела,
А показалось – в лес ушла.
Что над тобой сомкнулись кроны,
А за тобою иван-чай...
Случайно ночь звезду уронит,
Всплеснет волною невзначай.
Луны серебряные трубы
Взойдут над лесом...
Но как встарь
Все ждут чего-то лесорубы
И сам партийный секретарь.

* * *

Идут осенние дожди.
Сочти погоду независимой
И распроклятой сумки с письмами
Теперь до белых мух не жди.
Диспетчер нас среди болот
Не обозначит даже точечкой.
Такое злое одиночество,
Что ходим задом-наперед.
Ах, бригадир, себя щади:
Не утворим тебе, не вытворим.
Но и сказать, чего тут хитрого –
Идут осенние дожди.

Письмо сыну

Необъятен наш Север, Сева, –
Столько дней и ночей езды!
Очень много деревьев слева,
Справа очень много воды.
Только это для стихотворенья.
А на самом деле – беда:
Или в воду вошли деревья,
Или их затопила вода.
Надо всем комарье беспощадно
Бесконечную гонит нуду.
Редко-редко где есть площадки
Из песка, как в детском саду.
И на этих площадках для взрослых
Вырастают на все года
Не игрушечные, а вовсе
Настоящие города.
И понадобились для работы
(А работы – только начни!)
Вертолеты и самолеты,
Самосвалы и тягачи...
Я на вышках с буровиками,
Я со сварщиками у огня.
Ты расти у меня великаном,
Ты большим расти у меня.

* * *

Здесь наломанного, набитого
На столетия – почерк наш.
Здесь до самого Ледовитого
Беспощадный лунный пейзаж.
Здесь примет земных не отыскивай.
Может, лишь комариная звень
Да с глазами ханты-мансийскими
Вдалеке одинокий олень.

ПЕРЕВОДЫ

Сергей БРАТ (с черкесского)

Речка

Вынесла речка из облачных стран
К устью холодные волны.
И забурлила: «Я весь океан
Пресной водой заполню...».

Ветром забросил седой океан
Бороду скалам на плечи.
И, ничего не сказав, великан
Спрятал за пазуху речку.

* * *

Булат СУЛЕЙМАНОВ (с татарского)

Клином отлетные гуси прошли,
Грусть ненароком смахнула слезу.
Взмахи натруженных крыл тяжелы —
Ходят волнами озера внизу.

Завтра и я улетаю. Со мной
Что приключиться должно — приключись.
Молча дождинку роняет слезой
Этот последний на веточке лист.

* * *

Свободную птицу с красивым пером
В железную клетку заманят зерном,
И все ее небо – в проеме окна.
Сломает в отчаянье голос она,
О жесткие прутья перо обобьет.
А ей умиляются: «Ладно поет!».

Юсуп ХАППАЛАЕВ (с лакского)

Бариба

Та Бариба – будто рай голуба.
Эта – проклятье небес Бариба.
Здравый рассудок быть рядом велит
С тою, которая счастье сулит.

Только колотится сердце не в такт:
Что ни влюбленный, то что-то не так.

На душу грех, если рай разорю.
Мне бы проклятье небес, говорю.
Мне бы проклятье небес, говорю.

Та Бариба – на коленях мольба.
Эта – навек кабала Бариба.
Здравый рассудок быть рядом велит
С тою, которая счастье сулит.

Только колотится сердце не в такт:
Что ни влюбленный, то что-то не так.

Мне-то бы только – была не была! –
Этой, проклятья небес, кабала,
Этой, проклятья небес, кабала.

Венок сонетов России

* * *

Ты никогда себя не берегла.

Ты извела на нет себя, Россия.

Теперь какие росы оросили

Твои полупустые берега?!

Дар-обольщение нового врага,

Заманная игра нечистой силы?!

Еще остались те, что не вкусили

От твоего большого пирога...

Ты в кумаче, в победных маршах, ибо

Не знаешь, что тебя ведут на дыбу –

И в барабан, чем дальше, тем лютей.

Свои вершины, пастыри, резоны.

Чтобы потом смотреть на мир людей

Из-за колючей проволоки зоны.

* * *

**Из-за колючей проволоки зоны,
Из-за болот и вечной мерзлоты
Провалами глазниц зияешь ты
На каждый шаг, доныне совершенный
От первой роковой своей черты.**

Скрежещут перья, терпит бред бумага.
Обводит взглядом избранных прицел.
Кто лечь в сырую землю не успел –
Торит тропу к своим местам ГУЛАГа.

Размахивает красным флагом штык.
Ты ждешь и бредишь каждой хромосомой,
Что, отлепив от стылых губ язык,
В оцепененье душ сквозь ложь и зык
Качнет Иван Великий перезвоны.

* * *

Качнет Иван Великий перезвоны –
И, в белое закутанный до пят,
Пройдет по градам-весьям снегопад,
Пройдут эпохи, сроки и сезоны.

И память о событии пройдет –
Мы жалкий мир начал без продолженья.
Лишь кой-каким инстанциям слеженья,
Знать, кой-каких добавится забот.

Дыханием проклятий и пророчеств
Пока что дышит новый курс наук.
Прослушивается не каждый звук
Через глухие стены одиночеств...

А ты почти уверена была:
Заговорят в ответ колокола.

* * *

Заговорят в ответ колокола –

В свою страну вернется птица Сирин.
И крыльями забьют в просторе сиром
И жаворонки, и перепела.

И радуга расставит по опорам
Цветные арки собственных ворот;
В полях заколосится хлеб, которым
При всех гарантах будет сыт народ.

Мы совершаем грех из тяжких тяжкий:
Мы от себя бежим в чужой упряжке –
На всю планету скрип чужих телег.

И ни людьми, ни Богом не хранима,
Земля Россия – мимо, мимо, мимо.
Не может вечно длиться этот бег.

* * *

Не может вечно длиться этот бег –
Ни часа не спроси, ни с днем не сверься.
Застуженные взгляды из-под век
И не откроют и не примут сердца.

Мы каждым шагом раны берем –
Махина на крови всходила-крепла.
И каждая улыбка из-под пепла,
И каждая судьба из-под руин.

И нечего обманывать друг друга:
Не просто совершен кровавый крюк –
Совершено, увы, схождение с круга.

Не ставь препон, не предлагай услуг:
Великими умами путь расчищен
От нищих деревень к столицам нищим.

* * *

От нищих деревень к столицам нищим.

Нам пищей помощи, Господь, жилищем.

Нам разумом и светом помощи.

Остались на последний день, гляди, с чем:

Творим молитву – нож за голенищем.

Прости нам прегрешенья и долги.

В блужданиях по горям-пепелищам

Все не находим то, что долго ищем.

Направь к нам днесь, Господь, свои шаги.

Наставь заблудших помыслом жить высшим,

Сподобь не пасовать пред дьяволищем

И научи вставать не с той ноги,

Страна лежит, не лодкой кверху днищем

Под русским небом – брошенным кладбищем.

* * *

Под русским небом брошенным кладбищем
В холщовом балахоне бродит тень –
Не призрак разоренных деревень,
А русский дух, который был похищен.

Цивикнет и нырнет в кусты пичуга,
В просвете листьев даль полей мелькнет –
И понесет над бранным следом плуга
Иконы и хоругви крестный ход.

Заблазнится-накатит смех вечерок,
Согласный лад частушек-подзадорок
И поперечный слог жердей и слег.

А полдень над быльем ни сер, ни пег.
Зато спален колок и срыт пригорок.
Из края в край лежит двадцатый век.

* * *

Из края в край лежит двадцатый век.
И предок – не узнай, потомок – помни!
Во стыд и срам бездомного бездомней
На белом свете русский человек.

Давно он разлучен с самим собою:
То там, то здесь приткнется головою,
А все не у себя его ночлег.

И жизнь дороже медного гроша
Ни при отце не стала, ни при сыне.
Когда душа лишается святыни,
Она всего лишается, душа.

Во стыд и срам... А всё-то бердыша
Над смирной шеей лунная полуда.
Сюда не сыдет чудо ниоткуда.

* * *

Сюда не сыдет чудо ниоткуда:
Мы выморочной сущности причуда.

В нас не законы, в нас — повадки стад.
Со школьных лет: не прорасти — исчезни!
Нас обличают: «выискался честный!»
И «выискался умный!» — совестят.

Поет малину наша сказка-быль:
За проволокой все углы медвежьи.
Нам просто превращаться в зарубежье,
Но много проще в лагерную пыль.

Разрушена страна по кирпичу.
И суть ее разрушена по гону.
Не сотворяй последнюю измену —
Не ставь заупокойную свечу.

* * *

**«Не ставь заупокойную свечу, –
Себе как заклинание шепчу. –
Печальнее исхода не накаркай!»**

А Дыба-Власть еще не улеглась,
В присутственных местах под новой маркой
Она сидит в обнимку с отоваркой –
Не прячет рук, не опускает глаз.

Сама собою против естества:
Надежде – от жилетки рукава,
И поперек течения – запруда.

Куда ни кинь – повсюду западня.
«Покуда, – говорю себе, – покуда!»
Заждавшаяся завтрашнего дня
Живая жизнь выходит из-под спуда.

* * *

Живая жизнь выходит из-под спуда.

(Неловко от известной похвалы!)

Но подается битая посуда

На плохо отскобленные столы.

Ничем не брезгать – это от природы.

И фанфарон, а фараона вроде,

И таковым останется почив.

А между прочим, тока нет в розетках,

И подошли к концу запасы предков –

Теперь радеть товарищам о чьих?

Идет дорога в сумерках, как прежде.

(По бубенцу на шапку дурачью!)

Надежда у окна смежает вежды...

Терпение уже не по плечу.

* * *

Терпение уже не по плечу.
Рядить дано кнуту и калачу,
А разговоров, Боже, выше крыши...

Пусть значится заслугой Октября,
Что из раба он сделал дикаря –
Она ничуть других заслуг не тише.

Но он пещеру с именем твоим
Соединил в чужих умах, Россия!
Его в годах сокрыли грим и дым,
А мы стоим под взглядами босые.

Мы съели с властью соли больше пуда,
Но пониманья не было и нет.
Не для здоровой психики предмет...
За нами боль и кровь – довольно блуда.

* * *

За нами боль и кровь – довольно блуда!
Остановить часы и речь пресечь:
Пустых посулов, клятв – на груди груди.

Не позволяй внимание отвлечь:
За годом год лишенный смысла опыт
Все топит человеками, все топит
Свою в одну шестую света печь.

Все смертью не насытится режим –
Все туже пояс, все покорней выя.
И нет у мертвых зависти к живым,
И мертвым не завидуют живые.

В эфир зазвездный трубы дымовые
Уже выносят жизнь твою ничью...
Когда мы скрутим руки сволочью?

* * *

Когда мы скрутим руки сволочью,
Насобираем света по лучу.

Пусть осветит он долгую темницу,
Чтобы, окончив сабельный поход,
Мы разглядеть свои сумели лица.

Поговорим, покурим у ворот –
Простор случайно выжившим калекам!
Потом где по углам, где по сусекам
Насобираем, может быть, народ.

И Божию Милостью устроясь,
Соседу не заглядывая в рот,
Напразднуемся маслениц и троиц...

А там опять мессия, голь и мгла?
Ты никогда себя не берегла.

* * *

Ты никогда себя не берегла.
Из-за колючей проволоки зоны
Качнет Иван Великий перезвоны –
Заговорят в ответ колокола.

Не может вечно длиться этот бег –
От нищих деревень к столицам нищим.
Под русским небом брошенным кладбищем
Из края в край лежит двадцатый век.

Сюда не сыдет чудо ниоткуда...
Не ставь заупокойную свечу –
Живая жизнь выходит из-под спуда.

Терпение уже не по плечу.
За нами боль и кровь – довольно блуда.
Когда мы скрутим руки сволочью?

1992



Палиндромы и фразы

* * *

С-собака босс

Но не сапом опасен он

Не зело полезен –
И туп в пути

Лидер вредил –
Менять тянем

Я следом оделся

Надо меч в чемодан

Ищет у тещи

Не шарь, рашен

И прет толпа на плот, терпи

Топор вмечем в ропот

Ну прагматик – китам гарпун

Течем в мечеть –
И делим миледи

Тепел ее лепет

Я лорд, дроля!
Ценю, юнец!

Удачи чаду!
Утоп в поту
Я слазил и лизался
А Рита сама сатира
Изредка так дерзи
Уходил ли доху?
Колет око котелок

Лапоть топал:
И ртом смотри!

Лезу в узел
Иованна решила: укину тунику Алишера Навои
Лев игру пурги вел
Укуси суку
Лазер недра Арденн резал
Скелет латал телекс
Авеню Нева
Аква лавка
Ямал – пламя

И городу дорог огород у дороги
Коттедж ждет ток

– Осело колесо?
– Осело. Кончено, конечно, колесо.

* * *

Мелочи жизни — палки в колеса.

На табуретки табу редки.

Всех тараканов врасплох не застанешь.

Прессдаватели Центра.

Из всех опор опора та,
Которая на что-то оперта.

С миру по Шнитке!



**ЭССЕ.
ВОСПОМИНАНИЯ**

Я – база!

У нее вязкий, призывный голос. Со счастливой готовностью отзывается она на вызовы раций днем и ночью, в любой час. Она в кровном родстве с людьми, пришедшими в ее древний мир. Старыми сообществами снимались они с насиженных мест, старыми бригадами приезжали к ней, и – многие, разные, – казались ей одним Большим Человеком, потому как мысли у них были одинаковые и дела.

Зная закон: «Не ходи в тайгу в одиночку!» – они уходили группами во все стороны ее земли: на юг и на север, на восток и на запад.

– Я – база! Я – база! – отзывалась она днем и ночью на вызовы раций.

Далекие, запропавшие, они держались за тонкую ниточку связи с нею.

Когда-то ее земля была морским дном – потому пески да пески, на которых сосны, болота, реки. Болот много – сплошная топь, рек-озер много – сплошная вода. Большая. Ее родичи путь измеряли «песками»: от «песка» до «песка» – пятнадцать километров. Три «песка» – сорок пять. Сколько п е с к о в во все стороны? Ее земля велика – пусть широко шагается Большому Человеку.

Она будто Золотая Баба – высока и дородна. В ней всепонимание и всепрощение. Золотая Баба, не прячущаяся от людей, но идущая к ним: шаманы вывелись, ее утаивать некому.

Ее небо обжито вертолетами. Школьными птеродактилями несуразны, метут они посадочную площадку базы взвихренным воздухом, откромсывают разлапыми винтами строительные блоки синевы, и она радуется: в ее стране города будут построены из голубого камня, который воздух.

Ее любовь – летчики.

Саша сходил с небес, приходил к ней – и в ее комнатенке пахло синим.

* * *

Все так далеко, и все так рядом.

– Я – база! Я – база!

В наушниках только треск – грозовые разряды, звуковые молнии.

Неделя дождей длинна, как дороги рыб.

У самого ее начала рыжий Мишка, бригадир окаянный, стучал кулаком по столу начальника, напрашивался на Варьеган – и напросился. Варьеган – Большая Обь, ее протоки. Гиблое место.

Мишка ушел – и полторы недели от него ни звука: или рацию утопили, или сами...

«Да миленькие вы мои, – думала она о вертолетчиках, – когда же вы их найдете?!» – и много курила.

Столько суток без сна – близко к краешку глаза не подпускала. Эфир молчал. Место гиблое.

Дождь и дождь без перерыва. Столбы воды подпирают небо, крупные мурашки бегут по коже реки, понуро горбятся вертолеты, опустив винты. Никто никого не ищет, никого не хватается. Все потеряны в мокром мире.

Пустые дни.

Она – как когда-то мама – делает зарубки на палочке: пустые дни все равно жизнь, им без следа нельзя. Вздумалось Ляльке вернуться к маме, в их домик. Сестра, а другая. Быть радисткой ей показалось в тягость. Ушла. А надолго ли к маме?! Не усидит – другим воздухом надышалась. Лялька ушла. А она осталась.

Идут и идут в эфир ее позывные. Но в наушниках только треск.

Ей становится страшно: как бы не пришлось идти зимой на Варьеган, раскладывать костер, просить богов земли и неба принять души Мишкиной группы в верхние стойбища манси. Длинный-длинный потянется за нею след, широкий: лыжи-то мехом обиты... Нет, лучше прилететь туда вертолетом.

– Я – ноль семнадцатый!

Она еще не сошла с лыж, но перестала двигаться: в наушниках возник голос. Или ей почудилось?!

Она растерялась, но опомнилась тут же: «Ноль семнадцатый? Из Стрежевого?!» А сердце ворохнулось и обомлело: «Нашли!».

– Я – база! Я – база! – счастливо сорвался голос. – Где они, ласточка?!

(Над ее «ласточкой» потом смеялись. Она понимала: счастливые смеялись).

Голос знакомый. Летчик с чудной фамилией Остроушко. Он иногда прилетал к ним, синеглазый и белокурый, улучив минутку, самоуверенный, приставал к ней. А по глазам было видно: ничего от нее ему не надо. Жизни в глазах не было. Держал марку.

– Ой, люшеньки-люши! – бежала она к начальнику партии. И волосы ее развевались по ветру. – Небо доброе, вода добрая, лес добрый!

«Никакой он не мертвый, – думала. – Мертвые живых не спасают».

Остроушко Саша!

А остальные все – неудачники.

* * *

«Это, наверное, красиво, – думала она, – когда на подушке белые и черные волосы перепутаны. А Саша, будто мальчик, маленький мальчик. Холодный, – и одергивала себя: – Глупая я,

однако; снова что мертвый». Натягивала одеяло до подбородка, закрывала глаза.

И видела мамин домик. Во дворе сосна и береза над Обью. Береза выше, сильнее, будто подает руку сосне, будто хочет привести ее над берегом. Береза – Саша, она – сосна. Белое и черное.

Вместе со всеми она ждала вчера, когда отработают винты и опустится лесенка. Он вышел первым. Все побежали. Но она – к нему, остальные – к нашедшимся. Она только взглянула, что все – пятеро. И протянула ему неловкий букетик. Саша улыбнулся и положил ей на плечо руку.

– Знай наших, женщина! – все понял.

(Ей было восемнадцать. Над нею посмеивались – женщина!).

Смущаясь, она шла рядом. Спасший человека – под покровительством Золотой Бабы. Ему приносят подарки и стоят в стороне.

Стоять в стороне она не могла, шла рядом. И подсматривала, как он несет букетик. Он нес его правильно. «Значит, я ему нравлюсь!».

Саша потянулся и сонно поцеловал ее.

«Небо – отец наш, – думала она, – а Саша – его сын. Он пришел с неба. Отец дал ему силу, ум, смелость. Ничто в тайге не остановит его. У него с собою ружье и топор. Волк не уйдет от него, медведь испугается. Длинными оленьими жилами я шью ему кисы. Длинными, чтобы путь его по земле был долгим...».

Саша улетал через час, потому отодвинул стакан с огненной водою. Она смотрела на его белое лицо, на маленькие руки с розовыми, будто покрашенными ногтями, и тело ее наливалось памятью его ночных ласк. Он зря отодвинул стакан – огненная вода дает свет сердцу, которое увидит, как его любит другое сердце.

– У тебя, наверное, много женщин? – не поняла, как и зачем спросила. Прикусила язык, да поздно.

– По всей трассе, – ответил Саша. Не задумываясь, не ища слов.

«Кто тебе поверит, ласточка?» – улыбнулась про себя и прильнула к нему. Одетый, в плаще и фуражке, он отстранялся, не давал целовать себя. Она обхватывала его шею, ловила губами глаза, брови, рот. Недовольный, он сел на лавку, складки подбородка легли на воротник плаща. «Неживые, – похолодела она. – Неживые».

– Ты жди, я буду прилетать.

Она осталась одна.

* * *

Рассыпающимися клубками кочуют с места на место северные собаки, но все рядом с человеческим жильем. И друга признают в тебе, и приятеля, пищу возьмут из рук, погладить себя дадут, но уйти не уйдут из стаи, кочевники. Своим среди своих уверенней и спокойней.

Она купила своего Волчка у покосившегося балка – бросила на крыльцо монетку. Живой комочек, но все же живая душа рядом. Щенок лежал в ногах, когда она писала письма – маме или Саше, и ей было хорошо, будто не в комнатенке жила, а в доме.

Потомок всех собачьих пород Севера Волчок лопал все, что ни дадут, был весел, рос на глазах.

А Саши не было. Только письма.

Сашино сердце билось в них, как птица о клетку. «Я напишу тебе хорошее большое письмо, когда выйду из плена. Кроме плена неба, есть плен земли – и пути его тяжелые. У неба плен легкий. Я напишу большое письмо и спрошу тебя, женщина: ты земля или небо?».

Она понимала: давняя любовь. И письма его – о ней.

О своей любви ей говорить не надо. О ней наедине с собой она будет говорить ему. У нее много слов и много времени. У

Саши о любви говорят не так, по-другому. Она своими словами говорить будет. Себе – Саше. Не потому, что он сошел с небес, потому что он ее мужчина.

Сашино небо – другая женщина. А она – его земная пристань, точка касания.

Саша бывал, но его не было.

– Я – ноль семнадцатый!

Она бежала к его неуклюжему птеродактилю, зависающему над площадкой, туда-сюда поводящему железным хвостом, радостно махала букетиком: ее цветы то же, что живая вода в русских сказках, – возвращают к жизни. Возвращали к жизни сердце Саши, и оно принадлежало ей.

Здесь она запинаясь. Когда-то он катал ее на своем вертолете, совсем стареньком – пол ржа съела. Железная решетка под ногами. Страшнее страшного – будто висишь над бездной. Потом было страшно заглядывать в душу Саши: вдруг там, как под ногами в его вертолете, – пустая бездна.

* * *

В аэропорту Тюмени березы и сосны за изгородью. Струи белого солнца и струи мрака – березы и сосны. Словно жизнь, полосат аэропорт.

Она никогда не бывала здесь, но знакомым кажется все. Наверное, из книжек о городах. Но и не только. Те же кисточки на людях, меховые шапки. Малицы не носят, но и она в городском пальто.

Люди, может быть, всюду одинаковы. Зря она не решается видеть Сашу своими глазами. Зрячими.

В городе теплее – это да.

В подарочном магазине Саша купил ей авторучку с подсветкой: пусть она пишет ему письма днем и ночью, даже когда барахлит электростанция. Пишет – и вспоминает о путешествии.

Музыканты в красных рубахах дули в трубы, блестящие, как рыба чешуя, били в барабаны, похожие на бубны. Но куда как красивее. Свет на стенах и потолках ресторана переливался северным сиянием.

Она весь вечер не поднялась из-за стола: не взяла с собой туфли, сидела в кисах, когда-то расшитых бисером мамой. Саша танцевал с разными женщинами, но чаще с одной, гордой, с белыми волосами. Золото в ушах и на голой шее. И на голых руках золото. Гордая да, видать, легкая. «У неба плен легкий?» Просто так пришло в голову. Веселый Саша возвращался к столу, тоже беловолосый, наполнял рюмки. В зеленом платье, с янтарными бусами, она чувствовала себя уютно в ресторанном шуме и гаме. Но как-то само собою сказалось:

– Я не боюсь, что между нами обман, обманутой я себя не чувствую.

Он посмотрел на нее, отстранил рюмку:

– Мы в чем можем обманывать друг друга?

Она хотела сказать ему о вертолете, в котором под ногами бездна, но раздумала. Саша уходил танцевать, она подпирала голову рукой, закрывала глаза. «Песня моя, стань жизнью воды и деревьев, жизнью матери земли и людского сердца. Пусть мой костер будет виден далеко, далеко». Капельку было жаль, что никто не видит, какая она счастливая женщина. Зато все видят, как красив ее Саша, как красивы его прямые ноги и золотые полосы на плечах.

Из ресторана Саша взял в номер вино в высоких бутылках. Кислое, оно сильно пьянило. Желтые искорки поднимались со дна стакана и гасли на поверхности. Оно стреляло в нос, пить его было неприятно.

– У неба плен легкий, – хохотала она. – Легкий...

И тянулась к нему целоваться.

Он схватил одеяло, убежал в другую комнату, закутался с головой на диване.

Утром на столе лежал ее обратный билет.
Саши не было.

* * *

«Хуже нет, когда человек теряет дом – потом он и себя растеривает потихоньку». Большая женщина, молодая, тяжелая от любви, сжигала письма. И плакать было некстати, и жаль было всего. В черных, незряче остановленных глазах отражалась языческая пляска огня.

Саша говорил, что женщин у него – по всей трассе. И еще говорил, что она самая-самая... Или с рождения он заморожен, на душу худ, или глуп. И никаких женщин у него нет, как нет Золотой Бабы – просто баба.

Лес постучал ей ветками в окно, и она вышла к лесу.

Слепительно белые березы, даже сине-белые, как снега.

Земля еще мало оттаяла, неглубоко отогрета. Но там, где солнце бывает подолгу, махонькие, мохнатые, в сизом трогательном пуху подснежники. Их немного, на нежных лапках. А она нападала на них. Не рвала – нападала. Им вовсе незачем было быть ее цветами, принадлежать ей.

Это вовсе и не подснежники – прострелы. Они простреливают снега.

Она вносила в дом цветы, осинового ветки и вербу. Хоть и не воскресенье, и не вербное. У порога ей встретила Наташа – тоже мансийская земля. Только маленькая. И некрасивая. Дочка соседей. Цветы ей понравились, весь букет. Но больше подснежники.

Женщина велела ей взять, сколько она хочет, подснежников.

Наташа улыбнулась и стала красивая. Женщина пожалела, что никто больше не видит, какая Наташа красивая.

Они вошли в комнату.

Наташа остановила взгляд на Саше в берестяной раме, сказала, что дядя хороший.

– Но он не чувствует того, что я каждую минуту, с утра до вечера думаю о нем, – ответила женщина. – Ничего хорошего в этом думании нет. Ночью только бы уснуть сразу, а то потом со сном ничего не получится.

Наташа смотрела в глаза Золотой Бабы – она ей нравилась. Только была непонятной: Наташе всего пять лет. Ей стало грустно – и она ушла.

А женщина подумала: вот улетит – и всем станет спокойно. Но кому всем? Только ей. Только ей все равно грустно без ее взрослого мальчика. Обыщи весь свет, кроме него, его не сыскать. Она уже забывать его стала. Однако не его, а такого его, когда он весь. И не забывать – задумывать. Он жил так, будто прятался – себя в себе прятал.

В его руках совсем не было силы. Нет, сила была, но неприятная для таких маленьких рук.

А о доме – это сестра написала, Лялька. Вернее, не сестра, а маме сестра, а ей – мама. Лялька написала, что не может жить в ее доме. А мама – как домик.

Она перевероришила кочергой остывший пепел и подумала о Саше: «Как-то ему, бездомному?»

* * *

Она собиралась улететь на трассу газопровода, тянуть нитку. На сто лет собиралась. Опять хотела лететь. Опять летчики...

Хотела улететь, потому что стала засыпать под аппаратурой. Сон целый день почти. Доискивалась причины, пока не поняла – будет матерью.

И перестала курить.

Пустое небо. Вертолеты садятся и улетают. А Саши нет – небо пустое.

Под пустым небом она не могла жить – и улетаала. Хотела улететь.

А в комнатенке ее пахло синим. Всякие воспоминания бродили – Сашей. Потом исчезали.

Ветры дули теплые, грустные. Снег уходил в березовые рощи. Там лежали длинные тени.

Она говорила себе: минует и эта белая печаль снегов среди весны, придет на причал ее жизни Саша или во сне придет.

Ей все же было лучше хотя бы думать о нем.

Она проснулась – и жила одними глазами. Тихо-тихо. А мальчик мучил немножко, толкал. Но она не ощущала его. Вообще, он был похож на воду. Как существо – неосятимо. Как всплескивающая вода – да. Хотя ему – шестой.

Ей надо было не нитку лететь тянуть, а в дом мамы, в их с мамой дом. В нем должно быть хорошо душе. Без родного дома душа – скиталец.

Все холода и холода... Только чуть различимо пахнет осиной. «Приезжай, друг Саша, летом. Напрасно ты упрямисься и дичишься. Горше, чем есть, не будет», – звала она своего небожителя.

Сколько ни обманывайся, себя не обманешь.

Столько худых предзнаменований в этом году. Самое первое и страшное – смерть Волчка. Не успела прилететь из Тюмени, наиграться-натешиться, он за ворота, на трассу, а там – мотоцикл.

Она улетала. От себя улетала. А, наверное, от Сашеньки. И думала: хорошо, что он – летчик. У него нелады с землей. Коснется ее – и опять небо.

Улетала. Внизу земля странная, будто меж облаков чернота. А это лес и снег: самолеты-то низкие здесь. Весь путь в огнях: где-нибудь да живет живой человек. Огни через равные промежутки. Будто пески отмечены. Будто...

Она летит будто на край света.

Саша говорил ей: камень. О себе говорил. Но это уже было. «Кто возьмет этот камень и снесет в гору...» Так-таки никто не понес. Ясно было: из этого ничего не получится. А она пока несла своего летчика... Она пока любила его. И идти ей было легко. И еще: она не в гору шла, а шла по полю. На траве роса, как спелая икра. И такое красное солнце...

В полупопутном ее городе – молодые дома. Сосны всюду оставлены – и сквозящие и густые. Здесь она случайно познакомилась с Сашиным братом: Сашины руки распростерты надо всей ее жизнью. Они похожи, хоть один летчик, другой – прокурор. Он моложе и веселее. Оттого, должно быть, что молодой. Но у него такое недоброе узкое кольцо на правой руке.

Ей было и больно и сладко смотреть на Сашеньку второго, пусть и не совсем похожего. Он сильный, и любить его, наверное, страшно. Но и не жалко: такой большой и сильный.

Вот и все, что она увидела в этом городе. Внутри себя собралась и никак не могла выйти посмотреть на мир Божий.

Ей не надо приобретать, не надо иметь – она так трудно отдает.

А мальчонка беспокойный все крутится, толкал, по ночам будил. Долго-долго копошился, не мог улечься.

* * *

Рано, в половине пятого, начался день. Он, как берестяной свиток, светел изнутри, снаружи рыж на закате.

По оранжевой и алой воде на синем катере прибыли они в гидропорт Салехарда.

Самолет легко и небольно оторвал ее от Полярного круга – и понес, понес. А земля – все узорные мхи да смуглая вода, тонкая у берегов.

Дул сильный ветер, уж такой сильный! Чуть не переворачивало.

Велели сесть к кабине.

У летчика справа – большие руки. В прекрасных венах. Не то что у Саши.

Она подумала: «Ах, если бы меня удерживали такие! Да я сама бы пошла в них. И это было бы прекрасно. Хотя в этом больше боли, чем красоты».

Она разговаривала с мальчиком, этим летчиком, с уха на ухо. Он умница и, наверное, добрый человек. Потому что юный. Солнце было так близко – сразу за стеклянным куполом. Ей захотелось поцеловать руки солнца – она их поцеловала. Потом подумала: не солнцу, а летчику бы надо, но раздумала.

– А ты надолго сюда? – спросил небожитель, когда сели.

– Навсегда!

Ответить-то она ответила, но подумала, что от Сашеньки-то ей куда не убежать, не улететь, не уехать.

Ей дали комнатенку в балке: в окне – песчаные гривы да темный лес.

Она уже на трассе. Пусть Сашенька найдет ее на карте. Лето, как заморская птица, склевывало за звездой звезду. К дождю ли это, просто ли утро? Ей хотелось положить голову на колени земли.

– Сашенька, хороший день начинается, однако. Я целую каждую складку на твоём лице, руки твои немужские, каждую полоску на твоих погонах.

Завтра – работа. Завтра она капельку начнет прикасаться к газопроводу. И делать его. Чуточку.

Только она думала не о себе, потому что мальчик был похож на воду.

И, может быть, никакой работы не будет. Может, ей лучше вообще уехать к маме. Хотя мама и ее дом – на потом. На крайний случай.

Она скажет Саше:

– Все же ты будь сильнее и нежнее будь. И, пожалуйста, найди меня. Правда!

Она лежала в больнице. С Урала дул ветер. Она зарывалась лицом в подушку и видела одним глазом только лес с тяжелой, готовой опасть листвою. Лес был похож на Текутьевское кладбище в Тюмени.

Она все ждала его. Невероятного ждала – его прилета. «Если человеку думается, что все: лес, воздух, небо – будет существовать, жить, быть, только если их увидит другой человек, – это нормально, это не упомощение?»

Раскрывала окно, глядела в неприятный мир и думала: «Глуп ты был, говоря, что я тебя когда-нибудь возненавижу. Ты со мной становился меньше. И мне неудобно, неловко было принять хоть малую малость твоего покровительства. Потому что я большая, а ты будто мальчик. Так уж получилось. Наши неурядицы я принимаю как приложения к ценным вещам в подарочных магазинах. Я счастлива, что люблю тебя. А ты вон какой умница! Даже позволяешь мне любить тебя... Захлопывается клетка. Птичья душа хочет петь. Но любить и петь она может только в неволе. Моя – птичья. Я не могу с тобою расстаться, я еще хочу побыть с тобою чуточку. Когда мы встретимся, ты разрешишь мне поцеловать тебя?!»

Во дворе и на песчаных гривах собаки – не стаями, сообществами. Вспоминала своего Волчка, и ей становилось спокойнее. Печально, но – да. Это вовсе не то, когда люди рядом, но будто нет их.

Она закрывала створки, отходила от окна.

В больничном саду – ива да лиственница. Не лиственница – беспомощные лилово-голубые колокольчики величиной с ноготок на мизинце Саши.

Погода лётная. Но вертолеты не привозят ей ни строчки.

За год она повзрослела, набралась ума-разума. Только сердцу все не находилось места.

* * *

У ее здешних ночей белые нежные тела, руки белые.

Песчаные колеи улиц – как волосы после мытья.

Саша перестал ей сниться. И слава Богу. У него холодные зимние глаза, и он спит, как глухарь под снегом.

Она нынче всласть нагляделась, нарвала князь-ягоды, княженики. И рыбалки были замечательные. Черные окуни, белый туман ночью. И белые сны на белом ягеле.

Если Бог создал эту землю, ничего лучшего ему не удалось, чем этот уголок земного шара.

Ночью летел снег навстречу прожекторам.

А кругом – глушь и тишь. Хоть их на трассе уже, наверное, около трехсот. И самый маленький из них – ее Иванка. И поселок их – Белоярский. Она так и не улетела к маме, потому что мальчик был похож на воду, а нарушать покой воды – худое дело.

Она работала в столовой, мыла посуду. И было это не столько неприятно, как раньше казалось. Поклонение великое было ей.

Через полчаса-час прибегала к Иванке, белоголовому, с черными мансийскими глазами. Наполнялась счастьем, глядя на беспорядочные движения рук и ног радостного ее малышки, на улыбающийся беззубый рот, и думала: «Нет, Лялечка, не надо ко мне прилетать, я сама управляюсь со всем. Тебе тоже надо подумать о ребенке. Или в городе с ним сложнее?..»

Как ни печально, она все еще его любила. Разговаривала по ночам:

– Господи, как я люблю тебя, ласточка! Все это правда. И хочу только поцеловать тебя. Не морщись, пожалуйста, ничего я тебе не сделаю. Просто мне жаль, что столько здесь красоты зазря пропадает. Кто ее оценит? Кому она нужна? Тебе...

Сны-снами, разговоры-разговорами. А мысли – никуда не годные.

Дикий северный олень с весной уходит к океану. Гнуса меньше. Ветер, ягель, белые ночи.

Напротив маминого дома Иртыш припадает к Оби. Припал – пропал. И за домиком уже не зовется Иртышом.

«Ах ты, Саша, – думает, засыпая. – Не ходите, мужчины, с женщиной к океану...»

«...я привезу тебе кедровую ветку и олени рога, на которых в тундре спит солнце. В Гыде. На краю моей любви...»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Лирико-документальное повествование

I

Я – студент первого курса Омского медицинского института. В клубе маленькой деревушки Волчино, где разместили нас, присланных на уборочную, в моих руках оказалась старая книга: серая ломкая бумага, ни первых, ни последних страниц – сборник документов революции и гражданской войны...

5 января 1918 года Краевой Совет продовольственно-экономического комитета Западной Сибири и Урала обращается к Совету Народных Комиссаров России:

ТОВАРИЩИ!

Посылаем Вам маршрутный поезд с хлебом. Просим этим же поездом отправить нам в Омск, кроме обещанных Вами мануфактуры и металлических изделий, денежных знаков в возможно большем количестве... В ожидании отправки более тысячи вагонов стоят на Омской дороге. Администрация дороги ссылается на то, что служащие дороги не принимают от Омска вагоны... Просим Вас назначить чрезвычайную комиссию для расследования этого загадочного явления...

Воздух и дыхание тех лет.

В указателе имен – русские, немцы, румыны, венгры, евреи...

Буй Алексей Семенович – омский комиссар водного транспорта, погиб в бою с чехословаками 14 июля 1918 года около пристани Ярково...

Лобков Залман Иудович – руководитель омских большевиков в 1917 – 1918 гг., участник боев с чехословаками под Марьяновкой...

Усиевич Григорий Александрович – старый партийный работник, участвовал в боях с белочехами, был одним из главных организаторов обороны Тюмени. Погиб в бою с белоказаками 9 августа 1918 года...

Лигетти Карл Карлович – венгерский революционер-коммунист, в 1917 году стал членом омской большевистской организации... Поэт.

Имена некоторых из них мне были известны. Но Карл Карлович Лигетти!

За годы, прошедшие с тех пор, я узнал о нем многое, если не все. Узнал от омичей – красного мадьяра Вилмоша Горски, моего приятеля студента Юрия Ковача, архивиста Николая Колмогорова, от будапештца Лайоша Тербэ, из сборника стихотворений самого Лигети, изданного в 1957 году в Будапеште.

Он родился 8 декабря 1890 года в маленьком городке Кишкёрёш, в том самом, где за шестьдесят семь лет до него появился на свет великий венгерский поэт Шандор Петёфи, чья судьба и характер повторились в судьбе и характере Лигети – так правильно пишется и произносится с ударением на первом слоге его фамилия, а также имя: он Карой Шандор Лигети. Карой в честь отца, Шандор – в честь Петёфи. А Карл Карлович – так, видимо, было приемлемей для русского языка и уха его иностранное имя. Родовые фамилии у Петёфи и Лигети – славянские: Петрович и Луць.

Следы двадцатилетнего Петёфи потеряны в августе 1849 года после боя повстанцев с войсками Франца Иосифа и Николая Первого в Шегешварской долине. Среди погибших его не оказалось, стали думать – он пленен русскими и увезен в Россию.

16 февраля 1986 года газета «Советская Россия» высказала предположение, что Петёфи последние годы жизни провел в Бурятии, в Баргузине, где и похоронен. Созданная в Венгрии комиссия, наряду со сбором документальных материалов, приняла вместе с россиянами решение об эксгумации. В Бурятии она произвела вскрытие нескольких захоронений, в одном из них обнаружила скелет высокого человека. Антропологи пришли к выводу, что это могила Михаила Кюхельбекера. После другого вскрытия невдалеке от этой могилы комиссия обнаружила останки, признанные останками Шандора Петёфи.

В Омске Лигети слышал о могиле какого-то венгерского поэта на Казачьем кладбище, однако времени побывать там у него не находилось. Между тем, я в середине 50-х прошлого столетия читал здесь на беломраморном памятнике четкие слова:

**Александр Петрович
венгерский поэт**

II

В июне 1910 года Лигети получил аттестат зрелости в Надьбечкерекской высшей коммерческой школе и, переехав в Будапешт, стал служащим авторемонтного завода. Вскоре сюда переехало все его семейство: отец – кузнец, мать – прачка, четверо младших братьев и сестер. Он жил в мире и миром обездоленных, их заботами и надеждами. Если ему приходилось выступать перед аудиторией, он говорил от имени людей, среди которых жил.

«В нем полыхал стихийный бунт, – вспоминал его племянник Лайош Тербэ, – страстнее его никто не желал обновления старого мира».

Я вольно перевел сохранившееся в рукописи его стихотворение, написанное карандашом летом 1908 года.

Я буду бурей. Скалы скулами
Уткнутся грузно в шар земной.
Моря с китами и акулами
На берег выбросятся свой.
И разобьются в брызги синие.
А из придонной темноты
Под солнце гордыми вершинами
Взметнутся новые хребты.

Мир обездоленных одинаков всюду: нищета, голод, пьянство и проституция. Поэт сострадателен и отважен. «Я – борьба неблаго-словенная, я – борьба, не имеющая знамени. Но дрожат дома богат-чей и поет душа оборванцев, если над ними витает моя душа...». Стремительный, сиюминутный, он влюбляется в уличную краса-вицу Ирмуш, приводит ее в дом, знакомит с родителями, уговари-вает стать женой, но Ирмуш возвращается на панель.

В главе из моей поэмы «Огненные колокола» – отголосок мыслей и чувств Лигети того времени.

Будапешт

Полночь гонит поземку по голым булыжникам.
Фонарями расшатана стылая тьма.
К очагам человеческим подступы ближние
Занимает широким охватом зима.
Город утром проснется и сложит оружие,
И условий не выторгует наперед:
Через сутки-другие предательским кружевом
Иней в нищих квартирах простенки пробыёт.
Разошлась-расходилась метель – и не сдерживай!
Старой ведьмы в ворота колотит клюка.
Так старается ночь, чтобы в душах отверженных
Не осталось для радости ни уголка.
Город просит пощады. Столетними башнями
Город в мутное небо безмолвно воздет.

Сколько к горю сегодняшнему и вчерашнему
С этой ночью прибавится завтрашних бед?!
Не понять, не услышать Всевышнему – где уж там!
И молитвами вымолить счастье не тщишь.
Вот и этим, на улицах зябнущим девушкам
Зарабатывать станет труднее на жизнь...

Если правда когда-то была, то воскреснет ли?!
Не сносить головы тебе – и поделом.
Мир давно поделен между Богом и кесарем,
Между Богом и кесарем мир поделен.
И готов задохнуться от ярости Лигети.
В зыбком свете не щеки, а два желвака.
Ни к какому-то счастьем дорогу не выгатить,
Не подняв сокрушающего кулака...

С шестнадцати лет он выписывает газету социалистической партии «Непсава» («Голос народа») и сотрудничает с нею. Сфотографированный вместе с многочисленной родней около 1908 года, он держит газету так, чтобы было видно ее название.

Начало XX века в Европе – годы затишья перед бурей. Человек беспокойного, нетерпеливого характера, Лигети острее других чувствует время надвигающихся катастроф. Особенно в родном Кишкёрёше. Его мысли и чувства в моём студенческом воображении представлялись такими:

Гуще крови людской закаты
И рассветы алей её.
Вот-вот с неба наклонно скатит
Отощавшее вороньё.
Рвется в улицы запах полыни
И ковыльный цвет у луны.
Нагнала вплотную равнина
К пряслам города табуны.
Стынет сабельным скосом глаза,
Скакунов срывает в галоп.
Мир не знает, как много Азий

Посреди Центральных Европ.
Напряжение ждет исхода.
И становится всё ясней:
Час пробьёт – и сама свобода
Под седло запросит коней.

III

В двадцать лет он впервые надел военную форму – обязательный год службы в австро-венгерской армии после окончания среднего учебного заведения. Через четыре года – мировая война. Он во второй раз надевает ее: в августе 1914-го, призван, в декабре – сербский плен, одиннадцатимесячный. После возвращения на родину, в середине апреля 1916-го, – русский фронт. Он поручик тридцатого гонведского полка, отправляемого в Галицию. Им уже кое-что познано, он пишет:

Не очень голову высовывай
На той стороне, приятель.
С винтовкой шулки невесёлые –
За всё она смертью платит.
Ей всё равно, в чьём доме матери
Закроет глаза усталость
И чей отец над пьяной скатертью
Погубит седую старость.
Ей всё равно, чьи братья с сёстрами
По сёлам пойдут с сумою
И над горбушкою обсосанной
Давиться начнут слюною.
Чья на панель пойдет любимая...
Но праведных их проклятий
С лихвою хватит всем по имени –
И правым, и виноватым.
Не очень голову высовывай
На той стороне, приятель.
С винтовкой шулки невеселые...
Мне гнева и слёз не спрятать.

Серый офицерский мундир. Серое кепи. На ногу заложенная нога. В откинутой руке сигарета. Белый манжет сорочки из-под обшлага кителя. Прямые черные глаза, прямые черные брови на аскетическом лице. Тонкие черные усы. На фотографии – спокойного достоинства человек, уверенный в правильности избранного пути. Отправляясь на русский фронт, Лигети оставил у матери несколько исписанных в сербском плену тетрадей, в них покоя нет и в помине. «Ах, вот отсюда, в грозовую опасность, в шторм, в другой край, в среду других народов, где произвол не связал разума и горячие пламена разжигают бурю...». Рядом с прозаическими строками – стихи:

О душа моя, превращенная гнетом
В поющий славу покорности орган,
Я все равно ведь взорвусь!..

Он готов к этому взрыву, он живет им:

Я буду белым, как поле снега,
Более жарким, чем краденый небесный огонь.
Передо мной, улетающим в небеса
Открытой дорогой,
Явится огромный мир,
И я увижу свою Голгофу....

Он рано начал свой путь к ней, знал, что рано ее увидит, и то знал, что никогда не свернет со своего пути.

Моя душа будет ясной,
Как голубая весна вечером,
Когда я пойду к кончине,
Как девушка к своему любовнику...

Его тетради – бегло читаемая книга откровений молодого человека, переполненного чувствами своего бунтующего века:

Большим боям мы бросим наши души!
Мы идем напряженною силой
С солнцем, красно поднимающимся...

Его энергия накапливалась в моем сердце, я говорил от его имени:

Мои стихи – моё предбурье.
Мой век у той черты, когда
Тяжеловесно брови хмурят
Насупленные города.
Мой век – последняя прямая.
Ему простор, а не закут.
Колоколами над Дунаем
Удары молота плывут.

Летом 1913 года в тетради появляются пронзительные строки: «Куют меня испытания, только бы не расплющили... Неволья всегда мучительна, кто мне покажет довольного раба? Открой душу любого на миг – и увидишь величайшие башни ненависти раба, в которых полыхает огонь сдавленной лавы и глухо бьют призывающие к возмездию огненные колокола. Худо будет тебе, кующий цепи мир, когда рванут вопиющие башни душ! Но нужно подготовить путь лавы, чтобы она не остановилась в плодородных долинах или не снесла все на своем пути, чтобы водворившийся новый порядок не стал властителем мертвых пустынь... Такие разумы оставили нам в наследство самые кровавые дни прошлых революций, и ныне число их увеличилось в тысячу раз, – разве нет шансов на такую революцию, где сотни, тысячи, миллионы людей будут пережжены кровавыми снами души одного Робеспьера?»

В его тетрадях почти нет строк о любви. Может быть, только эти, но и они, скорее, воспоминание о покинувшей его Ирмуш.

Маленькой девушке из Будапешта

Ночью меня ты не слышишь,
В зеркало, глядя, малышка?
Каждую ночь перед боем
Я повторяю с тоскою
Имя твоё неслышно.

Сколько под пули мальчишек
Ты проводила, малышка?
Тёмного зеркала бойся:
В нём нас, голодных и босых,
Призраки бродят неслышно.

IV

«...1 апреля 1916 года. Утром происходило братание между русскими и нашими солдатами. На фронте тишина. И наши солдаты, и русские выбрались из своих укрытий, копошатся возле позиций. Около 11 часов утра видим, что с русских позиций приближаются к нам два безоружных солдата, размахивая большим белым флагом...»

Я читаю эти воспоминания венгерского офицера Арато и вижу наяву:

В мережи туманов валких
Тетеревиный ток.
Заторы сирени в балках,
Черемуховый холодок.
И следуя доле лучшей –
Весеннему естеству –
На проволоке колючки,
Как почки, гонят листву,

На фронте от края до края –
И спереди, и позади –

Стоит тишина такая,
Что хоть босиком ходи.
Ни клятвы. Ни командира.
Земле, искромсанной зло,
Качнуться бы в сторону мира.

И это произошло.

Идут опасливым шагом
Два парня от русских траншей.
Без ружей, под белым флагом.
Хоть собственный белый шей.

«...Лейтенант Помп взял четырех солдат и тоже без оружия вышел к ним навстречу. Вот они встречаются, мирно беседуют. Конечно, и наши солдаты, и русские толпами высыпали из окопов и с восторгом смотрят на эту картину. Русские солдаты, ликуя, размахивают белыми флагами. У нас тоже солдаты обнимаются, смеются, пляшут, кругом раздаются веселые возгласы. Помп беседовал с русскими минут двадцать, затем, пожав друг другу руки, обе группы направляются в разные стороны – русские пошли к себе, а Помп с солдатами вернулся к нам. Как у них, так и у нас пришедших встретили громкими радостными возгласами. Как рассказал Помп, оба русские были рядовые солдаты. Помп по-дружески договорился с ними, что они не будут стрелять в наших, а мы в них».

Русское и австро-венгерское командования, узнав о братании, наказали командиров этих подразделений и запретили всякое общение с противником.

Русский батальон, принимавший участие в братании, на следующий день был отведен в тыл.

Атака

Земля как упала, так и
Распластанною замерла:
К бикфордову шнуру атаки
Команда фитиль поднесла.
Рвануло, хлестнуло по нервам
И вытолкнуло в прорыв.
И, кажется, не было первых
И не было, значит, вторых.
Лишь охнул, осыпавшись, бруствер
Да ветер скользнул со щеки.

Неровная линия русских
Навстречу качнула штыки.

По травам, по рвам, по осколкам
Расшвырванных луж – сапоги.
Солдатским исполненным долгом
Оплатятся чьи-то долги.

Внезапная конница логом
Выносит клинки наголо.
У Кароя Лигети ноги
Судорогой свело.
Свистящая молния стали
Оттуда, где небеса.
И красным туманом застлало
Расширившиеся глаза.
Куда-то беззвучно и круто
Земля пошла кувырком.
Над смолкшею бранью орудий
Вдруг зазвенел камертон.
С бортов планеты сползая,

Разламывался Будапешт,
Овихренный вспугнутой стаей
Валюты, ворон и депеш.

Одною рукой за корону,
Другою за параллель
Цеплялся хозяин трона,
Нации и земель.

В ушах неотвязно и тонко
Звенел и звенел камертон.
Земли гранитные тонны
Куда-то шли кувырком.
То вдруг из атаки отбитой,
Ознобом обдав ледяным,
Подкованные копыта
Опять возносились над ним.

По зарослям пыльной полыни,
Поднявшейся выше колен,
Носилки качались и плыли
С поручиком Лигети в плен.

Лето 1916 года на Восточном фронте – время Брусиловского прорыва: из 448 тысяч солдат и офицеров австро-венгерской армии, противостоящей Юго-Западному фронту генерала Брусилова, в плену оказалось 408 тысяч, из 1301 орудия русскими трофеями стали 580.

К началу войны в 24-миллионной Австрии проживало 15 миллионов славян: 700 тысяч сербов и хорватов, 1 миллион словен, 3 миллиона русских, 4 миллиона поляков, 6 миллионов чехов и словаков.

В нижней палате австрийского рейхстага заседали 233 депутата от австрийских немцев и 259 – от славян.

В плену русские симпатии чехов и словаков стали столь открытыми, что во второй половине 1916 года правительство решило сформировать из них бригаду для ведения боевых действий против австро-венгерских войск.

V

Война не только смерть, насилие и грабеж, она – великое перемещение народов. С войсками и за войсками идут и едут мародеры, маркитанты, воротилы-промышленники, торговцы, и беженцы, беженцы...

Краков

Жить тревожно в Кракове:

Вечно в ожиданье

Катастрофы, краха ли

Благосостоянья.

На него ли зарятся,

Он ли вызов кинет,

Где что ни заварится –

Кракова не минет.

В чём кому за выгода,

Чем кому не климат:

Пулемёты выкатят

И стрельбу поднимут.

Сам свою судьбу твори,

И от войн подальше!

Рухляди и утвари –

Двести мест багажных.

Всё пронумеровано,

Перевито туго.

Суетливо, говорно

И в поту прислуга.

Ходят птицей вороном
У своих сокровищ
Удовлетворенные
Господин Венцкович.

Дело неотложное.
Выписаны на дом
Шоколад с мороженым,
Кофе с шоколадом.
Лакомые кушанья:
Всё, что заявили,
На прощальном ужине
Дочери Зофии.
Гимназистки-девочки –
Целых чисел дольки:
Душу вдунуть не во что,
Не во что и только.
Правила приличия,
Клятвы и объятья.
Только для девичника
Песня странновата:

*Полночь настала,
А музыки нет:
Клара украла
У Карла кларнет.
Время торопит.
Какого рожна!
Старой Европе
Разрядка нужна.*

*Вольные птицы,
Куда мы летим?
Надо сложиться*

*На знамя и гимн.
Конный – не пеший.
Под шелест знамён
Душу потешим
И сердце займём...*

Раскрылились вороном
У своих сокровищ
Удовлетворенные
Господин Венцкович.
И что их касательно –
Узко глаз не шурьте:
Им Урал желательно
Показать дочурке.
Что с того, что пасмурно
Небосвод дымится:
Перед пачкой красненьких
Ни при чём границы.

Поручика Лигети перемещали из одного лагеря военнопленных в другой, из одного города – в другой.

Пленным офицерам русское правительство выплачивало денежное содержание от 50 до 100 рублей в зависимости от должности и звания, им разрешалось жить на частных квартирах, иметь денщика, повара и получать посылки от Красного Креста.

VI

Старинный Ковров на Клязьме. Здесь датчане строят пулеметный завод – со всей России сюда съезжается мастеровой люд. В разговорах – недовольство правительством, голод, низкие заработки. Лигети входит в бараки пленных своих соотечей, всматривается в их лица, вслушивается в голоса, то тихие и покорные, то вспыхивающие громко и ярко.

В феврале 1917-го его переводят в промышленный Иваново-Вознесенск.

Война продолжалась.

На заводах и фабриках удлинён рабочий день, к труду привлечены женщины и дети. Здесь уже не политразговоры – здесь уже Февральская революция.

События не подхватывают его, он сам в них входит.

Себя самого обрёл –
Не потеряйся, не денься.
Клокочет русский котёл
Иваново-Вознесенска.
Свободы красный восход
Полотнищами полощет.
Россия от вод до вод –
Одна бурлящая площадь.
То бьёт электрический ток,
То густо летит голова.
– Острее ушко, браток,
Не стань добычею слова.

Кумач, кумач и кумач –
Как пламя сухих поленьев.
Обходит веселый ткач
Баракки военнопленных:
– От стада волков шугнут,
Шакалы приходят на смену.
У хищников легок труд:
Всё делается семейно.
И нам был дружней чуток,
Не впасть бы в восторг до озноба.
Мы с вами жизни уток,
А также его основа.

К началу войны в Венгрии было 10 миллионов мадьяр, 3 миллиона румын, 2 миллиона немцев, 3 миллиона сербов, 2 миллиона словаков, 400 тысяч русских и 1 миллион евреев.

В русском плену мадьяры перешли на сторону революции.

Из дневников Лигети: «Не томите себя ожиданием на этой кровавой земле. Пусть разжигается горечь столетий! Пусть гибнет вместе с господами древнее венгерское болото!»

Другу в Будапешт он пишет: «Самому могущественному деспотизму в Европе пришел конец, и мы переживаем интересные дни. Вижу новую историю России, вижу ее первые мощные шаги».

В апреле 17-го военный министр Временного правительства А. И. Гучков издает приказ: «Военнопленные враждебных нам государств в целом ряде обращений как к Временному правительству, так и к различным общественным организациям предъявляют различного рода требования о переустройстве их внутреннего быта и о предоставлении им некоторых политических прав... Предлагаю всем учреждениям и лицам, ведающим военнопленными, объяснить всю невыполнимость их стремлений и потребовать от них беспрекословного повиновения всем распоряжениям поставленных над ними властей...»

Такие шли времена.

Решением Временного правительства из пленных чехов и словаков формируется не бригада – корпус: сорок две тысячи человек во главе с русскими генералами.

Из числа беженцев поляков и национальностей Прибалтики в Омске создана группа социал-демократической партии Польши и Литвы (СДППЛ). В иностранную коллегия ее вошла шестнадцатилетняя гимназистка Зофия Венцкович.

На фронте и в тылу большевики – в неустанной заботе о превращении империалистической войны в гражданскую, им нужна власть над Россией. Временное правительство пытается спасти честь Отечества, призывая довести войну до победы: Германия стоит на пороге капитуляции.

Воскресный день 18 июня в Омске объявлен «Днем займа свободы» – он совпадает с днем начала наступления на фронте. На Центральной площади города назначен парад отправляющихся на войну добровольцев и здесь – толпы работниц, рабочих, купцов и чиновников, дам света и полусвета, юнкеров, офицеров.

Парад лих и торжествен. Бьют барабаны, гремит оркестровая медь.

Затхлы пророчества!
Поведен
Полк добровольческий
В эшелон.
Полная выкладка,
Полный шаг
Выгодно выглядят
Так и так.
Во вдохновении
Лёгок груз,
Коль в наступление
Кличет Русь.
Конь и копытами,
И хвостом
Тянет-повытянет
Вальс-бостон.
Лучшего номера
Не нашёл:
Ахнет – и в обморок
Слабый пол.
Пользуясь случаем,
На прицел
Делает ручкою
Офицер.
Хоть бы не сглазили.
Исполать!

Где уж тут кайзеру
Устоять!
В разноголосице
Суеты
Гордое воинство
Мнет цветы.

В полном согласии –
Против нет! –
Женской гимназии
Высший свет:

– Что тут высматривать
Ходит тварь?!
Время ей сматывать
Инвентарь.

Зонтиком вежливо
Та и та
В сторону девушки
У моста:

– Софка Венцкович?!
Проигрыш-выигрыш?!
Благоволи-ка
Отсюда убраться.
Или сегодня не агитируешь
По лагерям
За свободу и братство?!
Молишь о том,
Чтобы выпало солоно
Этим героям,
Которых весь город...
– Господи, боже мой,
Что рассусоливать?!

В Омку ее —
И конец разговору!

Время горячее,
Без Христа.
Смята, подхвачена —
И с моста.

Дню разомлевшему
Млеть и млеть.
В ритме бешеном
Глохнет медь.

Город не хватится
В стороне.
Белое платице
На волне.

В августе Лигети с пересыльной партией военнопленных отправляют в Омск.

За Уралом бесконечные сибирские просторы. И начинающаяся новая жизнь. Он пишет: «Русскую революцию из наших соотечественников лучше всего понимает венгерский крестьянин. Он в состоянии воспринимать во всей глубине и революционном величии тот шаг, который совершают русские мужики, когда с грубосколоченными самодельными саженьями толпой выходят в поле и делят между собой земли баронов, графов, князей и попов. Придавленные жандармским штыком, борцы многовековой кровавой битвы за землю, венгерские крестьяне, смотря на мерящих землю мужиков и думают о своей родине...» И еще поручик Лигети напишет потом в Будапешт другу из Омска: «Одиннадцать часов ночи. Сейчас пришел от товарищей, которые обычно собираются в другом бараке, где каждый вечер от пяти до одиннадцати мы проводим

беседы о русской революции, о нашей будущей революции, о социализме... Мы все стали большевиками, отсюда мы поведем домой большевиков, людей, умеющих драться на баррикадах... 10 октября 1917 года».

VII

В 10 часов утра 25 октября воззванием «К гражданам России!» Петроградский военно-революционный комитет объявляет о переходе власти в его руки, а в 5 часов утра 26-го Второй Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов объявляет, что берет власть в свои руки над всей страной и для управления ею избирает Совет Народных Комиссаров под председательством Ленина.

19 января 1918 года Омский Совдеп объявляет: единственной властью в области является он. Тогда же проходит собрание омской организации пленных венгров. «Мы требуем от правительства Австро-Венгрии немедленного прекращения войны... Возмущенные, мы протестуем против того, чтобы опять погнали наших братьев и отцов в новую, ужасную кровавую бойню... Мира требует черная от траура вдов и сирот Венгрия, требуем мира и мы с черным гневом из Сибири... Русская революция по существу своему есть революция рабочих и крестьян... поэтому мы, военнопленные рабочие и крестьяне, будем защищать ее до конца... Да, мы будем защищать ее, ибо с гибелью русской революции погибло бы дело освобождения человечества. Требуем демократического мира от правительства Венгрии, в насмешку называющего себя демократическим, если оно не хочет, чтобы военнопленные без различия национальностей с оружием в руках пришли бы домой и принудили бы тысячелетних угнетателей народов Венгрии навсегда уйти от истерзанного, ограбленного кровавого ее тела».

В начале февраля создается ЦК Омской организации венгерской интернациональной социал-демократической партии (большевиков), начавший издавать на родном языке ежедневную газету «Форрадалом» («Революция»). Ее редактор – Карой Лигети.

Он стал не только редактором газеты, но и мужем Зофии Венцкович.

С марта военнопленных в Омске по решению местной власти стали именовать иностранными пролетариями.

Горячее сердце, взбудораженная мысль редактора «Фор-радалом» диктовали его перу решительные, призывные строки:

– Никогда не ждал свободы, равенства, братства от убийц миллионов, ибо от угнетателей нельзя ждать ничего иного, кроме угнетения.

– Вперед на восточные баррикады! В восточных городах впервые окунем свои мечи в гнусную господскую кровь!

В январе 1918 года перед началом Брест-Литовских переговоров о мире по требованию Антанты чехословацкий корпус признан автономной частью французской армии.

9 мая Советским правительством корпусу предложено убыть к месту дислокации в Западную Европу через Владивосток. По условиям договора корпусу перед отправкой полагалось сдать оружие. Сделать это он отказался.

20 мая на совещании в Челябинске чехословацкое командование принимает решение: в случае попытки принудительного разоружения пробиваться к Владивостоку силой.

25 мая корпус, поддержанный белогвардейским подпольем, поднял мятеж. К этому времени эшелоны корпуса растянулись от Пензы до Владивостока, потому уже в день мятежа советская власть была свергнута в Мариинске, через день – в Ново-Николаевске, через два – в Челябинске, через четыре – в Пензе, через пять – в Сызрани...

26 мая Омские областной, городской и уездный Советы объявили: «Чехословацкие отряды, обманутые своими офицерами,

вошедшими в союз с врагами Советской власти и изменниками родины, сделались орудием контрреволюционного выступления в нашем крае.

Принимая во внимание чрезвычайное важное значение города Омска, впредь до ликвидации этого выступления

**ГОРОД ОМСК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
ОБЪЯВЛЯЮТСЯ НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.**

Вся полнота власти в городе и окрестностях переходит сего числа Военно-революционному штабу.

Собрания и летучие митинги на улицах безусловно воспрещаются.

Собрания и увеселения в закрытых помещениях допускаются лишь с особого разрешения Военно-революционного штаба.

Всякое выступление против Советской власти, всякий грабеж и всякая попытка дезорганизовать защиту завоевания прав трудящихся будет беспощадно караться вплоть до расстрела на месте преступления.

Выход на улицу после 10 часов вечера до 5-ти часов утра гражданам без особых пропусков воспрещен...

Виновные в неисполнении сего постановления будут привлекаться к строгой ответственности».

31 мая 1918 года большевистский Западно-Сибирский Военно-оперативный штаб обращается к народным массам: «Советская власть, обливаясь кровью в смертельной борьбе с капиталистами всех стран, защищает интересы рабочих, крестьян и трудового казачества. Ради миллионов трудящихся рабоче-крестьянская власть не потерпит как со стороны класса имущих, так и со стороны отдельных групп рабочих, крестьян и казаков попустительства к предателям революции... Штаб по целому ряду донесений знает, что в некоторых станицах и селах и их окрестностях шляются темные банды вооруженных людей, ...в тиши ночной пытаются подготовить предательский удар в спину дела рабочих, крестьян и трудового казачества... Штаб предупреждает, что расправа как с этими бандами, так и с их укрывателями

будет коротка и жестока. Участники банд будут расстреляны, а укрывающие их станицы и селения будут сровнены с землей...»

«Сровнены с землей», «короткая и жестокая расправа», «будут расстреляны» – опорные слова в документах новых властей.

Господская кровь не очень желала, чтобы в нее окунали свои мечи как российского выплода громохливые преобразователи, так и иностранные пролетарии.

Штаб 1 июня через газету «Известия Западно-Сибирского и Омского Исполнительных Комитетов Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» сообщает:

Расстрел контрреволюционеров

В последнее время известный контрреволюционный есаул Анненков готовится к выступлению, для чего приобретает разными путями оружие и стягивает свои банды к Омску. На фронте у станции Марианновка недавно задержаны с письмом и печатью Анненкова «Череп» с подписью «Отряд особого назначения. С нами Бог. Есаул Анненков» 5 подвод с 11 ящиками патронов, с винтовками и пулеметами. Из казачьего склада оружия украдено 113 винтовок. При попытке скупить 156 винтовок и 2 пулемета системы Люис от заведывающего складом оружия 1-го эскадрона командиром эскадрона были задержаны три офицера и один вольноопределяющийся анненковских отрядов: Самарцев, Тепляков, Кузнецов и Соснин, двое первых в офицерских погонах. 28 мая в присутствии солдат эскадрона они сознались, что в анненковском отряде состоят уже два месяца и были командированы в Омск для скупки оружия, седел и лошадей.

На основании ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ Исполнительного комитета Советов Самарцев, Тепляков, Кузнецов и Соснин расстреляны».

4 июня того же года в той же газете:

Раскрытие контрреволюционного заговора

Вчера в Ишиме раскрыт заговор офицеров взорвать железнодорожный мост и взорвать путь, чтобы приостановить движение войск и поездов поездов на Омск и обратно не менее как на пять дней и этим самым дать возможность чехословакам вести наступление на фронте Омска.

По делу заключено в тюрьму десять человек, из которых два служащих правительственного телеграфа, остальные офицеры.

Служащие телеграфа заключены по указанию обвиняемых, как якобы передавших телеграфные сведения. Заговор по указанию одного из обвиняемых, сознавшегося во всем, был организован бывшим тому назад неделю в Ишиме членом Временного Сибирского правительства, который якобы выехал в Омск. В деле замешано много лиц, дознание о которых кончится не раньше, как завтра. В заговоре горячее участие принимала партия эсеров: члены этой партии посажены в тюрьму, председатель убежал.

Без точек опоры расшатанный быт.
Не так поглядел — и повешен.
И Людвиг Венцкович прислуге велит
С утра упаковывать вещи.
Ограблен и бит за какие грехи?
И ласточка-дочь — не подарок.
За нею славянских кровей женихи,
Она со всех ног — за мадьяром.
Невзгоды — на годы, удача — на час.
Житейские дрожки — из тряских.
Однажды не выдержит сердце и сдаст.
Подальше от белых и красных.
Но где те дороги, чтоб все стороной?
Эпоха по следу наметом.
Беги, озирайся и чувствуй спиной
Свинцовую дрожь пулемёта.

В далекие времена сибирское казачество проживало, несло службу на землях Ишимского и Петропавловского уездов Тобольской губернии, защищая южные рубежи Русского государства от степных кочевников. Постепенно граница смещалась к югу, образовалось Семиреченское казачество. В начале XX века Сибирское казачье войско состояло из трех отделов: 1-й – с центром в Кокчетаве, 2-й – с центром в Омске, 3-й в Усть-Каменогорске.

Столицей войска был Омск.

В Белой борьбе на востоке России сибирское казачество сыграло выдающуюся роль.

В январе 1918 года при Петропавловском станичном правлении образовался центр тайной организации по свержению большевистской власти. В него вошли офицеры и казаки станицы Петропавловской, близлежащих станиц. Центром руководил командир Отдельной Сибирской казачьей бригады полковник Иванов, приведший ее с Кавказского фронта для расформирования.

В конце марта в Омск нелегально прибыла делегация Добровольческой армии, направленная генералом Корниловым – потомственным сибирским казаком – для согласования общих действий и образования в Степной области подпольной группы армии. Делегация состояла из двух человек: генерала от инфантерии Флуга и подполковника Глухарева. С мыслью объединить под единым началом все местные военные и политические организации, признающие «Программу» генерала Лавра Георгиевича Корнилова, они стали искать соответствующую такому назначению личность. Им был рекомендован полковник Иванов-Ринов (Ринов – подпольное имя) как человек, «пользующийся большим влиянием среди казачества и имеющий обширный административный опыт». Флуг съездил в Петропавловск, познакомился с Ивановым, нашел его вполне соответствующим назначению, сам полковник дал согласие возглавить Омский военный подотдел Добровольческой армии

и к началу лета объединил под своим началом тайные белые организации всей Степной Сибири. Исполнив миссию, генерал Флуг с подполковником Глухаревым убыли в Томск, приемником Иванова в руководстве Петропавловской организацией стал войсковой старшина Волков: Владимир Иванович пользовался безупречной репутацией храбрейшего офицера Сибирского казачьего войска, имел за мировую войну орден Святого Георгия 4-й степени, Георгиевское золотое оружие.

Успеху Белого дела много способствовала деятельность полуполигального «Союза братчиков и сестриц», созданного по инициативе и при активном участии полкового священника А. А. Русецкого, ставшего в скором будущем Главным священником Сибирской армии адмирала Колчака. Выпускник Минской духовной семинарии, он провел с сибирскими казаками более двух с половиной лет на позициях, имел боевой орден Святой Анны 3-й степени и теперь проповедником «совершает с опасностью для своей жизни миссионерские поездки по Омской епархии, силою своего мощного слова бичует большевизм». Направленные опытной рукой, в одном направлении действовали станичные дружины Сибирского казачьего войска, учащаяся молодежь в составе тайных военных организаций.

Переворот в Петропавловске произошел в ночь на 31 мая 1918 года. Чехословаки и подпольщики выступили одновременно в один час ночи. Город в считанные минуты оказался в руках восставших. Из членов совдепа под покровом темноты удалось спастись бегством только двум человекам. Победители пленных коммунистов выпороли нагайками, а пленных венгров-интернационалистов увели за город и расстреляли. Советская власть была свергнута во всей Степной Сибири.

В газете «Приишимье» появилось стихотворенье:

Было много слухов, было много толков,
Но вопрос на деле оказался прост:
Не успел проехать с казаками Волков,
Как вся свора мигом вновь поджала хвост.

Не слышать собачьих большевистских лаев,
Как рукою сняло вихрь мятежных бурь, –
Волкова сподвижник, славный Катанаев
Из голов дурацких сразу выбил дурь.
Шлю привет героям и пред всеми Вами
С твердой верой в сердце я сказать берусь:
– С этими орлами, с этими штыками
Возродится скоро боевая Русь...

После взятия власти в городе была объявлена мобилизация в Сибирскую армию офицеров, юнкеров, военных чиновников и врачей, о наборе добровольцев из других категорий граждан. На сборных пунктах стали формироваться добровольческая рота реалистов и гимназистов, добровольческая киргизская рота, казачья конная рота, Офицерская Отдельная инструкторская рота капитана Васильева.

VIII

Под Омским образовалось три фронта: западный – со стороны Петропавловска, южный – со стороны казачьих станиц, восточный – со стороны Новониколаевска.

Незадолго до этих событий по Петропавловской железнодорожной ветке на станцию Исилькуль прибывает штаб чехословацкого корпуса и эшелон пятого чешского полка.

В Омский исполком направляются два офицера: Гайда – в скором будущем колчаковский генерал, и Масарик – в скором будущем президент Чехословакии, с требованием пропустить их на восток без сдачи оружия. Им отказывают. Офицеры встают и уходят.

«Мы не успели переглянуться, – вспоминает один из комитетчиков, – как вновь открылась дверь, в которой появились две головы: Масарика и Гайды. Ни слова не сказав, они захлопнули дверь и ушли совсем. Все мы, члены комитета, поняли тогда, что нам брошен вызов».

На следующий день тюменской веткой на станцию Куломзино прибывает шестой чешский полк. На его разоружение на-

правляется коммунистический отряд ЧК, который при боевом столкновении с ним весь погибает.

На восточном фронте главной силой, противостоящей чехословакам, выступают красные мадьяры Лигети: тысячу винтовок вооружил Омский Совет грозных иностранных пролетариев. «Эту тысячу винтовок мы должны использовать, как следует, если хотим спасти себя и русскую революцию, которая является нашим союзником, оплотом грядущей венгерской революции», – писал редактор «Фор-радалом».

Волнения Лигети мне понятны.

Под Омском погода портится.

Выходит на ближний рубеж.

Чехословацкого корпуса

Железнодорожный мятеж.

Победно стволами выставлен,

В литую броню одет,

Он подберётся и выстрелит

В занявшийся русский свет.

Он знает, а не надеется,

Что с ходу сметёт под откос

Заслоны красногвардейские

И не замедлит колёс...

30 мая два чешских эшелона пытались занять станцию Кошкуль, но под огнем красной артиллерии отступили. Мадьяры бросились за ними вдогонку, однако напоролись на сплошную стену ружейно-пулеметного огня и попятились в сторону станции Татарская.

Шестого июня чехословаки и казаки есаула Анненкова вышли к станциям Любино и Называевская, предупреждая подход помощи большевикам из Тюмени. Вечером омский Совдеп вместе с семьями погрузился на пароходы, пустился вниз по Иртышу к спасению у тюменских товарищей.

Седьмого июня Омск читал Приказ № 1 полковника Иванова-Ринова: «Временным Сибирским правительством я назначен командиром Степного корпуса, вся полнота власти с сего числа принадлежит мне...» Приказом № 2 от того же числа создавался штаб Степного корпуса, который сразу приступил к формированию боевых отрядов.

Узнав о падении Омска, красногвардейцы восточного фронта разбежались, но мадьяры, собранные воедино волею Лигети, пошли вслед за своим совдепом на Тюмень через Тару и Тобольск.

Дорога вконец от дождей расползлась.
Телеги в суглинке по оси.
И кони коленями падают в грязь,
Как будто прощенья просят.
Четвёртые сутки подряд отряд
Несёт на себе обозы.
Что город оставлен – не он виноват.
Но что в этой истине пользы?
Сутулит спины чувство вины –
Всё дальше от Омска мадьяры.
Костры их привала отражены
В чужом Иртыше под яром.

Омский офицерский отряд штабс-капитана Казагранди через двое суток на пароходе «Семипалатинец» отправился в преследование за коммунистическими беглецами. Вечером 12 июня у села Карташево он настиг их. После короткой перестрелки они, сто восемьдесят четыре человека, сдались. Среди пленных на борту парохода оказалась Зофия Венцкович. Лигети предложили: ему и Зофии сохранят жизнь, если он отправится в Тюмень, организует разоружение красногвардейских отрядов и сдачу города, но Зофия останется заложницей.

Он ответил пощечиной пришедшему с этим предложением чешскому офицеру.

«Знаю, что напрасно рисковать жизнью недостойного революционера, но если бы такой случай повторился, моим ответом могла быть только пощечина... Мы должны не только всей нашей жизнью, но и самой смертью показать, что для дерущихся под знаменем нашей партии недопустима, невозможна не только измена, но и сама мысль о ней», – напишет Лигети товарищам из тюрьмы.

Казагранди, усадив в трюм пленных, продолжил путь к Тобольску и на подходе к Таре встретил известные всему Обь-Иртышскому пароходству «Ольгу», «Иртыш» и «Товарищество».

«Ольга» с донесением о делах отряда отправлена в Омск, туда же с баржей пленных пошел «Иртыш». Независимое «Товарищество» ушло к Омску само по себе.

Перемещение красных мадьяр по русским пространствам от Омска до Тюмени во многих сочинениях описываются как триумфальное шествие. В моем студенческом воображении оно рисовалось таким же:

Легенда

О ней – застучавшие ставни,
И слухи, и вороньё.
И, кажется, воздухом стала
Летучая слава её.
То лесом, то степью, то полем –
Стремительной тенью крыла.
По сёлам плывут с колоколен
Безбожные колокола.
Над сходкою, сдвинувшей брови –
Агитационный талант:
Она во плоти и во крови
Мутит мужиков по тылам.

Слова раскалённые — с лёта.
В порыве — клинок наголо.
Трубач шелохнётся — и в сёдла,
Стремян не коснувшись, село.
И вместе с легендой растает,
Оставив в суслонах хлеба,
У пыльных околиц оставив
Незрячие статуи баб.
Дозорными их ожиданий
Мальчишки не слазят с трубы.
Но только за дальней деляной —
Костров голубые столбы.

Легенда. Легенда. Легенда.
Под сёдлами взмокла кошма.
Опять наведенная кем-то
Погоня по следу пошла.
И собственный след потеряла.
Сомкнулись листва и трава.
На месяцы опережала
Легенду мирская молва.
И ей — ни преград, ни пределов.
И дни взбаламутив до дна,
Стремительной тенью летела
По странам планеты она.
От сёл к городам — перекатом.
И бредила далью другой,
Бунтующие баррикады
Оставив в пути за собой.

Подмяв под себя пьедесталы,
Разламывался Будапешт,
Овихренный вспугнутой стаей
Валюты, ворон и депеш.

Свое утверждая начало
Над сильными мира сего
Один за другим занимала
Легенда кварталы его.

Над паникою угорелой,
С утра осадившей вокзал,
Оборванной параллелью
Оборванный провод свисал.

Легенда легендой.

Красные мажоры, уходящие из Омска, никогда не были желанными гостями в таежных селениях и городах, и сами не были дружелюбны. Войдя в маленькую деревянную Тару, грозились спалить ее, если их не переправят на левый берег Иртыша, не снабдят продовольствием.

14 июня Казагради был в Таре, где узнал, что ранним утром 11-го все советские учреждения из Тобольска, которому еще ничто не угрожало, эвакуированы в Тюмень, что в брошенном городе в тот же день состоялось заседание членов бывшей городской думы, решениями которой восстановлены городская и земская управы, избран Временный комитет, вскоре переименованный в Комитет общественной безопасности. Для охраны города Комитет поручил командиру 43-го Сибирского полка, дислоцированного в Тобольске, полковнику Киселеву создать особую группу.

«Семипалатинец» прибыл в Тобольск в ночь на 19 июня, утром по городу был расклеен приказ: «Прибыв сего числа с отрядом регулярных войск Сибирского временного правительства в город Тобольск, объявляю от имени Временного Сибирского правительства Советскую власть в городе Тобольске низложенной, земские и городские самоуправления восстанавливаются, военная и административная власть губернии впредь до распоряжения Временного Сибирского правительства переходит к

коменданту города Тобольска полковнику Киселеву, которому поручается сконструировать Тобольский Военно-революционный штаб.

Начальник отряда Временного Сибирского правительства штабс-капитан Казагранди».

Секретарь бежавшего из Омска Западно-Сибирского Военно-оперативного штаба Карлов писал в своих воспоминаниях: «В штабе получили по телефону сведения из села Покровского Тюменской губернии, что в село прибыл... отряд мадьяр, который просит сообщить об этом в Тюмень. Мы просили Покровское передать отряду, что за ним немедленно высылается пароход. На следующий день, на рассвете, отряд на пароходе прибыл в Тюмень. Ему была устроена торжественная встреча».

Через линию фронта к Тюмени перешло около пятисот бойцов Лигети, они принимали участие обороне города, воевали на станциях Подъем, Богандинская, Вагай, Голышманово. На этой станции ими мимоходом был расстрелян священник местной церкви. «Все время своего пребывания на станции о. Богоявленский обнаружил удивительное спокойствие. Перед расстрелом, когда выкопана была яма, он помолился Богу, потом положил на все четыре стороны земные поклоны, надвинул шляпу на глаза и сказал: «Я готов». Так об этом передавали железнодорожным служащим расстрелявшие его красноармейцы (мадьяры)», – говорится в Акте расследования обстоятельств ареста и расстрела священника Голышмановской церкви Ишимского уезда отца Владимира Богоявленского.

IX

Победу на случившихся в 1917 году первых всероссийских выборах в органы власти – во Всероссийское Учредительное собрание – одержали эсеры: за них проголосовало 40% избирателей, в аграрных Центрально-Черноземном районе и в Сибири

– 75%. Большевики набрали – 24% и не смирились с такой народной несправедливостью: на первом же заседании Собрания в 5-м часу утра 6 января 1918 года они объявили об его закрытии, а в ночь на 7-е – об его роспуске.

Насилие, совершенное над первым всенародно избранным органом, не убило идеи Учредительного собрания: во все время гражданской войны она была знаменем противников большевистского режима, территория страны, не подвластная большевикам, стала распределяться между многими областными правительствами. В Омске борьбу за власть вела Сибирская Областная Дума с Временным Сибирским правительством.

Еще в конце 1917 года на съездах сибирских областников в Томске было объявлено об автономном устройстве Сибири, высшим законодательным органом ее предполагалось быть Сибирской областной Думе. В конце января 1918 года по примеру петроградских товарищей томские большевики Думу разогнали, некоторых ее членов арестовали, а избежавшие ареста думцы избрали президиум Сибирской Областной Думы и образовали Временное правительство Сибири – оно, опасаясь репрессий, из Томска перебралось в Харбин. Когда в июне 1918-го большевистская власть в Сибири пала, возродившаяся Сибирская Областная Дума из пяти находившихся в Сибири членов харбинского кабинета образовала Временное Сибирское правительство во главе с Петром Васильевичем Вологодским, передав ему «всю полноту» государственной власти над всей территорией Сибири».

Столицей ее был избран Омск.

Во второй половине июня полковнику Иванову-Ринову приказано в кратчайшие сроки очистить от красных войск территорию к западу и северо-западу от Омска, то есть севернее железной дороги, и обезопасить ее от вторжения неприятельских войск занятием проходов через Уральские горы. Полковник отдает приказ о создании ударной группировки, местом

сосредоточения ее назначает Ишим, а командиром – начальника Первой степной дивизии полковника Вержбицкого: за плечами Григория Афанасьевича японская война, военная экспедиция в Китай, мировая война. С Германского фронта он вернулся в Сибирь, имея орден Святого Георгия 4-й степени, Георгиевское оружие, много других наград, среди которых особо ценил солдатский Георгиевский крест с пальмовой ветвью: им в 1917 году награждались офицеры за личную храбрость и только по решению солдатских собраний. Он участвовал в антисоветском перевороте в Усть-Каменогорске, откуда был вызван в Омск, а через день после прибытия, 21 июня, с отрядом в 348 человек уже отправился в Ишим.

Белая армия испытывала недостаток в личном составе, в офицерских кадрах, правда, это оказывалось вопросом времени. Петропавловская Офицерская рота капитана Васильева в Ишиме стала иметь 150 человек, влившись в Первый Степной Сибирский полк капитана Жилинского, она вдвое увеличила его личный состав.

Командир отделения четвертой роты этого полка поручик Арсений Митропольский вспомнил: «Не полк, не полчок даже – батальонишка... а духом, готовностью драться, волею к победе – крепко сбита, отличная героическая часть. Рядовыми бойцами офицеры, крепкорукые, прицелистые сибирские прапорщики, пылающая энтузиазмом молодежь: студенты, гимназисты, кадеты... Мы были захвачены восторгом переворота, кутерьмой формирования; мы, уже отдохнувшие от войны, вновь хотели возбуждающего свиста пуль и тьяканья шрапнелей, той очаровательной обстановки походов и боев, когда все в жизни становится просто и ясно... мы верили в то, что мы, офицеры-фронтовики и интеллигентная молодежь, первыми выстрелами разгоним эту красную сволочь, что хочет бороться с нами... Ишим. Квартира в школе. Душистое сено на полу, сытные харчи, сибирские калачи. Иногда, к борщу полстакана спиртяги, солдатской радости...».

Белобрысый и лопоухий, невысокого роста выпускник второго Московского кадетского корпуса и Константиновского военного училища, поручик с Георгием на груди лих и беспечен. Он поэт, и стих его мужествен:

На чердаке, где перья и помёт,
Где в щели блики шурились и гасли,
Поставили треногий пулемёт
В царапинах и синеватом масле.
Через окно, куда дымился шлях,
Проверили по всаднику наводку,
И стали пить из голубых баклаг
Согретую и взболтанную водку.
Потом... Икающе захлёбывалась речь
Уродца на треноге в слуховуше...
Уже никто не мог себя сберечь,
И лишь во рту всё становилось суше.
И рухнули, обрушившись в огонь,
Который вдруг развеял ветер рыжий.
Как голубь, взвил оторванный погон
И обогнал, крутясь, обломки крыши.
...Но двигались лесами корпуса
Вдоль пепелищ, по выжженному следу,
И облака раздули паруса,
Неся вперёд тяжёлую победу.

Это его «Разведчики».

А прицелистые сибирские прапорщики, пылающая энтузиазмом молодежь в походе и на привалах пели:

Смело мы в бой пойдём
За Русь святую
И как один прольём
Кровь молодую.

Песня понравилась по ту сторону границы, разделившей русский народ, – у красных. Там она пелась:

Смело мы в бой пойдём
За власть Советов
И как один умрём
В борьбе за это.

Приказом Иванова-Ринова ближайшей задачей Ишимской группе ставилось овладение Ялutorовском. Результатом действий ее под началом полковника Вержбицкого стало взятие с боем 29 июня станции Голышманово, 1 июля – Омутинской, 4 июля – Вагая, 8-го – разъезда Заводоуковский. 10 июля красные без боя сдали Ялutorовск и отступили к станции Богандинская: здесь, натолкнувшись на отчаянное сопротивление, группа перешла к временной обороне. Красные задумали сложную операцию по фланговому охвату и окружению ее: четыреста человек матросского отряда при десяти пулеметах в ночь на 15 июля у деревни Муллаши обошли правый фланг, оказались в их тылу и расположились на отдых в лесу. Однако не смогли соблюсти скрытности манера. Две роты чехословаков и казачья сотня почти полностью уничтожили эту команду – спаслось около тридцати человек.

Другой отряд красных – более четырехсот человек с пулеметами – обошли левый фланг Вержбицкого у деревни Головино. Против них выступили две сотни 2-го Сибирского казачьего полка и пять взводов чехословаков. При их наступлении красные бросились бежать к переправе через Пышму, но все пути к отступлению были отрезаны. Около ста красноармейцев утонуло в реке, на поле боя осталось девять убитых. Воспоминания современника о Головино после боя ужасают: «Трупами красных были завалены улицы, и свиньи, выползая из дворов, пробовали рвать еще теплые тела...».

Сводный отряд подполковника Смолина, совершив 16 июля рейд по тылам красных, на станции Подъем захватил бронепоезд, разбил красногвардейскую часть, потом ударил в тыл пышминских позиций и 19 июля овладел деревней Червишево.

Одновременно основные силы Ишимского отряда атаковали противника с фронта. Под станцией Богандинская коммунистические силы были наголову разбиты, и в 17 часов 20 июля в Тюмень без боя вошли сотни 2-го Сибирского казачьего полка, а через два часа со стороны деревни Яр вошла разведывательная группа отряда Казагранди.

Николай Николаевич Казагранди – представитель давно обрусевшего итальянского рода, обличьем беспощадно красив, душой по-русски широк и открыт. «Дворцов» – переводят на русский его фамилию сослуживцы и говорят, что туда ему и дорога. Он не сопротивляется:

– Туда не туда, но это по мне.

«Отряд штабс-капитана Казагранди, – вспоминал один из его офицеров, – благодаря неустанным заботам своего командира, редко испытывал материальные затруднения и, следуя его примеру, доблестно и всегда успешно выполнял ставимые ему боевые задачи... Имя штабс-капитана Казагранди как офицера и начальника, связанное со многими блестящими и лихими делами белых, приобрело в Сибири и Приуралье широкую и вполне заслуженную большую и добрую известность. Оба помощника Казагранди – капитаны Цветков и Ушаков – были также выдающимися во всех отношениях офицерами...».

В ночь с 16 на 17 июля в екатеринбургском доме, некогда построенном и принадлежащем военному инженеру Ипатову, комиссар Юровский вошел в комнаты, занимаемые царской семьей и прислугой, разбудил всех, повелел следовать за ним: дескать, в городе мятеж и он хочет увести их в безопасное место. Все послушно спустились за ним в нижний этаж: государь с наследником на руках, государыня, великие княжны, фрейлина Демидова, доктор Боткин, повар Харитонов, старый лакей Трупп.

Юровский вышел, но через некоторое время вернулся с тремя другими большевиками и семью австро-венграми. Сказал:

– Ваши хотели вас спасти, но это им не удалось, и мы принуждены вас казнить.

Выхватил револьвер и в упор выстрелил в государя. Вошедшие стали стрелять в заранее определенные жертвы.

...В ста пятидесяти верстах севернее Екатеринбурга в городке Алапаевске в ночь с 17-го на 18 июля, сутки спустя, были расстреляны и сброшены в старую шахту сестра государыни великая княгиня Елизавета Федоровна, великие князья: двоюродный брат императора Сергей Михайлович, Иоанн, Константин и Игорь Константинович, князь Палий – сын великого князя Павла Александровича.

Не задерживаясь в Тюмени, Казагранди с приданной ему полусотней казаков уже в 10 часов утра выступил на Туринск, который 25 июля сложил перед ним оружие. 29 июля сюда из села Тавдинского прибыл отряд полковника Киселева, и на следующий день оба отряда без сопротивления заняли Ирбит. Красные отступили на Егоршино. Они еще раз переиначили знакомую песню:

Смело мы в бой пойдём,
Если нас погонят,
И как один умрём,
Если нас догонят.

Х

Белогвардейское подполье, дабы отрезать пути отхода тюменским большевикам, подняло в Камышловском и Шадринском уездах восстание, но его быстро подавили. Руководил боями председатель Камышловского уисполкома, председатель УВЧК и военный комиссар рабочий Мака́р Васи́льевич Васи́льев. Из бросивших Тюмень отрядов образовали Сибирский корпус, командиром назначили Васи́льева, комиссаром Усиевича, из красновардейских дружин образовали полк, названный Первым крестьянским коммунистическим полком Красных орлов.

Станции Егоршино придавалось важное стратегическое значение: и белые генералы, и красные командиры прилагали все усилия, чтобы овладеть станцией – бои за нее шли более полутора месяцев. Созданный в середине июня 1918 года Советом Народных Комиссаров Северо-Урало-Сибирский фронт был переименован в 3-ю армию, оказавшиеся под Егоршино отдельные формирования объединялись в бригаду, командиром ее назначили все того же Макара Васильевича. Менялась боевая обстановка – менялись названия воинских формирований, бригаду развернули в дивизию, присвоив ей номер 29. Долгое время в 3-й армии красных было всего две дивизии: 29-я и 30-я – ею командовал Блюхер.

Ко 2 сентября 1918 года в отряде штабс-капитана Казагранди насчитывалось 903 бойца при 6 пулеметах, он был самой крупной и самой организованной частью дивизии Вержбицкого, но не имел в ней определенного статуса.

13 сентября 1918 года приказом по 2-му Степному Сибирскому корпусу отряд преобразовывается в 16-й Ишимский стрелковый полк.

Полк с боями продвигается дальше и дальше на северо-запад, его офицеры и нижние чины повышаются в воинских званиях, его командир становится капитаном. Генерал Сахаров вспоминал: «Дух и спайка среди частей были замечательные. Офицеры и солдаты жили в общих землянках, зачастую обер-офицеры стояли в строю и бою как рядовые. Тяжелая боевая служба среди начавшейся уже зимы неслась в высшей степени добросовестно, без отказа. Жила среди нас большая вера в справедливость своего дела. Между всеми было полное доверие: никаких недомолвок, недоговоренностей. Та отчужденность и подозрительность к офицеру, которую старательно привили и раздули наши политиканствующие социалисты в 1917 году, исчезла совершенно и заменилась нормальными отношениями, чувством взаимной дружбы».

28 сентября полк овладел Алапаевском, рядом с ним в бой шли 13-й Омский, 18-й Тобольский и 20-й Тюменский полки полковника Киселева.

Расстроенные части красных отступали по линии Алапаевск – Нижний Тагил и далее на север по Верхнетурскому тракту. С тяжелыми боями, пройдя через их многочисленные заставы, в середине октября 16-й Ишимский овладевает городом и станцией Верхотурье. Капитан Казагранди награждается чином подполковника, в следующие чины производятся все подчиненные ему должностные лица.

Арсений Митропольский, взяв псевдоним Несмелов, в далеком непредполагаемом Харбине будет писать об этих днях:

Врага нащупывая издалека,
По насыпи на зареве пожарищ
Вползали тяжко два броневика,
И «Капеля» обстреливал «Товарищ».
А по бокам, раскапывая степь,
Перебегала, кувыркаясь, цепь.

Он вспомнил эти дни и видел себя в рубке бронированного чудовища:

У командира залихватский вид,
Фуражка набок, расхлябаснут ворот,
Смекалист, бесшабашен, норовист,
Он чёртом прёт на обреченный город.
Любил когда-то Блока капитан,
А ныне верит в пушку и наган.

Из двадцати трёх – отданы войне
Четыре громыхающие года:
В земле, в теплушке, тифе и огне.
(Не мучит зной, так треплет непогода).
Всегда готов убить и умереть.
Такому ли над Блоками корпеть!

Город Ишим не оставлял без внимания полк своего имени. Начальник 4-й Сибирской дивизии, – в ней воевал 16-й Ишимский полк, – говорил: «Граждане города Ишима сделали для вверенного мне отряда ценный подарок в виде Ишимского питательного пункта. Принося глубокую благодарность гражданам г. Ишима за столь дорогой подарок, предписываю питательный пункт включить в состав отряда».

В ноябре Ишимская городская дума постановила ассигновать на подарки 16-му Ишимскому полку 3 тысячи рублей и такую же сумму – Питательному пункту имени города Ишима.

...Село и станция Карелино, село Ново-Туринское, завод Николо-Тавдинский. В бою за станцию Карелино захвачены оружие, пленные, автомобиль, бронепоезд в составе трех вагонов, платформы и паровоза. Бронепоезд получил имя «Ишимец». На его вооружении стояло трехдюймовое орудие и восемь пулеметов. Станция Выя, Нижнетуринский завод, – тысяча пленных Первого Камышловского полка, разгром 29-й дивизии красных – спаслись лишь командир, начальник штаба и комиссар. Это боевые вехи 16-го Ишимского.

Политики вели свои бои и одерживали свои победы.

23 сентября 1918 года Уфимское государственное совещание, представленное членами разогнанного Учредительного собрания, создает Временное Всероссийское правительство, или Уфимскую Директорию. Она объявила о своей борьбе с Советской властью за воссоединение России, о продолжении войны против австро-германского блока, о восстановлении всех договоров со странами Антанты, в короткие сроки добилась упразднения всех областных, национальных и казачьих правительств, Сибирской областной думы. 9 октября Директория переехала в Омск – 3 ноября ей передало власть Временное сибирское правительство. В состав образованного Уфимской Директорией Всероссийского Совета министров

вошли почти все члены Административного совета Временного сибирского правительства. Пост военного и морского министра 3 ноября занял генерал Иванов-Ринов, но уже 4-го был заменен Колчаком, который 18 ноября при поддержке союзников, офицерских и казачьих частей совершил государственный переворот, вождей Директории арестовал и выслал за границу, остальные члены ее вошли в состав Омского правительства адмирала.

Австро-Венгрия, одна из стран, развязавшихся мировую войну, рухнула. На ее развалинах чешские земли и Словакия объединились в республику Чехословакия, провозглашенную 14 ноября. Первым ее президентом стал Томаш Масарик – один из тех офицеров, кто полгода назад своим появлением смутил Омский совдеп.

В ночь на 22 декабря в Омске большевики подняли восстание. Дезорганизованное противоречащими один другому приказами, оно к середине дня было подавлено. Командовавший английскими солдатами личной охраны Колчака полковник Уорд вспоминал с ноткой сожаления: «Восстановление порядка стоило только тысячи жизней». «Нет, – поправляет его в своих воспоминаниях старый большевик Т. Сергеев, – погибших в этом восстании, по далеко не полным данным, насчитывается до 2000 человек, из них 100 – коммунисты... Восстание, несмотря на разгром его, было лучшей школой опыта борьбы для пролетариата Омска».

Накануне восстания Лигети из-за стен тюрьмы воодушевлял соотчичей стихами, в вольном моем изложении звучащими так:

Пусть враг идёт на приступ, на таран, –
Назад ни шагу, красные мадьяры!
За нами всё слышнее по утрам
Победных пушек грозные удары.
И пусть прибой нас к берегу прибил,

Не скитом мы раскинуты, но станом –
В последний бой с врагами из могил
Мы в цепи атакующие встанем.
И в дни торжеств шагнём за тот рубеж,
Где солнце отвоёванное светит,
Где благодарный красный Будапешт
Цветами и объятьями нас встретит.

У 16-го Ишимского полка в боевом формуляре – дела под Воткинском заводом, где была разгромлена Седьмая дивизия красных, и 24 декабря 1918-го – взятие Перми, форсирование Камы, создание на ее правом берегу широкого плацдарма для наступления на Вятку.

Командование Северного фронта красных бьет тревогу: боевые успехи белых опасны возможностью установления связи Архангельского района с чехословацким фронтом, перерывом сообщения с Северным Уралом и Западной Сибирью, утратой края, откуда возможен ввоз продовольствия. В районе Ляпино имеется 300 -500 тысяч пудов хлеба, закупленного Архангелогородским губисполкомом, а в районе рек Печоры, Ижмы и Цильмы имеются значительные запасы оленьего мяса. В районе Ляпино, кроме того, в озерах и реке Обь возможна заготовка рыбы. Столь необходимые им запасы могут быть захвачены и вывезены противником.

Поручик австро-венгерской армии Мориц Мандельбаум родился в один год с Кароем Лигети – в 1890-м, но не в рабочей – в артистической еврейской семье, что не помешало ему в 1916-м, как и Лигети, оказаться в русском плену. Вездесущий и дальновидный, он не ждал милостей от властей, сам побуждал их к этому и во время Октябрьского переворота уже командовал красногвардейским отрядом. Лето 1918 года провел на Волге и Каме в боях против белочехов, а осенью во главе интернационального «летучего отряда ВЧК» (10-12 человек: немцы, латыши, мадьяры) он направляется на Север с

заданием перейти Урал, завладеть Ляпино и, по возможности, – всем бассейном Оби. (Это с двенадцатью-то человеками!).

В серо-зеленой английской шинели, френче, в галифе «с кожей на сидячем месте и коленках» он появился на глухоманной Печоре, где первыми его боевыми делами были убийство трех женщин за отказ дать лошадей для «летучего» отряда, ограбление Троице-Стефановского монастыря. Интернационалист Мандельбаум не побрезгал сорока тысячами монашеских рублей, церковным вином, обувью, хлебом и солью с маслом, лошадьми и коровами. А также перинами и подушками.

Подплывая к селам, он сначала обстреливал их из пушки, лишь потом высаживался на берег. Говорил:

– Снаряд сам должен найти кулака, отличить его от бедняка, а мне до этого дела нет, так как все русские – свиньи.

Красный Мандельбаум пёр напролом к ляпинскому хлебу.

Белогвардейцы тоже о нем помнили.

Командир 16-го Ишимского полковник Казагранди становится командиром северной группы войск Белой Сибирской армии. Чтобы воспрепятствовать действи-



ям и намерениям Мандельбаума, он усиливает Ивдельский полк полковника князя Вяземского ротой чехословаков, на помощь из Тюмени и Тобольска в эти непроходимые, богом забытые края идут два других отряда. Соединенные силы их, насчитывающие более 600 штыков, в ночь на 16 января 1919-го атакуют Ляпино, уничтожив всех до единого красноармейцев.

Хлебные запасы казны достались белым.

«В этих глухих местах между Усть-Цильмой и примерно Чердыню, – писал командующий Северным фронтом генерал-лейтенант Марушевский, – революция потеряла уже давно свои политические признаки и обратилась в борьбу по сведению счетов между отдельными деревнями и поселками. На почве одичалости и грубых нравов местного населения борьба эта сопровождалась приемами доисторической эпохи. Одна часть населения зверски истребляла другую. Проруби на глубокой Печоре были завалены трупами до такой степени, что руки и ноги торчали из воды. Разобрать на месте, кто из воюющих был красный или белый, было почти невозможно. Отравленные ядом безначалия, группы этих людей дрались каждая против каждой, являя картины полной анархии в богатом и спокойном когда-то крае».

XI

16-й Ишимский полк участвовал во всех наступательных и оборонительных сражениях на плацдарме под Пермью и за Пермью. И не забывал своего первого командира, но о его боевых делах на севере разговоры приумолкли, имя произносилось реже и реже. В разговорах офицеров возникали недоуменные вопросы:

– Как так, нам долго говорят о скорой встрече и соединении с архангелогородцами, а ее все нет как нет. Странное затишье, господа, в Ляпино.

Но в затишье на севере виноват был не Казагранди.

Хлеб в Ляпино и в Обдорск доставляли пароходы и баржи тобольского купца Голева-Лебедева, его в этих долгих плаваниях сопровождала тридцатилетняя женщина «невиданной красоты и очарования» – жена. Супруги имели свои путевые дома в Сартанье и Обдорске.

Князь Вяземский два месяца отдыхал не в Ляпино – в Сартанье: за широким столом и в любви на крахмальных простынях.

Набравшись свежих сил, он оставил в слезах и причитаниях красавицу, вернулся к своему войску, перевалил с ним Урал и в верховьях Печоры объявил о соединении Северного и Восточного фронтов. Офицеры обоих фронтов поздравляли друг друга с этим событием, слали в газеты обоюдные поздравления «с пожеланиями боевых успехов, скорого свидания и возможности крепкого рукопожатия у Кремлевских ворот».

Любовная история Вяземского волновала офицерские души. У капитана Митропольского рождались, но долго не ложились на бумагу, строки:

Ты в тихий сад звала меня из школы
Под старый вяз, на низкую скамью.
Ты приходила девушкой веселой
В студенческую комнату мою.

И злому, непокорному мальчишке,
Копившему надменные стихи,
В ребячье сердце вкладывала вспышки
Тяжёлой, тёмной музыки стихий.

Его бронепоезд стальным чудовищем перемещался по насто-
роженным пространствам, он подносил бинокль к отрешенным
глазам, но видел не то, что было перед ним, а то, что в нём было.

И в те часы тепло твоих ладоней
И свежий холод непокорных губ
Казались мне лазурней и бездонней
Венецианских голубых лагун.

И в старой Польше, вкапываясь в глину,
Прицелами обшаривая даль,
Под звук, напоминавший окарину,
Я в дымах боя видел – не тебя ль?

И находил, когда стальной кузнечик
Смолкал трещать, все ленты рассказав,
У девушки из польского местечка
Твою улыбку и твои глаза.

С началом июля 1919 года военное счастье изменяет Белой Армии. Иначе и быть не могло: свирепая мобилизация красных набирала в свои полки такое пополнение, что они сравнивались со штатными полками старой армии, полки белых по тому же штату равнялись батальонам, а то и ротам.

Когда ж страна в восстаньях обгорала,
Как обгорает карта на свече, –
Ты вывела меня из-за Урала
Рукой, лежащей на моем плече.

Войска Белой Армии покатались назад.

У Арсения Митропольского в душе и стихах много правды, отваги и горечи.

У отступающих неверен глаз,
У отступающих нетверды руки,
Ведь колет сердце ржавая игла
Унылой безнадёжности и скуки.
И слышен в чёткой стукоте колёс
Крик красных партизанов: «Под откос!».
Ты отползал, как разъярённый краб.
Ты пятился, подняв клешни орудий.
Но жаждой жизни сердце обокрав,
И ты рванулся к плачущей запруде
Людей бегущих. Мрачен и жесток,
Давя своих, ты вышел на восток.

В конце марта 1919-го Мандельбаум с братвой, теперь именуемой Ижмо-Печорским полком, бежал из Печорского края. Бежалось тяжело: три тысячи реквизированных у населения подвод везли имущество завоевателей – малицы, савики, швейные машины, граммофоны, никелированные самовары, пимы, шелковые и бархатные ткани и многое другое. На Печоре не было ни одной деревни, не ограбленной Ижмо-Печорским коммунистическим полком.

И тоже – любовь: высокий, статный мадьяр имел молодую и красивую жену. «Грабь награбленное», – причащал ее к учению великого Ленина и подбирал, что больше подходит к ее лицу и фигуре из шуб, платьев, кулонов, сережек, колец, из серебра и золота.

Его арестовали в день пролетарского праздника – 1 мая.

Вологодский ревтрибунал за ошибки, допущенные в проведении линии партии, по случаю второй годовщины Октября и учитывая слабое владение подсудимым русским языком, приговорил товарища Мандельбаума к пяти годам тюремного заключения (условно).

Оставаясь на военной службе, он пребывал комиссаром полков, дивизий, армий, переходил вброд Сиваш, брал Турецкий вал и Ишуньские укрепления, служил в ЦК РКП (б) и в других, менее открытых учреждениях не только в России.

3 июня 1919 года в Омске расстрелян Карой Шандор Лигети.

Иной судьбы он и не ожидал. Его небо чернело и пригибало к земле. В сумраке тюремной камеры он закрывал глаза и видел себя в прошлой, настоящей и будущей жизни. Но больше – в настоящей-будущей. Его настроение, мысли, доверенные запискам на волю, так отражались в моих стихах:

День и ночь всё тот же опрокинут
Надо мною чёрный небосвод.
Молча атакующий противник

Рук убрать с гашетки не даёт.
Не стряхнуть со лба мне прядей мокрых,
Глаз не отвести от цели мне.
Как глухонемой синематограф,
Кадр остановивший на стене.
Напряженье на последнем вдохе.
Не разъять сощуренных ресниц.
Проложила твёрдый курс эпоха
На определение границ.
Тишина прицела не накренит,
Не обманет сердца, заманив.
Лучшее моё стихотворенье –
Двадцать восемь прожитых моих.
Долог бой. Годам передавая
Суть вещей великих и простых,
Через мой окоп передовая
В ваши дни уходит, не остыв.
О другом мне в душу не трезвоньте!
Отблесками схваток и осад
Над её прямой у горизонта
Ломаные молнии висят.

С 21 марта по 1 августа на его родине существовала Венгерская Советская Республика.

Белая Армия голодала и нищенствовала: не хватало обмундирования, белья, обуви, оружия. Командование сначала обращалось с просьбами, а после приказывало населению обеспечивать войска комплектами белья в количестве, зависящем от доходов семей. Сбором вещей для армии в Тюмени занимался Благотворительный комитет, созданный госпожой М. Н. Кубе и княгиней А. В. Голицыной и располагавшийся в доме купца Колокольникова.

Трудности армии отражались на судьбах раненых и больных. Контр-адмирал Рихтер, возглавлявший полевую санитар-

ную инспекцию, предпринимал отчаянные попытки исправить положение, по его рекомендации Колчак издал приказ, в котором говорилось, что из-за недостатка медперсонала раненые и больные подолгу остаются без надлежащего ухода. При подходе санитарных поездов к городам от Омска до Владивостока власти должны были выделять по сто человек, «которые чаем и кипятком смогут напоить раненых и больных», однако это ничуть не меняло дела.

Осенью армию постигло другое бедствие – паразитарные тифы. Генерал Дитерихс, главнокомандующий Восточным фронтом, приказал начальникам гарнизонов, военных сообщений, полевому санинспектору фронта принять все возможные меры для борьбы с этим новым противником: дезинфицировать поезда и вокзалы, устраивать простейшие дезинфекционные камеры, отправлять солдат на фронт лишь после прививок, обеспечить фронт банями-поездами.

Тиф унес десятки тысяч жизней солдат, офицеров и генералов.

Армия стала разносчиком заразы по территории Сибири. По неполным данным ведомства здравоохранения правительства Колчака, по восьми губерниям ее за полгода было зарегистрировано около 35 тысяч заболеваний паразитарными тифами.

Белая Армия по Сибирской железнодорожной магистрали один за другим сдавала города. 8 августа красные вошли в Тюмень. Накануне здесь был Колчак, пытался организовать оборону и отправку множества железнодорожных составов, запрудивших станцию, но ничего сделать не мог, не помогали ни приказы, ни награды – начался развал армии.

Прапорщик Степаненок, офицер 14-го Иртышского Сибирского полка, в обращении к адмиралу Колчаку показывает все грани печальных обстоятельств. Он 2 июля 1919 года сообщает: «Я только что прибыл и решил объяснить Вам, Ваше превосходительство причину... отступления.

Наверное, Вам говорят начальствующие лица, что виноваты в этом солдаты нашей армии, а я скажу, что больше всего вина падает на наше высшее начальство. Командующий армией и командиры некоторых корпусов и дивизий они слишком зазнались и беспечно вели себя, когда наступали мы, и оказали полную неопытность в трудную минуту.

Они знали отлично, что численность штыков в полках была в среднем от 600 до 800 и что полки занимали участки в среднем от 15 до 20 верст; резервов близко никаких не было, достаточно было разбить один полк, и фронт открывался, и чтобы немедленно исправить положение, не ослабляя другие участки, не было возможности; что и случилось в переживаемое время, результаты налицо.

...Можно было еще поправить положение, когда г. Сарапул начали эвакуировать. Ижевцы и воткинцы, видя, что им тоже угрожает, они просили Командующего Южной Группой дать им оружие и они будут защищать свои заводы, это были те самые люди, которые уже дрались наряду с нами против красных, их предложение вначале было отклонено.

Когда же красные взяли город Сарапул и находились в 20 верстах от Ижевска, тогда командиры опомнились, и Козогранди делает воззвание к тем, кто предлагал свои услуги, но было поздно. Хотя ижевцы и откликнулись на воззвание, но их две трети, забрав свое имущество, жен и детей, уже уехали из завода, и оставшимся тоже нужно было спасать семейство. Но все-таки они принялись формироваться...».

Первый крестьянский коммунистический полк Красных орлов возродившейся 29-й дивизии броском от села Исетского до Ялуторовска 17 августа вернул этот город большевикам.

ХII

Редактором газеты 29-й дивизии был будущий знаменитый уральский писатель Павел Петрович Бажов. В его книге очерков «Бойцы первого призыва» есть несколько слов о том времени и о наших местах: «Под Ишимом были напряжен-

ные бои и тяжелые минуты, когда колчаковским карательным отрядам удалось захватить штаб и военкома полка, который теперь был военкомом бригады: тов. Юдин был повешен...». Это о Красных орлах. О Камышловском – побольше. «Быстро откатившись за Урал, колчаковцы задержались на линии реки Тобол и даже пытались организовать контрнаступление. Здесь Камышловскому полку пришлось выдержать немало упорных боев... Потери полка в этих боях были огромны. В некоторых ротах осталось только по пятнадцать-двадцать штыков...».

Огромные потери понесли и войска Третьей армии белых, сражающейся здесь: с 1 сентября по 15 октября она потеряла убитыми и ранеными около одной тысячи офицеров и около двух тысяч солдат. Соотношение, говорящее само за себя.

«...если бы мы тогда получили с тыла обещанных 20 тыс. людей, то красные полчища были бы рассеяны за Тоболом...», – писал в воспоминаниях генерал Сахаров.

К середине сентября 29-я дивизия ушла далеко вперед от Ялуторовска. Полк Красных орлов стоял в 8 верстах от Ишима. Егерский добровольческий полк белых по реке Вагай у Голышманово вышел им в тыл и занятием деревни Глубокая отрезал путь к отступлению. Наводил страх на красных курсирующий по железной дороге у станции Усть-Ламенская бронепоезд, и попытка прорваться здесь им не удалась. Был отдан приказ о переправе вплавь на другой берег Вагая – пришлось затопить большинство пулеметов, винтовок, патронов, обозных повозок.

Штаб дивизии в это время с отрядом конницы и медицинским пунктом располагались в селе Медведево Голышмановской волости. Псаломщик местной церкви, обнаружив, что охрана штаба несовершенна, сообщил о том белым, стоящим рядом, в селе Ражево.

Переодетый под красноармейскую часть: без погон, с красными бантами на груди, белогвардейский эскадрон влетел в Медведево – и началась рубка. Штаб бригады вывели во двор, псаломщик ходил перед шеренгой и указывал пальцем, называя, кто есть кто. Пятерых зарубили на месте, остальных повели в село Мокроусово Курганского уезда к генералу Лохвицкому. Ко-

мандир бригады и комиссар после допроса были повешены на телеграфном столбе в Мокроусово. Командира бригады, офицера старой армии, перед казнью до полусмерти засекли кнутами.

После захвата и уничтожения штаба бригады части белых начали новое продвижение на запад, но оно было недолгим. Через месяц красные, собравшись с силами, пошли в наступление: 4 ноября был взят Ишим, 14-го – Омск.

Четвертая Сибирская стрелковая дивизия, одна из немногих дивизий Белой Армии, проделала весь «Ледовый поход», в начале 1920-го года вышла в Забайкалье. Ее полки поределели в боях – в Приморье она была сведена в 4-й Сибирский стрелковый полк в составе Омского, Ишимского и Барнаульского батальонов. Полк участвовал в войне с народно-революционной армией ДВР до конца 1922 года и прекратил существование на территории Китая.

Арсений Несмелов. «На водоразделе»:

Воет одинокая волчиха
На мерцанье нашего костра.
Серая, не сетуй, замолчи-ка, –
Мы пробудем только до утра.

Мы бежим, отбитые от стаи,
Горечь пьем из полного ковша,
И душа у нас совсем пустая,
Злая, беспощадная душа.

Всходит месяц колдовской иконой, –
Красный факел тлеющей тайги.
Вне пощады мы и вне закона, –
Злую силу дарят нам враги.
Ненавидеть нам не разучиться,
Не остыть от злобы огневой...
Воет одинокая волчица,
Слушает волчицу часовой.

Тошно сердцу от звериных жалоб,
Неизбывен горечи родник...

Не волчиха – родина, пожалуй,
Плачет о детенышах своих.

С открытием 1 июля 1903 года железнодорожной линии Москва – Тихоокеанское побережье через Сибирь и Маньчжурию открылся кратчайший путь из Европы в Азию – Китайско-Восточная железная дорога, знаменитая КВЖД. Административный центр ее – Харбин – стал не только экономическим и культурным центром русской полосы отчуждения, но и всей Маньчжурии, а в 20-е годы XX столетия – центром всего дальневосточного эмигрантского русского рассеяния. Десятки тысяч русских людей разных поколений здесь не только хранили верность традициям отечественной культуры, но и сами вносили посильный вклад в ее развитие.

Послевоенная жизнь Арсения Ивановича Несмелова связана с этим городом, полустанком на пути его жизни, как говорил он, надеясь вернуться. Куда?

Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние, – растёт
Уж лиц не различить на пароходе.
Лишь взмах платка и лишь ответный взмах.
Басовое вздыхание сирены.

Он всегда чувствовал себя сброшенным за борт. За борт Отечества, честь которого он как воин защищал на полях многих сражений. Мечтал вернуться, понимая:

...не возвратится вспять
Тяжелая ревущая громада.

Он и не предпринимал никаких попыток к этому, жил мирно и скромно на литературные гонорары – один из немногих.

Но по ночам – заветную строфу
Боюсь начать, изгнанием подрублен, –
Упорно прорезающий тайфун,
Ты дорог мне, гигант четырехтрубный...

Родина не уходила из его мыслей, из дум и чувств: чужие идеи и чужие люди, разрушившее ее, оставались по-прежнему

его врагами, уже и потому, что в местном магазине распродавалась ее слава и честь.

В ломбарде старого ростовщика,
Нажившего почет и миллионы,
Оповестили стуком молотка
Момент открытия аукциона.
Чего здесь нет! Чего рука нужды
Не собрала на этих полках пыльных?
От генеральской Анненской звезды
До риз с икон и крестиков крестильных.

Былая жизнь, увы, осуждена
В осколках быта, потерявших имя...
Поблескивают тускло ордена,
И в запыленной связке их – Владимир.

Дворянский знак. Рукой ростовщика
Он брошен на лоток аукциона, –
Кусок металла в два золотника,
Тень прошлого и – тема фельетона.

Потрескалась багряная эмаль –
След времени, его непостоянство.
Твоих отличий никому не жаль,
Бездарное последнее дворянство!..

Святой Георгий – белая эмаль,
Простой рисунок. Вспоминаешь кручи
Фортов, бросавших огненную сталь,
Бетон, звеневший в вихре пуль певучих,

И юношу, поднявшего клинок
Над пропастью бетонного колодца,
И белый окровавленный платок
На сабле коменданта – враг сдастся!

Георгий! Он в руках ростовщика!..

Россия жила не только в их воспоминаниях о прошлом, но и заботах о настоящем и будущем ее. «Пять рукопожатий» Арсения Ивановича полны всем этим.

Ты пришёл ко мне проститься. Обнял,
Заглянув в глаза, сказал: «Пора!»
В наше время возрасте подобном
Ехали кадеты и юнкера.

Но не в Константиновское, милый,
Едешь ты. Великий океан
Простирает тысячами мили
До лесов Канады, до полян.

В тех лесах до города большого,
Где окончен университет! –
Потеряем мальчика родного
В иностранце двадцати трёх лет.
Кто осудит? Вологдам и Бийским
Верность сердца стоит ли хранить?
Даже думать станешь по-английски,
По-чужому плакать и любить.

Мы – не то! Куда б ни выгружала
Буря волчью костромскую рать –
Всё же нас и Дурову, пожалуй,
В англичан не выдрессировать.
Пять рукопожатий за неделю.
Разлетится столько юных стай!..
...Мы – умрём, а молодняк поделят –
Франция, Америка, Китай.

Освобождение от японцев Харбина в 1945 году для русско-го населения его имело трагические последствия. Среди тысяч арестованных доблестными чекистами оказался Арсений Ивано-

вич Несмелов. Он и двух шагов не сделал по родной земле: был убит на первом пересыльном этапе в Гродеково, в виду Владивостока.

Его «Броневик» начинался:

У розового здания депо
С подпалинами копоти и грязи,
За самой дальней рельсовой тропой,
Куда и сцепщик с фонарём не лазит, –
Ободранный и загнанный в тупик,
Ржавеет «Каппель», белый броневик.

Вдали перекликаются свистки
Локомотивов... Лязгают форкопы,
Кричат китайцы. И совсем близки
Весёлой жизни путанные тропы;
Но жизнь невозвратно далека
От пушек ржавого броневика.
Они глядят из узких амбразур
Железных башен безнадежным взглядом,
По корпусу углярок, чуть внизу,
Сереет надпись: «Мы – до Петрограда!»
Но явственно стирает непогода
Надежды восемнадцатого года...

И заканчивался:

И рядом с ним – ирония судьбы,
Её громокипящие законы –
Подняв молотосерпные гербы,
Встают на отдых красные вагоны...

Арсений Несмелов за более чем двадцатилетнюю жизнь в Харбине издал пять сборников стихотворений, печатался во всех издававшихся в то время зарубежных дальневосточных альманахах и журналах, кое-что появлялось в советских изданиях и на Западе.

Не стало ни белых, ни красных.
Великой, единой, неделимой России не стало.
Остались воспоминания, стихи и песни.

Все теперь против нас,
Будто мы и креста не носили,
Будто аспиды мы басурманской крови.
Даже места нам нет
В ошалевшей от горя России,
И Господь не поможет, зови не зови.
Мы ночами не спим,
Под мундирами прячем обиды,
Ждем холопскую пулю пониже петлиц.
Скоро год, как Тобольск
Отзвонил по царю панихиду
И предали анафеме грязное имя убийц...

Карою Лигети в Омске и Будапеште поставлены памятники. Над могилой Арсения Несмелова – ни креста, ни камня. И где она – неизвестно.

РУССКАЯ ВЕНЕСУЭЛА

I

Его пустили в Россию лишь на празднование тысячелетия крещения Руси. До этого сколько ни предпринимал он попыток, каждый раз во въездной визе отказывали: все-таки Ордовский-Танаевский – внук последнего губернатора Тобольска.

В Абалакском монастыре владыка Феодосий представил нас друг другу, мы раскланялись, и этим знакомство ограничилось.

Я тогда больше времени провел с Алешей Лихаревым-Мусатовым, кришнаитом в рубище, деревянные амулеты на вервие веригами висели на его шее. Истоптанные сандалеты не отвлекали от мысли, что он бос.

Алеша пытался склонить меня к своей вере, просил запросто заходить к нему в Москве на Нижнюю Первомайскую – у него целые альбомы писем, статей, фотографий, еще нигде не опубликованных, из времен, меня интересующих.

Он прямой потомок декабриста.

Владимир Николаевич Лихарев, подпоручик квартирмейстерской части, член Южного общества, был приговорен к двум годам каторжных работ, по отбывании которых его перевели из Читы на поселение в Кондинск Тобольской губернии, что ныне поселок Октябрьское. Из Кондинска – в Курган, из Кургана – в Тобольск и обратно, а в 1837 году по высочайшему указу – рядовым на Кавказ.

На Кавказе рядовой Лихарев – на короткой ноге с поручиком Лермонтовым. В резне на чеченской реке Валерик, описанной потом, они были вместе. «Сражение подходило к концу, – пишет современник, – и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле, и часто в жару спора неосторожно останавливались... В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навывлет, и он упал навзничь».

На Нижней Первомайской я еще не бывал.

II

Через год в Тобольске проходил фестиваль ансамблей народной самодеятельности, прибывших со всех концов Советского Союза. Мне кажется, не без активного вмешательства Ордовского-Танаевского.

Седой и поджарый, он стоял посреди кремлевского двора с камерой на плече, снимал все подряд, а на подмостках ходуном ходило народное искусство: плясало, пело, разговаривало прибаутками.

Однажды впущенный в Россию, он не покинул ее, задержался на год, у него оказалось здесь много дел, в том числе и открытие филиала фармацевтической фирмы «Ростикинтернационале», названной так в честь сына Ростислава, с центром в Каракасе, Венесуэла.

Я остановился поодаль, он увидел меня и кивнул, мол, подходи.

Темно-синий однотонный пиджак, темно-синий однотонный галстук, светло-серые брюки.

Он передал камеру своему спутнику.

– Ну вот, – сказал, освободившись, – миллионов двадцать мной уже заработаны.

Я удивился, мы не были научены видеть в этом миллионы. Их видело государство, но нам не показывало.

Он прост и легок. Вадим Николаевич Ордовский-Танаевский, гражданин Венесуэлы, разговор с ним летуч, его русский язык безукоризнен.

Рассказывает и комментирует некоторые события своей жизни, а, кажется, мимоходом наставляет тебя на путь истины, предостерегает:

– На час ума не достанет, а дураком прослывешь навсегда.

Он женат на испанке, но русскому, говорит, жениться надо на русской.

– Нас в Венесуэле около трех тысяч, два православных священника при трех храмах. Священники – люди в возрасте, замены им мы не видим, ее просто нет.

Наш разговор снимает телевидение, пишет радио.

– А верно, – спрашиваю я, – что Венесуэла живет под российским флагом? (Мы тогда жили под советским).

– Не очень. Верхняя желтая полоса на желто-сине-красном флаге Венесуэлы быстро выцветает, и мы действительно начинаем ходить под российским.

III

Российское в венесуэльской символике неспроста.

Двести с небольшим лет назад, в сентябре 1786 года, с борта турецкого парусника на пирс Херсона сошел Франсиско де Миранда – будущий национальный герой Венесуэлы, депутат Национального собрания ее, генералиссимус, возглавивший вооруженные силы республики в последнем сражении с испанцами. Его поныне называют Предтечей, в честь него в Пантеоне войны за независимость в Каракасе сооружена символическая гробница, утвержден государственный орден и назван один из штатов страны.

В Херсоне он в считанные дни становится близким знакомым капитана первого ранга Николая Семеновича Мордвинова, начальника морского арсенала, старшего члена Черноморского адмиралтейства, будущего морского министра, и генерал-майора князя Андрея Ивановича Вяземского, заместителя командующего войсками на земле Таврии. Князь в здешних местах недавно – странствовал по заграницам, в Ирландии влюбился в замужнюю женщину, добился развода и увез ее с собою. Будущий русский поэт Петр Андреевич Вяземский – их сын.

Новоявленная русская княгиня была племянницей графа Александра О'Рейли, сделавшего карьеру на испанской службе. Подполковник Франсиско де Миранда состоял под его началом, но не открыл кня-

гине этой маленькой своей тайны: он был в бегах. Генерал О'Рейли защищал интересы испанской короны, подполковник Миранда хотел освобождения от нее своей страны – Венесуэлы. Любопытствующим разъясняет, что путешествует по Европе для ознакомления с государственным устройством разных стран, с особенностями их армий.

Его знакомят со всеми тогдашними знаменитостями: Потемкиным, де Рибасом, на торжественном обеде у Вяземских он сидит за одним столом с генерал-аншефом Суворовым. Российская императрица осматривает свои новые земли – Новороссию: испанский подполковник оказывается среди встречающих Екатерину Великую, включается в ее свиту и отбывает с нею в Петербург.

– Этот тип людей мне нравится, – отзывается о нем императрица.

По Европе ползут слухи: у Великой – новый любовник.

Вслед за слухами пришло уведомление, что подполковник Миранда является злостным врагом Мадридского двора и разыскивается правительством.

Ему пришлось оставить Россию, императрица способствовала его успеху всюду – он не попадался в ловушки, расставленные секретными службами. Она много знала и много могла.

Франсиско де Миранда – Екатерине II

«Государыня!

Да позволит мне в. и. в-во еще раз засвидетельствовать мою глубокую признательность и нерушимую преданность, присоединив мой слабый голос к хвалам всех просвещенных и мыслящих людей по поводу знатных успехов и блестящих побед, увенчавших войска в. и. в-ва, кои на веки обессмертят Ваше царствование и память о Вас.

С тех пор, как имел честь писать в. в-ву, чувство долга и надежда помочь родине постоянно удерживали меня в Англии. Именно поэтому я не явился под знамена или ко двору в. в-ва, чтобы возместить хотя бы малую толику того, чем бесконечно обязан России. Но, как мог Вам засвидетельствовать г-н граф Воронцов, мои желания во всем, что касается пользы и личной славы в. и. в-ва, остаются все так же горячи. Побуждаемый ими, я раздобыл весьма интересные документы, принадлежащие перу фельдмаршала Кей-

та, выдающегося человека, в прошлом верного слуги России, который написал их во славу сей нации и во имя благополучия рода человеческого, от кого я их получил для передачи в руки в. и. в-ва.».

А все было просто: испанцы становились на пути продвижения русских в Северной Америке, возможные волнения в одной из ее колоний поколебали бы устойчивость Мадрида на американском континенте, шансы российской короны намного бы возросли, а осуществи подполковник свои планы, власть императрицы имела бы силу и в Южной Америке.

...Цвета национального флага Венесуэлы вывезены Франсиско де Мирандой из России.

Вадим Николаевич родился в Югославии, долгое время жил там, в годы войны служил офицером в ее армии, в Венесуэлу переехал в послевоенные годы и рассказанную мной историю не знал.

Он умер в следующем году.

Ролик с его интервью оказался частной собственностью и по телевидению не был показан.

ВСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Воспоминания старой женщины*

У бабушки только дедушка не внук

I

Детство моё было и горькое, и радостное: где получше, чем у других, где похуже, да много хуже. Но и у других жизнь разная: одни богатые, но и работают много, другие победнее, но и работают поменьше, третьи живут совсем бедно, но у них и заботы никакой. Детям их-то, бывало, и завидуешь: гуляют целыми днями, а день солнечный, летний – и все они моего возраста.

У зажиточных и работник есть, и на уборку хлеба жнецов нанимают за сноп в день, и все же мои сверстники не работают, как я – с 5-6 лет нянчусь с сестренкой и братишкой, родители в поле, а мне наказ: смотри за детьми, смотри, чтобы свиньи в огород не попали, чтобы, когда пойдет стадо с пастбища, загнала теленка в загородку, а то молоко у коровы высосет.

Первое худо – худой разум. Это потом понимаешь: работать не заставят, так и есть не посадят. Когда мы с братишкой и сестренкой пьем молоко, а на нас с завистью смотрят, кто столько гуляет, думаешь: как хорошо, что у нас есть корова, хозяйство! А если к празднику за прилежание родители купят спидничку-юбочку, тут уж радости нет конца.

*Воспоминания Татьяны Николаевны Белим
(1907 – 1993)

В семь лет – я уже помощница матери, старший тремя годами брат – помощник отцу. К этому времени прибавляется еще сестренка, с нею надо водиться, а на твоих плечах еще огород и корова.

А тут германская война, 1914 год, отца забирают в солдаты, старшим в семье остается десятилетний брат.

II

Мы украинцы из Черниговской губернии, живем в Приморском крае, в Черниговском уезде, в деревне Дмитровке.

Отец воевал недолго, был ранен в ногу, из госпиталя его отпустили домой.

В деревне у нас родни много: дедушка с бабушкой, дядя, тетя, двоюродный брат – то иногда дров привезут, то сена. Вернулся отец – брата отдали в школу, а потом и меня. Я закончила четыре класса. Училась хорошо и с охотой, но на четырех классах учеба и закончилась: надо было учить младших, идущих за мной.

По возвращении из госпиталя отец работал в сборне, теперь называется сельсовет, работал-служил писарем-секретарем. И вот он приходит однажды, ставит в красном углу скамейку, поднимается на нее и срывает портрет царя, бросает в печку.

– Боже мой, что ты делаешь! – обомлела мама.

Отец сказал, что революция, что царь свергнут.

Вот и выходит правда: царь да нищий без товарищей. Мать скрестила на груди руки:

– Что же теперь будет? Германец нас задушит...

С той поры началось: мальчишки перестали сидеть на уроках закона Божия, убегали, оставались одни девчонки, дома отец смеялся, а мать плакала и уговаривала моего старшего брата слушать батюшку и уроков не покидать. Пугала нас всякими господними карами, а мы разъединились: мальчишки держали сторону отца, девочки – сторону матери, молились, как она, перед едой и после, благодарили Бога, что насытил нас.

Мать у меня сердечница, часто болела, месяцами лежала в постели, доктора-фельдшера в селе нет, а из района они к нам не ездили. Отец сам возил ее туда, но от лечения толку было мало – порошки дадут, и на том все лечение.

Без врачебной помощи умирали у нас взрослые и дети, никто не спрашивал справки врача, когда хоронили. Но обязательно всех жителей крестили и отпевали. Дедушка очень любил моего старшего брата и, хотя к учению тот относился не очень хорошо, настоял, чтобы его учили, сам отвез в район и устроил в 5-й класс, а школа была шестилетка, после которой стал учить брата в техническом училище, в общем, взял его на свое содержание, так как и сам дедушка, и дядя, брат отца, жили богато, имели мельницу.

Дедушка про девочек говорил: «Зачем их учить? Это чужа худоба». Что значило: мол, выйдут замуж, уйдут в чужую сторону, зачем на них деньги тратить? А сыновья приводят в дом работниц, и на сыновей дают землю.

В летнее время пастух выгонял стадо в 4 часа утра. К этому часу нужно было подоить корову. В других семьях здоровые мамы, есть бабушки, а я такая разнесчастная. Сестра подо мной везучая – ее учат, ей все равно, когда гонят стадо...

III

А время тревожное, в селе то партизаны, то семеновцы, то белые, то красные. Придут белые – секут мужчин, добиваются, где партизаны. А партизаны тут как тут, в засаде, нападают на белых то из лесочка, то из садочка. Перестрелки почти каждый день, убитые с обеих сторон, живем под страхом.

Был такой страшный случай. Умер у соседа сын – мальчишка. Собрались люди хоронить, а тут верховые казаки прискакали, окружили их и ну хлестать плетками – что за сбор? Мать ребенка в ноги, целует стремя, плачет, просит разрешения похоронить сыночка. А казаку что? Сказывай, где партизаны, а то засеку. Люди кто куда разбежались, казаки забрали хозяина от гроба, повели по селу: в каком, дескать, доме партизаны та-

ятся? А партизаны залпом из засады как ударят! Один слетел с коня, а под другим конь упал. Остальные назад в галоп. Сосед побежал домой.

Убитых разоружили, похоронили, как собак, в одной яме. На второй день понесли родители покойника в церковь отпевать, но поп не успел довершить службы – налетели красные: стрельба. Крики. Поп выдворил всех из храма и закрыл за ними двери.

Из деревни ушли – убежали все. Только утром родители унесли из церкви гроб на кладбище и сами похоронили своего ребенка. По церковным законам такого делать нельзя – грех.

IV

В июне 1918 года папу моего избрали от сельского общества на какой-то съезд во Владивосток. По совету и настоянию своей сестры он взял меня с собой посмотреть город и провести моих двоюродных братьев и сестер: там жили два брата матери...

Приехали мы во Владивосток, отец в тот же день ушел туда, где у них должен быть съезд. Двоюродная сестра повела меня в город, говорила: «Вот здесь сейчас твой папа». Здание большое, у входа два льва. Я даже притронуться к ним боялась. На второй или третий день мы опять пошли в город. Вдруг задрожала земля под ногами, загудели заводские гудки – в порт входили иностранные корабли. Вдруг исчезли трамваи и автомобили, на магазинах закрылись железные шторы-ставни, и началась стрельба. Страшная. Мы прижались к стене какого-то здания, и обе плачем, ревом. Тут подбегает к нам старик, кричит: «Уходите с улицы! Видите – война!» И показал, куда нам бежать, чтоб не попасть под пули. Но мы не туда, а перебежками, бегом-бегом домой. Добежали, а отец стоит уже с вещами, торопит меня: «Скорей, скорей!» Мы пошли на Первую речку, точнее, побежали, чтобы успеть на поезд. Успели. Здесь перестрелки не было. Только зашли, и поезд тронулся. Мы заняли свои места, но доехали до Второй речки и остановились. Долго стояли,

люди выходят из вагонов, такие же, как папа, делегаты, собираются в кучки, о чем-то судят-рядят, а тут объявляют, что поезд дальше не пойдет – большевики отступили и разобрали железнодорожный путь впереди.

В городе гремела стрельба. Из наших краев оказалось шесть человек. Решили домой идти лесами пешком. Но отцу надо было вернуть меня назад к своим городским родственникам. Попутчики остались его ждать. Он привел меня, отдал тете все свои деньги.

– Не плачь, – утешал, – скоро все уладится, большевики выгонят интервентов, и я приеду за тобой.

Это скоро для меня оказалось тремя месяцами – бесконечной жизнью.

V

Тут я узнала, что есть тюрьма. Она стояла совсем недалеко – на той же улице, где жил дядя. Каждый день туда вели арестованных. Слушала, как поют заключенные, особенно на четвертом этаже, слушала и плакала: вдруг там мой папа? В городе появились американцы, англичане, чехословаки. Их суда стояли на рейде, а как какой загудит – земля дрожит. Когда по городу везли руководителя большевиков Суханова, с некоторых балконов ему бросали цветы, а еще по улице ехал на белом коне, сам во всем белом царский генерал Ланговой. Ему тоже цветы бросали, но меньше. После того, как красноармейцы ушли из города, отступили в леса, стали хоронить их убитых. У кого из них оказывались родственники, тех хоронили на кладбище. Когда стали опускать гробы, кто-то поднял красное знамя, а кто-то запел: «Вы жертвою пали...» Тут раздались выстрелы, и все бросились врассыпную. Я тоже бежала куда глаза глядят со своими двоюродными братьями и сестрами. Благо, мои владивостокские родственники жили рядом с кладбищем. А вот тетя пришла только ночью. Она принимала участие в похоронах. К ней иногда приходил матрос какой-то, они закрывались в ком-

нате и долго о чем-то говорили. Однажды мы с сестрой увидели, что он передал ей какой-то сверточек, она положила его под подушку. Мы улучили минутку и заглянули туда: нет ли там чего вкусенького. Но там были знамя и листовки.

После этого случая убитых хоронили возле тюрьмы в одной большой яме. Привозили их китайцы на телегах, опрокидывали в яму, а тех, кто подавал признаки жизни, добивали, чтобы не зарывать живыми. Приводило нас сюда наше детское любопытство, а потом ночью не спалось. Я молча плакала, где мой папа? А тетя с дядей меня ругали: зачем бегаешь, где не следует. А я бегала. И не только бегала, но и ездила.

Напротив дядиной землянухи стоял двухэтажный дом. В нем жило много семей. К одной из них ездил на автомашине чех в военных чинах. В той семье были мальчик с девочкой такого же возраста, как мы с двоюродным братом. Вообще, в том дворе было много детей. Мы все стали просить дяденьку-чеха, чтобы он покатал нас. И однажды вечером он согласился. Побросал нас в машину и поехал. Я испугалась: как же — он чех, наш враг (так говорили мои дядя и тетя). Но когда Маня, девочка из семьи, в которую он ездил, села рядом с ним, успокоилась. Он повез нас с нашей Читинской улицы по Китайской до Светланской и обратно. Вот уж когда я была счастлива! Хотелось лететь домой и рассказать всем, что я не только видела машину, но и каталась на ней.

VI

Мои двоюродные братья и сестры повели меня посмотреть, как китайцы обучают маленьких детей-акробатов. Говорят, «под куполом цирка», а это был балаган, изнутри весь перепутанный веревками, по которым вверх и вниз карабкались маленькие дети, совсем маленькие, много меньше нас. Китайцы кричали на них, а они громко плакали. Я только взглянула наверх — и в слезы, стало жалко этих детей. Бегом пустилась домой и больше там не бывала.

Вот сегодня прочла в «Советской России» письмо А. А. Фадеева к А. Ф. Колесниковой с воспоминаниями о жизни во Владивостоке и встретила название улицы, на которой они в одном дворе жили, – Комаровская, и вспомнила эту улицу. Мы ездили на катере к тете, которая жила на мысе Чуркина. У нее муж погиб на войне, она осталась одна с тремя детьми и жила хозяйством: корова, куры и огород. Она накормила нас досыта, нагрозила всем, чтоб домой увезли. Вернулись, а на пристани столько народу было, что я потеряла своих. Отбилась от ребят и пошла бегать по городу да плакать. Кто спросит, чего девочка плачешь – я еще сильнее в рев и убежать. Выбежала на какую-то улицу. Дома стоят крылечками к тротуарам, и двери открыты, а внутри столы, накрытые белым. В одном таком доме, смотрю, сидит за столом наш знакомый чех, а перед ним ходит почти раздетая японка. Я испугалась и стала кричать в голос. Какая-то женщина схватила меня за руку и спрашивает: «Ты куда бежишь?» Я вырвалась, плачу, но все-таки отвечаю: «Домой». – «А где твой дом?» – «На Читинской». – «А номер какой?» Отвечаю: «Не знаю». Я на самом деле не знала, что существуют на домах номера. У нас в деревне их не было, как не было и названий улиц – назывались по фамилиям: каких на улице больше, такими и называются.

Женщина держит меня за руку, не отпускает, но ведет на Читинскую.

Тут я увидела кладбище, на котором хоронили убитых большевиков, вырвала руку, закричала: «Теперь я знаю, где дом».

Прибежала зареванная, даже говорить не могла. А дома одна тетя, такая же зареванная, – все остальные в поисках: не только братья-сестры, но вообще все родственники во Владивостоке. Я рассказала, где была и что видела. Тетя перекрестилась и сказала: «Это хорошо, это твое счастье, что такая добрая старуха тебя увела с той улицы».

– Вы знаете, она бегала по Комаровской, – сказала тетя, когда все собрались, и все стали смеяться.

– Куплю я вам завтра билеты в «Иллюзион», – почему-то расщедрился дядя. – Пойдете еще кое-что посмотрите.

И это чудо я посмотрела впервые в жизни. Конечно, понравилось. Потом до двадцать восьмого года не видела, а в двадцать восьмом привезли к нам в село в первый раз кино «Бабы рязанские». И показывали в школе, в самом большом классе. Я уже имела двоих детей, и второй год нас называли красноармейской семьей. Зашла ко мне жена моего брата, тоже красноармейка: пойдем, дескать, в школу, какое-то кино привезли, посмотрим. По правде говоря, я уже забыла, что видела иллюзион, а он теперь «кино» назывался. Попросила соседскую девочку посмотреть за моими мальчиками, и мы отправились в школу. Уселись за первые парты. А тут по экрану пошел паровоз и совсем как будто на нас. Я хоть только встрепенулась, а соседки мои стали кричать: «Спасите! Ратуйте!».

Кричала треть класса, другая треть вообще убежала.

Мое гощение во Владивостоке закончилось тем, что приехала мама, забрала меня, и вновь началось мое деревенское житье-бытье.

Отец тогда благополучно добрался до дома. Жизнь в нашем селе была, как тогда говорили, ничья: японцы стояли в уездном центре, к нам приезжали изредка.

VII

До июня 1919 японцы не решались стоять гарнизонами в селах, а может, необходимости такой не было, но к июню столько развелось грабителей-мародеров в наших краях – и все под видом партизан-большевиков, и все насилия да убийства. В уезде вырезали семью священника – его самого зарезали, жену, шестерых детей, да еще старшая дочь погостить к ним приехала с двумя детьми, да еще сторожа в сторожке. Говорят, искали золото, деньги... Священник нашей церкви преподавал в школе закон Божий, матушка тоже учительствовала, у них был сын,

который где-то служил, иногда приезжал к родителям при оружии и в эполетах, как тогда говорили. После случая в уезде они сразу уехали из села, бросили церковь. На их место приехал другой поп – с матушкой и семьей детьми – голытьба голытьбой. В июне 1919-го к ним тоже наведались большевики-партизаны. А у них, кроме детей, нечего взять. Так они при детях и жене убили священника, забрали последние тряпки и исчезли. Утром взрослые поповские дети убежали в уезд с жалобой на невозможность жизни в таких условиях. Вот тогда и появились, обосновались в нашем селе японцы. Заняли под штаб школу, началась жизнь под японцами.

Всем взрослым мужчинам, начиная с 16 лет, выдали нанай – дощечку величиной с ладонь, на ней фамилия, имя, отчество владельца, он должен был всегда иметь ее при себе, а в доме этот документ полагалось держать на полочке над дверью: по их приказу они были сделаны в каждом доме, у всех – одинаково.

С 8 утра до 8 вечера можно было свободно ходить по селу, работать в поле. После 8 вечера все должны быть дома, а если это время застало в поле, то оставайся там с ночевкой. Ни ходить, ни ездить по селу после означенного часа нельзя – забирают в штаб, до утра запирают в лежачий деревянный ящик, а утром через переводчика разбираются: кто, зачем, куда, не бурсука ли (так они большевиков называли по-своему). Если человек оказывался невиновным, кормили рисовой кашей и отпускали, виновных, прежде чем отпустить, били палками.

Если кого-нибудь им надо остановить на улице, командуют: «Русь, той!» Только и знали: русь, той, бурсука.

Такие смешные вояки: ходят по селу, низенькие, с винтовками наизготовку – штык вперед, в телегах и санях сидят так же, руки заняты, струю из носа вытереть не могут – плывет через губы. У нас их называли макаки.

Мой дядя – брат матери – и его друг, сосед напротив, были в партизанах. Большой огород соседей задами уходил к лесу и

кладбищу. Вот они и проходили через них в дом соседей, а как стемнеет – шли через дорогу к нам. Это случалось нечасто, но случалось. Сидим мы как-то с ними за столом, ужинаем, веселый разговор о том о сем, нам, кто помладше, говорят: кушать и спать, старший Костя, ему 15, сидит на равных со всеми, подмигивает мелюзге. Не успели мы поужинать, мать взглянула в окно, а там идут к нам японцы: наши партизаны мигом в окно, только их и видели. Японцы вошли: давай писаки – так они ту деревянную дощечку называли. Им показали, они поулыбались, покивали головой и ушли. А мама с папой всю ночь переживали – не попались бы им в руки ребята. Но все обошлось.

Японцы протянули из уезда в село телефон (у нас его сроду не было). Провода, где лес, тянули по деревьям, где леса нет – тянули по колышкам высотой метр-полтора, а в селе – по заборам. Наши сельские партизаны-заговорщики, а среди них мой Костя первый, резали их, находили за селом безопасное место и резали. Но это летом, зимой Костя учился в уезде, а без него ребята трусили.

VIII

Костя с другом решили уехать в Советскую Россию, как тогда говорили. Это Дальний Восток под японцами, а за Байкалом – Россия, где ни царской, ни семеновской, ни колчаковской власти нет – все это только здесь. Вот и решили бежать туда.

У Кости всегда водились деньги – дедушка с дядьями давали, он купил два нагана – себе и другу, свой отдал мне на хранение. Когда собрался в Россию, пригрозил, чтобы я его держала в сохранности. Родители об его решении уехать ничего не знали. Это было зимой 1920 или 1921 года.

Утром я запрягла лошадей, отвезла его на станцию – это в 10 верстах от нас. Костя будто бы после каникул был, дядя ему даже на ремонт барометр отдал: все же в техническом училище учится. Мы подъехали к станции, друг его уже был там. И как

раз подошел поезд: Костя взял сумку с продуктами, полетел к вагону, а барометр оставил в санях.

– Костя! – кричу я ему. – Ты оставил...

Он все понял и без крика моего:

– Скажи, что забыл. – И они укатили.

Я вернулась домой, распрягла лошадь, а барометр занесла в сени, спрятала среди всякого хлама. А на следующий день – масленица, кругом гулянки, стар и мал катаются с катушек, кто во что горазд. Но в нашем селе не санки в уважении, а замороженные коровьи лепешки с веревочкой, чтобы тягать.

Отца нет, больная мать на печке. Я управилась, а тут приходит подруга, любовь Кости, и говорит:

– Ты сказала родителям, куда твой братец направился?

– Не сказала, – отвечаю.

Тогда она к печке:

– Ирина Владимировна! Костя уехал в Советскую Россию, в армию, а оттуда придет добывать японцев!

А сама плачет. И я плачу. Мать спустилась с печки.

– Ты откуда знаешь?! Говори.

Подружка и выложила все:

– Да уехали они, уехали, а куда, сами знаете.

Мама бежит в сборню к отцу. Он не верит. Мама – казачка, лошадей запрягает, чтобы ехать в Никольск-Уссурийский, наш город ближний.

Отец набросился на меня:

– Ты все знала, почему молчала?

А сам через дорогу к дому напротив, к родителям друга Кости. Там все спокойно.

– Где сын?

– Уехал на работу устраиваться в Никольск-Уссурийск.

Отец рассказал, в какой Уссурийск он уехал. Все они решили отправиться на лошадях в Спасск, мама поездом туда же, я увезла ее на вокзал. И остались ждать встречный.

– Если увидишь ребят, не пускай, скажи, что в Спасске их ждут отцы, пусть слазят, – наказала мама.

Так и вышло. Пришел встречный, они, субчики, выглядывают из окна, как зайчики. Я им кричу:

– Сходите!

А они руками машут, мол, до свиданья!

Вернулись отцы, мать вернулась, а их нет – лишь через неделю явились. Голодные и холодные. Вот и скажешь: разумником поп крестил, да не тем он слывет. Дед у нас строгий, всегда покрикивал, когда заходил: то это не так, то другое. Мы думали, что дед прибьет Костю, а он только и сказал: «Вернулся, слава Богу!» Но на этом учеба братнина кончилась. Я с 19-го года ездила с отцом в лес, пилила деревья на дрова, распиливала их, грузила на сани. Теперь все это вместе с нами стал делать и старший брат, хотя мне с ним не легче, а горше стало: он больше покрикивал: давай, давай. Лихой работник был. А тут такой случай. Зимой молока нет, крынки пустые. В одной из них я прятала братнин наган, замотав его в тряпку, и держала в коридоре на полочке. Соседями в нашей стороне улицы были старик со старухой. Какие-то приезжие – муж и жена – сняли у них хату, взяли себе работницу и открыли прием молока у крестьян. Работница пропускает его через сепаратор, обрат отдает хозяйке, а сливки взвешивает и тут же платит за них. Потом сливки взбивают в масло, везут продавать в уезд. Но так продолжалось недолго: грабители-то куда не девались. В одну ближайшую ночь их ограбили: забрали богатые шубы, деньги. Хозяин обратился за помощью к японцам. Те стали делать повальный обыск, искали не только в домах, но и в дворовых постройках. Перевернули каждый навильник сена или соломы – ни у кого ничего не нашли. Но когда копались у нас в доме и во дворе, я вся тряслась от страха: что будет, если найдут наган? Но все обошлось. Я тайком вынула его из крынки, протерла керосином, обернула бумагой и тряпкой и заткнула в соломенную крышу.

А брат о нем даже не вспоминал.

IX

Вырастили-выходили мы бычка до трех лет и продали зимой для тягла другому хозяину, у него свой такой же был – покупал потому, что рабочие волы ходили в паре. Японские деньги кто называл рублями, кто долларами. Бычка мы продали за девяносто долларов. Они железные – на одной стороне голова какого-то японца, на другой – какой-то герб. Отец отставил карман пиджака, а покупатель бросал их туда. Мы стояли рядом и ротозейничали, считали: один, два, три... девяносто. Но покупатель запросил один доллар обратно – такой порядок.

Мама потом возмущалась – такими деньгами разбрасываемся! Отец засобирился в город купить что-нибудь: нас пятеро, всем обуться-одеться надо. Я отвезла его на станцию, домой вернулась затемно, распрягла лошадь, поужинала и спать.

А ночью стук в дверь. Мать к окну: на крыльце стоят трое. Разбудила меня – я ведь старшая: отец в городе, брат на учебе. Мы видим – стоят трое и стучат.

– Кто? – спрашивает мать.

– Открывай! – командуют.

Ну что нам делать – все равно будут ломиться. У меня в руках пузырек с керосином – моргунец, при нем мы вязали и пряли, лампы семилинейные – это для праздников.

– Лампу зажечь? – спрашивает мать.

– Не надо! – говорят. Входят и сразу: – Где хозяин?

– В городе, – отвечает мать. – Уехал за покупками.

Мы поняли, зачем они пришли. Но они стали всюду шариться, в первую очередь в мамином сундуке. Убедились, что ни отца, ни денег нет, и спрашивают:

– А где у него оружие? Наган?

– У него была централка, – отвечает мать, – но он давно ее продал.

Они опять стали все перебирать в доме, искать за иконами – их у нас было много.

– Где отец прячет оружие? – спросил меня один из грабителей и замахнулся плеткой.

– В заднице.

Я отскочила в сторону, моргунец погас, и удар пришелся по двери.

– Не бей дитыну! – закричала мама.

И попыталась зажечь лампу. Ей не дали этого сделать и ушли, сказав:

– Не зажигай света и не выходи, если хочешь жить.

Мама дала мне подзатыльник за мою храбрость.

Вот так и не пропал задарма наш бык.

На следующий день приехал отец и привез нам всем подарки – обновы.

Потом, когда уже установилась советская власть, в районе раскрыли бандитскую группу, которая все это время действовала под маркой партизан. Сколько людей они погубили – попов, корейцев, тех, кто сопротивлялся им! Суд шел в районе. Я получала за мужа пособие на детей в военкомате и заглянула на этот суд – он проходил в саду, был показательным. И я узнала того, кто хотел когда-то забрать 89 долларов, – и так испугалась! Как будто он мог опять замахнуться на меня плеткой.

Но главное не в этом, а в том, что он уже стал мужем моей тетки – двоюродной сестры отца: она бросила троих детей, мужа и ушла к нему. Мы ничего не знали о новом ее избраннике.

Вот уж летела домой рассказать, кто муж у тети Моти. Им дали срок от 8 до 15 лет заключения. Нашему новому свойственнику – 15.

Тетя Мотя в семью не вернулась, а уехала к родителям. Мой отец сколько уговаривал ее: вернись да вернись к Никите, он все простит, вернись к детям, они по тебе плачут. А она одно:

– Не пойду я к Никите, никогда его не любила, пусть батька идет и живет с ним, зачем меня за него отдал силой?

Папа говорит:

– Так и будешь 15 лет ждать?

– Так и буду.

Вскоре она родила девочку. «Моя отрада», – говорила.

Эк ее вернулся не через 15, а через 8 лет. Стал работать парикмахером. Проработал три года и напрочь отбрил кому-то голову. Его опять за решетку, теперь оказалось, что навсегда.

Не родится вор, а умирает. Тетя Мотя похоронила отца, мать, распродала имущество и уехала жить к дочери.

– Вот и прошел век, – говорила, – но не жалею, что ушла от Никиты, хоть чуть-чуть пожила, но с любимым...

А Никита женился, взял в жены подругу Моти, ее муж, составитель поездов, попал под колеса, погиб... Жили они хорошо, еще одного сына прижили, всех детей воспитали, выучили. Кстати, дети ни разу не приезжали ни к деду-бабе, ни к матери.

Только один раз Никита обратился к Моте за помощью: старшая дочь выходила замуж за летчика, какой муж – военный? Приезжай, отговори.

Она приехала, все расспросила и сказала:

– Моя жизнь пропала потому, что батька отдал за нелюбимого, пусть такого не будет с дочерью, – и благословила ее. И дочь была счастлива.

Х

Как рождено, так и хожено. Брат вернулся домой, взял на себя всю папину работу, а я как занималась своей, так и заниматься осталась.

Это случилось тогда, когда японцы еще не стояли в нашем селе, их гарнизон был в Черниговке, на мукомольне, у самых железнодорожных путей – вагоны туда заходили. Они лишь изредка появлялись у нас ловить бурсука.

Партизаны всегда знали, когда японцы едут к нам – устраивали засады, но не в селе, а в лесу. Иногда делали налеты на мукомольню.

Для своих нужд партизаны брали лошадей у крестьян: кто отдавал добром, поохотятся по всем окрестностям и вернут, а кто отдавал с руганью-бранью – возвращали не всем,

не возвращали и тем, у кого три-четыре лошади. У нас – три: две рабочие коняшки да выездной мерин – быстрый и статный Герой.

Воскресенье. Обед. Всей семьей сидим за столом. Вдруг залаяла собака. Костя выглянул в окно и сказал отцу:

– Максим Горький.

По лесам да горам у нас партизан и грабителей много – среди них и отряд Максима Горького, настоящее имя главаря, наверное, мало кто знал.

Ночами он иногда бывал у нас, о чем-то разговаривал с отцом и уходил. А тут среди бела дня да еще с сопровождающим.

Зашел – со всеми за руку:

– Здравствуйте!

Младшая сестренка Лида почему-то заплакала.

Пригласили за стол.

– Спасибо, – сказал Максим Горький, но отказался и обратился к отцу: – Вот, Николай Андреевич, и до тебя я дошел. Захромал у меня конь, оставим тебе – выходишь. А Героя я заберу.

Отец сам зануздal ему нашего любимца, сам подвел, взял его хромого коняку и, не оглядываясь, пошел в конюшню. Горький вскочил на Героя и дал ходу. Мы все, детвора, заплакали.

Коняшка безвыходно стоял в конюшне целую неделю, мы косили траву, привозили ему в ясли, а потом взяли в поле с собою пасти, он щипал траву, мы пололи пшеницу, вечером возвращались домой.

Накосили травы на ночь своим лошадам, запрягли кобылу. Коняшку Максима Горького, когда ехали сюда, привязали к оглобле. В обратный путь Косте вздумалось почему-то сделать иначе: мол, садись на телегу спиной вперед и держи коня за уздечку.

– Я лучше верхом поеду, – отвечаю.

Но Костя упрямый, все хочет, чтоб по его было.

– Делай, что говорят, – сердится. На соседнем поле стоит его любовь, с детских лет дружат, она собирается стать его женой,

уже верховодит им. Оно, конечно, всякая невеста для своего жениха родится, но зачем она меня недолюбливает, а Костя перед ней выступает, командует мной? И кто она такая? На три года старше, а коров не доит, утром в четыре часа в стадо не выгоняет, верхом ездить не умеет. У нее мать здоровая, три брата женатых, три снохи да еще младший брат... Вот и живет за счет их. А чуть чего соседи станут меня нахвалять – заносится: вот дождусь, придет мое время, ваша Танька будет ходить у меня по одной половице... Скажи гоп, когда перескочишь. Села я на задок телеги, высоко на траве, ноги свесила. Кобыла дернула, а мой коняка стоит как вкопанный, я падаю лицом в землю, конь вырывает повод и дает маху в лес – только пыль поднялась. Подбегает ко мне родной братенек – и со всего размаху по уху, даже кровь пошла, кричит:

– Съела нашего Героя, кто нам теперь его отдаст.

Я в панику и бежать от него.

– Куда?! – кричит Костя. – Иди садись, а то догоню и еще поддам!

Приехали домой. Коняки нет, ухо болит, на Костю жаловаться некому, он для родителей – все. Через месяц Героя нам все-таки вернули, хромого, клячу клячей, но мы его выходили.

XI

Японцы простояли в нашем селе с июня 1919-го до 20 марта 1922 года.

Запрет появляться на улицах после 8 вечера был невыносим для молодежи, особенно зимой. Вот и собиралась она по воскресеньям да праздникам гулять по хатам по очереди, то у девушек, это чаще, то у парней.

И вот гуляют у нас. Близится 8 часов. К молодежи выходит отец – родители всегда предупреждали в таких случаях: мол, время пришло, все по домам, не то японских палок попробуете.

– Заканчивайте, ребята, – говорит отец.

Все ушли, и с ними Костя – вроде проводить возлюбленную, а сам подговорил всех пойти группой по улице, чтобы напугать макак. И напугали.

Японцы как раз обход делали, заметили их и давай стрелять. Все побежали назад, к нам во двор. Костя в дом, остальные огородами кто куда.

На улице остался убитый – наш парень сосед.

Утром его увезли в район и там продержали неделю, потом разрешили родителям забрать – замороженного – его. Сделали фотографию: стоит отец с шапкой в руках возле саней, на которых лежит его убитый сын, а на фотографии написано: «Бурсука».

Эта фотография была развешена по всему селу.

В октябре 1922 года заметались по всей округе белые, стали собирать и куда-то увозить имущество. Засобирались и японцы. Два-три дня мы слышали отдаленные артиллерийские выстрелы, а потом услышали и ружейные близкие. Все это в стороне, где железная дорога. Никто в поле не выезжает, все ждут, что будет. Поля-то в той стороне, где стреляют. Сидим по погребам, чтобы белые не заметили, не прибили ненароком – носятся из конца в конец с пиками наперевес.

Моему младшему брату Мише уже 12 лет, пастушком ходит за стадом.

Сидели-сидели мы в погребам и надумали выгнать скотину на другой край выпаса, где стрельбы не было. Миша с остальными пастушками ушел со стадом, а стрельба усилилась, снаряды стали падать рядом с домами и во дворах. Народ будто растаял – ни души на улицах.

Мама забеспокоилась: как там Миша один на выгонах? – хоть их там шесть человек, и говорит мне:

– Поди разыщи его и кустами домой возвращайтесь.

Я отправилась. Но сначала зашла к соседям – их Ваня был со стадом, может, кто присоединится ко мне. Стучу в дверь погреба, выходит Ванина мама, выслушивает меня и машет обеими руками:

– Бог с тобой, куда! Если убьют, то одного, зачем еще рисковать кем-то? И ты домой возвращайся.

Я вернулась. А мама в крик:

– Иди ищи его немедленно! Что он там один будет?!

Вышла из села, иду лесом-кустами, несу в руках котомку с мамиными гороховыми постряпушками да бутылкой молока. Вышла к убранному полю, к стерне – ни души кругом и коров не видно. Вокруг поля дубки, возле одного я остановилась: куда идти? И вдруг из ближайших кустов:

– Таня!

Бросаются ко мне наши пастушки, облепляют меня. Конечно, я для них старшая – мне 15. Спасительница.

А стрельба уже сюда перекинулась. И дорога забита военными: скачут во все стороны, устанавливают пушки и начинают бить. Но мы далеко от дороги и считаем, что в безопасности. А солнышко уже село, и нас беспокоит, где мы будем ночевать. И тут ко мне приходит помощь – мать одного из пастушонков.

– Нельзя, нельзя здесь находиться, – зачатила она, собирая всех нас руками в одну кучу и толкая впереди себя. Через заимки повела к спалку – к шалашу, похожему на копну сена, но крытому соломой. Мы все в спалке поместились, прижались друг к другу, сидим. Прибежали две собаки – наша и этой женщины. Тут же примостились. Значит, в селе совсем плохо, если собаки оставили его. Вдруг собаки начинают ворчать, и мы услышали далекий крик. Обнимаем, гладим собак, чтоб не лаяли.

А крики уже со всех сторон: «Гони, гони!» – понимаем, что дороги уже всем не хватает, бегут прямо по полю – от нас и соседнего села. Ругань, мат-перемат. Как только наш спалок не растоптали. Слава Богу, пронесло.

Всю ночь в нашем селе шел бой, до нас доносилось «Ура!» и выстрелы. К утру все стихло.

– Идемте домой, – сказала наша спасительница.

Мы вышли из своего прибежища, прошли всего ничего, и тут из кустов: «Стойте!» – и выходят четыре человека, вооружен-

ные, а одеты кто вот что: шинель, пиджак, полушубок, куртка. Мы испугались.

– Кто вы и откуда? – спрашивают.

Мы рассказали, и они обрадовали нас: в селе белых нет. А потом поинтересовались:

– Нет ли чего у вас поесть?

Я только тут вспомнила про свои лепешки. И столько во мне радости стало, что смогу угостить их.

– Слава Богу, двое вернулись! – обрадовался папа, встретив нас в огороде. – А одного еще нет. – Это о Косте.

Двор и дом были полны красноармейцев, точнее, приамурских партизан: кто-то варит картошку в мундире, нарезанную тыкву. Одеты кто во что, кто спит сидя, кто лежа, и всюду – даже в сарае – спят. К ночи они пошли в наступление на Черниговку. Следом появились регулярные войска – эти уже были одеты по форме. Правда, тоже не все. Что нас удивило, так это верблюды. До этого мы их ни разу не видели. Красноармейцы на них перевозили детей – по два меж горбами колыхались. Откуда и чьи дети? Брат тоже благополучно вернулся через неделю. Но коня было не узнать – худющий, с разбитыми ногами.

XII

В конце марта 1923 года нам разрешили со справкой от сельсовета на лошадях ездить в Китай за мануфактурой – по 5 аршин на человека, не больше. Первая партия поехала, купила что кому надо. Тогда и наши решили поехать. Отец и при советской власти опять работал в сельсовете. Проводили нас с братом: ему справка на нашу семью, мне – на семью дяди, брата отца. В общем, получилось шесть человек на двух подводах. Мы – на Герое, а у тех в телегу запряжено две лошади. Уже совсем таяло, под снегом была вода.

Проехали две деревни, а там река Лифа, неширока, неглубока, но катера по ней ходили, где деревни – там мосты через нее. Отступая, белые повзрывали все мосты. Для проезда в уже

замершую реку были положены бревна – получился такой замороженный мост.

Переехали Лифу, еще через четыре деревни проехали и заночевали в большом селе Хороль. Рано утром выехали из него, потому что к обеду надо было быть на границе, а тут едут обратные люди, говорят: запретили проезд в Китай, кругом войска стоят. Что ж, остановились. Только Костя взял с собой напарника – и туда, убедиться. Убедились – нельзя. Несолоно хлебавши повернули назад. Мужички, конечно, в первую попавшую харчевню-кабачок заглянули: торопиться некуда, дескать.

Я осталась с телегами. Ждала-ждала, не вытерпела, зашла к ним:

– Да будет вам, – говорю, – до ночи до Лифы не доедем.

– Нашла чем пугать! – отвечают.

Я к брату. А Костенька мой лыка не вяжет и тоже храбрый, без царя в голове:

– Без сопливых обойдемся.

Дураки да нищие не родом ведутся, а как Бог даст.

Время уж совсем к вечеру шло, когда они вышли, веселые, и давай лошадей гнать, но проехали всего две деревни, как совсем темно стало, да к тому же нам сказали, что прежней дорогой ехать бесполезно – на Лифе лед поднял бревна. Мои мужички постояли, почесали затылки, решили ехать через другую деревню – Халкидон, там есть мост.

Мост действительно стоял, да подступов к нему не было: насыпь еще в сентябре, видать, размыло, а темнота – глаз коли, не видно ни зги. А тут наша пьянь:

– Давай по льду!

– По какому льду! – кричу им. – Река шумит, наверное, ледоход.

А братец мой, как всегда, первый:

– Да пошла ты! – становится на телегу и направляет к реке Героя. Я хватаю за вожжи:

– Нельзя, там ледоход!

Но Костенька понукает коня, спускается по берегу. У самой воды Герой ржет, встает на дыбы и не идет дальше.

– Подожди сено! – кричит Костя. – Ничего не видно.

Стали скручивать жгуты, жечь и увидели: на Лифе льдины ломают одна другую. Потащили телегу назад, а Костя стал сдавать назад Героя, умник.

Что делать? Надо как-то попадать на мост, люди-то попадают, а как туда поднять лошадей и телеги? Распрягайте, хлопцы, коней, только спать не лягайте. Стали на руках поднимать на мост: один стоит там, тянет за повод, а другие сзади понукивают да приподнимают. Так и затолкали все на мост, подняли: запрягли и поехали – вторая сторона моста была пригодной для съезда. На ночлег запросились в большой дом. Было 4 часа утра. Нас пустили, хозяин сказал: «Дивчина зовсим змерзла!» – и завел меня в дом. Пока наши управлялись с подводами, я села возле печки, возле ухватов и кочерги, и сразу уснула.

А проснулась – светло, и уже все поднялись: и хозяин, и ночлежники. Я лежу на лавке, подо мной что-то постелено.

– Ну напугала ты нас, девонька. Думали, померла. И тормозили тебя, и водой брызгали, а ты ни звука. Перенесли сюда, а ты как мертвая и не шевельнулась, – говорила хозяйка.

Я смотрела на нее, мне было тепло и спокойно.

ХІІІ

Сколько было драк в селе – улица на улицу, столько пакостничества: то бахчу вытопчут, то улей меду унесут, а где и гусей, задержавшихся на речке, отловят.

А все Костины ровесники.

Наворуют, наломают, наловят – и продадут кому-нибудь, находились такие покупатели! А ребята на эти деньги – девушкам подарки да сами к водочке приचाщаются. И везде первый Костя, верховод.

Пригласили его в кумовья – крестить ребенка. Отправился он на крещение, там изрядно набрался и стал приставать к куме:

– Та не кума, что под кумом не была.
Но муж с братьями показали ему кузькину мать.
Наутро пришел к нам дедушка, постучал палкой в пол:
– Где твой бузуй? – закричал на папу.
– Что случилось? – удивился папа.
– Что случилось! Ничего не знаешь, ничего не видишь?
Твой разбойник уже к чужим бабам лезет. Посмотри, живой ли лежит, избитый-то?!

Мы к Косте. Он – в постели, натянул одеяло на голову.

– Вставай, сынок, завтракать, – сказал папа.

Костя отвернулся к стене. А когда все ушли, попросил у младшей сестры зеркало. Смотрелся в него и приговаривал: «Вы еще поплатитесь за это!» Так и этак вертел перед зеркалом разбитым лицом.

В селе ни суда, ни милиции усмирять наших драчунов.

На какой-то свадьбе Костя отомстил своим обидчикам, напал на них со своим дружками. Потом крестины – и опять драка. И везде Костя, Костя. Как-то утром приходит дедушка, стучит палкой об пол:

– Когда ты будешь женить своего Янку? – спрашивает у папы.

Янко – это был у нас такой житель, бедный, хатка соломой крыта, все хозяйство – жена да сын, а надел – сто десятин хорошей столыпинской земли по реформе 1911 года. 100 десятин на фамилию давали. У моего дедушки пять братьев, у братьев сыновья и у сыновей сыновья, а все одна фамилия. (На дочерей земли не давали). Вот и вышло на моего папу 12 десятин – это и пахотная земля, и выгон, и покос, и дубки для раскорчевки. А Янко – один. И у него 100 десятин на одного – отруб. Тех, кто владел отрубам, ни на действительную службу не брали, ни на войну: они хлебоборобы, кормильцы государства, от тех, у кого мало земли, и пользы мало – пусть отечество и царя защищают. У меня отец воевал и брат его тоже. А Янко сидел дома, сдавал землю в аренду корейцам и нашим малоземельным, а сам торго-

вал водкой – снимал в богатом доме комнату со входом с улицы, привозил из района водку и торговал. В комнате стол и селетка, тут пили и закусывали, сам продавец тут же пил, закусывал и спал. До того доторговался, что жена с сыном ходят просят кусок хлеба. Установилась советская власть, кабак закрыли, пошел Янко плотничать, что заработает – пропьет. Жена заболела и умерла, а сын пристроился в сельсовете сторожем, сводил кое-как концы с концами. А самого Янко, это его фамилия, имя – Сидор, в посевную нашли несчастного на своей земле в яме с разбитой головой. Тут же и кол лежал. Кто и что – так и не установили. Хмель не плачет, что пьяницу бьют. Вот на что намекал дед, называя Костю Янко.

– Колы ты будешь женить своего Янко? – спрашивал он отца в 1924 году. – Надоело слушать от людей о его проделках. Хватит ему бурлачить.

Бурлачить – у нас значит долго ходить неженатым, а Косте девятнадцать с половиной лет.

– Ну что же, жените, – сказал он.

И вот однажды вечером собрались у нас брат отца и брат матери. Она завернула в полотенце булку хлеба, передала им.

– Куда пойдем? – спросил брат отца.

– До Яценки, – ответил брат матери.

Он знал, что Костя с детских лет дружит с Марией Яценко, какие бы праздничные ни давали ему дедушка, бабушка, дядя – он все их растрачивал на подарки для нее. Эти Яценки – шесть братьев, у каждого свои отруба. Вообще, в селе много этой фамилии, так что даже две Марии Яценки есть.

– Ну что ж, до Яценки так до Ефима Степановича.

Мы замерли в ожидании ответа.

– До Ефима Степановича так до Ефима Степановича. Мне все равно, – ответил брат матери.

Они вышли из дому, мы стали подглядывать: куда пойдут за воротами. Костина девушка жила от нас через четыре двора, но дядя пошел в другую сторону. Я выбежала следом к подружкам:

– Ребята, девочки! Наши свататься пошли к Яценкам!

Костина любовь была тут же – схватила за голову, побежала домой, подняла крик. Мои подружки бросились ее уговаривать, я не побежала, но простила ей то, что она собиралась мной командовать.

Ее родители послали одну из снох уговорить Ефима Степановича не отдавать дочь за Костю: и вор он, и грабитель, и драчун. Не помогло.

Костина первая любовь вышла замуж за первого встречного, родила трех дочерей, вырастила и разошлась с мужем, потому что не любила его. Она и сейчас жива, хоть ей уже под 90. Брат с женой жил вроде бы хорошо, дочь они нажили. Но когда уезжал в армию служить, кому-то шепнул, что к ней не вернется. Так и вышло.

XIV

Нам был запрещен переход границы с Китаем, а китайцы ее переходили свободно, приносили «контробан», так они говорили, – спирт в цинковых бачках, плоских, до полуметра высоты, 10 сантиметров в ширину и в длину сантиметров 25. Приносили спирт, белую ткань на белье и кумач. Продавали все это нам за деньги и на мак меняли. У нас всегда мака ведра два стояло.

И вот заходит «ходя» (так мы называли китайцев), а у него, кроме всего прочего, еще и ситец. Мы его выменяли на мак. Мама довольна, и мы рады – будут новые платья. Но тут зашел дедушка со своей палкой – ковезкой. Он был строг, но не ко всем, вот папу и маму он, например, упрекал постоянно: то не так, другое не этак. Боже избавь им приобрести что-либо без его согласия.

– На пиджаки надо было тратить, не на платья! – застучал он о пол.

– Мои девочки сами вырастили мак – им и платья, – заступается мама. Но он не желает ничего знать и слышать. Как всегда.

Узнает, например, что меня сватали, но я отказала, приходится к нам и стучит своей ковезкой:

– Почему?!

– Мне всего 16! – отвечаю. – Еще не выросла.

– Вот будешь перестаркой, кто на тебя посмотрит?! – грозит он.

У нас тогда и Костя еще не был женат, я говорю о том дедушке, а он:

– Костя-то в подоле не принесет.

Я смеюсь, а мама недовольно отворачивается.

А сваты идут и идут. Пришли даже соседи дедушки. Я им поворот от ворот, не стала разговаривать. А суббота, вечер, на бревнах сидят девчата, поют. Летом бревна – это наш клуб, которых тогда в деревнях и в помине не было.

Сидел и тот парень, за которого сватали, дедушкин сосед. На следующий день – воскресенье, в церкви богослужение идет, все пораньше управляют по хозяйству, чтобы пойти в церковь. Я стою у зеркала, повязываю платок, вижу – заходит дед, но я не подаю вида, что его заметила.

– Ты почему отказала Чечелю? – спрашивает он.

– Потому что он дурак, – отвечаю.

Дед на меня с палкой:

– Если мы будем чембовать (то есть пренебрегать) такими людьми, сами никогда в люди не выйдем.

– Дураки да нищие не родом ведутся, а как Бог даст! – отвечаю.

А он меня палкой. Я убежала на сеновал, там целый день проревела и проспала. Утром с уговорами пришла бабушка, но тут же против встал папа:

– До перестарки ей далеко, успеется. Еще не один Чечель будет, – отец был навеселе. – Кабы всякому по нраву невесту, так и царства небесного не надо.

Бабушка замахала на него руками. Отец в хорошем настроении всегда винился передо мною:

– Мало тебя учили, надо было не Надю посылать в пятый класс, а тебя. Наде не в коня корм.

Учиться не отец меня не пускал, а мама. Я была очень похожа на бабушку, которую мама недолго любила, вместе с ней и меня.

– Нет, нет, – говорила, – какая учеба? Мне нужна помощница.

Маме хотелось выглядеть справедливой передо мной, мы с сестрой даже жребий бросали. Мама взяла две тоненькие палочки – одна короче, другая длиннее – спрятала за спиной. «В какой руке?» Я указала, мне выпала длинная – значит, мне учиться. Но мама не согласна. Берет нитку, разрывает пополам, на одной половинке навязывает два узелка. На втором – три, прячет за спиной. Опять: «В какой руке?» Я показываю, и опять – мне учиться, потому что три узелка указала. Но мама опять не согласилась. В школу пошла Надя. Да как пошла! Осенью надо ехать в район, пришли за нею, а она спряталась в огороде в коноплю, так и не нашли школьницу...

– Ладно, – говорил папа в хорошем настроении, – учиться мы тебе не дали, батрачишь на нас, не разгибая спины, но будешь замуж выходить – не обидим, подарим корову.

Это у всех так заведено: родители на свадьбу дочери дарят корову, сыну – коня.

Отец был щедрым: кроме коровы, обещал подарить мне еще и Мушку. А Мушка – подросток-стригунок от нашей кобылы.

Но когда Костю женили, Мушку продали ему на свадьбу. Мне подарили одну корову. Правда, она и без того была моей. Как-то родители уехали в район на базар, а к нам прибежали пастухи с известием, что телится наша корова. Я на коня, взятого у дедушки, и в лес, на пастбище. А корова дикая, первотелок, не подпускает меня к теленку, еле-еле управилась. Родители вернулись – я им показываю наше пополнение, теленочка, телочку.

– Это будет твоя, – сказал папа. Но когда дошло до дела, стали отдавать не ее, а теленочка от нее. Я расплакалась и все высказала.

– Обещали корову и Мушку, даете только теленка. Я у вас Золушка, мне ничего не надо!

Отдали мне и корову мою, и теленочка.

XV

Теперь там все заболочено – ни реки, ни рыбы.

У деда с дядькой стояла на той реке мельница. А вокруг колчаки, белые да семеновцы. Дед с дядькой ловят рыбу, а к ним подлетают то те, то другие: «Говори, где партизаны?» – и секут нагайками. И один раз, и другой,

– А ну, дед, поди сюда! – говорят в третий.

Дедушка уже знает, зачем зовут, делает вид, что ничего не слышит. Тогда один соскакивает с коня и к нему:

– Ты что, глухой?

Дедушка приставляет ладонь к уху: «Говори громче». А кто-то с коня кричит соскочившему:

– Научи его слышать!

Тот берет дедушкину руку, приставляет к ладони кинжал:

– Говори, где партизаны, назови их фамилии, иначе проткну ладонь.

– Я старый, глухой, – говорит дед, – живу в той хате, второй от речки, – и показывает на какую-то развалюху. – Никуда не хожу, ничего не знаю.

Тот, соскочивший, ударяет по рукояти кинжала – брызжет кровь. Рука проткнута не насквозь, но лето, жара, да пока собирал удочки – рана засорилась, рука долго болела, гноилась, однако дед и в больнице не сказал, отчего у него такая рана, боялся.

Дед партизан всегда называл наши, японцев – чужеземцы, а всех остальных – колчаковцы. Когда в 22-м году к нам пришли советские войска, он крестился: «Слава Богу, наши пришли». А в 1929 году, когда стали раскулачивать его сына, нашего дядюшку, сноха ему и говорит:

– Это, слава Богу, наши оставляют нас без штанов.

На что дед ответил:

– Ну что ж, наверное, так надо, – молча забрал свою старуху, нашу бабушку, увел на квартиру к двум своим одиноким старикам-друзьям...

До этих лет в селе случались драки, и драки страшные, а тут пошли убийства.

В то лето убили председателя сельсовета, он был не наш, сельский, а присланный из района, первый коммунист в нашем селе.

Он ехал на телеге в район, и где-то его подстерегли.

Пошли аресты, закон был такой: за голову одного коммуниста – двадцать голов населения.

Арестовали двадцать одного, с перевыполнением, увезли в районную тюрьму. Туда попали и дедушка наш, и мой свекор. Через месяц арестовали еще пятерых – это были те, кто имел полные отруба – по 100 десятин, а первых 21 человека – отпустили. Видимо, следствие что-то раскопало, потому что те пятеро сгинули бесследно, как ни разыскивали их родственники – ни за какую ниточку не ухватились. Зато они нашли убийцу. Только он, наверное, был подставной, это молодой человек из нашего села, сын крестьянина: отец, брат, еще брат с семьей работают в поле, а он почему-то стал ходить по селу – в дождевике, с обрезаем через плечо, потом скрывался в дальних хуторах или в лесу, там его настигла милиция и убила. Нам все непонятно было в этой истории. Родителей и братьев его никто не трогал, выяснилось, что отказались от него еще до убийства, потому что он был шалопай, работать не любил. Из семьи его гнали, устроился на железную дорогу – там тоже не работалось, шлялся без дела повсюду. На него не стали обращать внимания. А когда арестовали пятерых 100-десятинников, он вдруг стал появляться с обрезаем. Мы подумали так, что его купили 100-десятинники, чтобы отвести от себя подозрения. Но у них ничего не получилось, и он просчитался. Но это мнение народа.

XVI

До этого, в 1924 году, у нас тоже был убит председатель сельсовета. (В то время папа еще работал секретарем). Еще не было ни кулаков, ни подкулачников, ни колхозов-совхозов. От

него перед этим жена с двухлетним ребенком ушла к родителям. Любовь у них была со школьной скамьи, но женились и жили плохо. Да какая уж любовь, видать, просто по-деревенски встречались в субботние да воскресные вечера. Его, кстати, увозили в район учиться на продавца. Там было два больших магазина частных, хозяева неведомо где жили, управляться с делами продавцов брали грамотных и умелых. Вот он под их рукой и работал-учился. Земли у его отца было 6 десятин, так как братьев было шесть человек, а у каждого сыновья, в общем, досталось кому 6, кому 3 десятины, арендовали у 100-десятильников. Потом его призвали в солдаты, это еще при царе, – пять лет ждала его будущая жена, все подружки ее по-выходили замуж, она все ждала, хотя уже считала себя вдовой, повязывала косынку по-монашески и ходила петь в церковь. Он вернулся в 22-м году с партизанами, его как партизана и избрали председателем, а родители заставили его жениться на девушке, которая так долго ждала. Он отнекивался, избегал встреч с нею, но вся родня настаивала на женитьбе. Наконец он согласился, но предупредил, что если заставят венчаться, он из-под венца уйдет от нее.

Мы побежали в церковь смотреть, как он будет убегать из-под венца. У него не хватило силы воли, смотрел себе под ноги, но не уходил. После женитьбы стал замкнутый, хмурый. Она жаловалась родителям, что домой приходит поздно, спать ложится отдельно. Насильно мил не будешь. Родила она сына, жила с ним то у родителей мужа, то у своих, все думала, что он придет за нею, а он и в своей пустой хате ночевал редко.

И тут случилось это. Поздно вечером пришел он к своей матери, сел за стол, она ему стакан молока подала, он только поднес его ко рту, как раздался выстрел, прямо в голову. Мать даже вскрикнуть успела, как его уже нет. Милиция, прокурор, как следует. Арестовали брата жены – дескать, мстил за сестру. А у него свидетели: в ту ночь его в селе не было, он стоял в

ночном на заимке. День работал в поле, а на ночь оставался на заимке пасти коней, гуртовались вместе три-четыре человека, у которых межи сходятся, заваривали иван-чай, разговаривали, потом один остается караулить – посевы стоят зеленые, как бы кони их не потравили, а остальные ложатся спать, через час смена. Эти соседи по заимке и отстояли его, писали поручительства. Его отпустили, а виновного не нашли.

На похоронах я стояла у гроба и все видела. Плакали все. Жена его стояла в сторонке с ребенком и тоже ревела. Отец убитого – свекор – сказал ей:

– Поднеси ребенка, пусть познаменуется.

Это значит простится, по-нашему. Она подошла к гробу, наклонилась и прижала ребенка к его лицу, а сама потеряла равновесие, упала на гроб, ее подняли, усадили, а свекор произнес:

– Поздно теперь плакать. Надо было раньше одуматься обоим.

А мне так хотелось сказать, кто виноват, но не смогла. Убитый наш председатель-партизан любил чужую жену. Она была дочерью непорядочной женщины, которая держала кабак, сама была вечно пьяна, до нитки обирала своих выпивох, а муж ее воровал. Доченька их грамоте не училась, зато с ранних лет ее любили и мужики, и парни. Конечно, кто на такой женится? Вот она и вышла за вора, все-таки 26 лет уже было ей. Куда деваться? А председатель возьми да и влюбись в нее. Муженек приревновал и пальнул в него из ружья. Они потом уехали из села в город и там расстались. Жена председателя тоже уехала в город, сошлась там с каким-то бывшим чиновником. У него двое детей, работы никакой не дают как эксплуататорскому классу, а в крестьянстве он работать не может и ничего не понимает. Она ушла от него, и судьба ее столкнула с новым вдовцом, у которого уже было пятеро детей. Через год родили еще одного и стало у них семеро. Такая у нее получилась страшная жизнь: столько зла, слез. Потом она и умерла вскорости.

В 1978 году в Евпатории на скамейку ко мне подседа женщина, как две капли воды схожая с той женщиной: и лицо, и формы тела, и даже руки с короткими и толстыми пальцами.

– Вы родом из Приморья? – спросила я ее.

– Вы, наверное, знали мою маму, – ответила она, – потому что мне все говорят, что я очень на нее похожа.

– Знала, – ответила я.

И мы разговорились. Она тоже помучилась в жизни, пока 17-ти лет не вышла замуж за военного. Он теперь полковник, она здесь с ним в санатории.

XVII

Моя замужняя, семейная жизнь была горька и безрадостна. Свекровь меня не приняла.

Они приехали из Порт-Артура – свекра выслали оттуда за какие-то слова против царя, выслали под надзор полиции.

Семья у них безалаберная, кому что вздумается, тот то и делает, отец в дела не вмешивался, Филипп Павлович, а руки у него золотые – именитый кузнец.

В январе 1925 года в районе проходил какой-то молодежный съезд. От нашего села на него избрали четырех девушек и четырех парней. Из парней туда поехал только Илья Коротенко – комсомолец, один-единственный на село, учитель и друг Кости: это с ним он пытался пробраться в Советскую Россию, которая началась на два года раньше Дальнего Востока.

ДВР, ДВР,

Синяя заплатка.

При тебе, ДВР,

Жить буржуям сладко,–

пели они вместе с Костей. «Синяя заплатка» потому, что солдаты армии Дальневосточной Республики носили на рукаве нашивку с восходящим солнцем на синем фоне.

Костин друг – Илья Коротенко – свою учебу довел до конца, закончил реальное училище, а Костя свое техническое не

закончил, что-то в нем потерялось после неудачной попытки пробраться в Россию.

Костю тоже избрали на съезд, но он уже был женат, а если женат, то уже не молодежь – он не поехал, потому не поехали и другие избранные парни, только наш комсомолец туда отправился. Из женщин-девушек поехала только я. И впервые в жизни даже сидела там в президиуме.

Илья Коротенко был моим ухажером, к которому я постоянно оставалась равнодушна, не хотела сидеть с ним рядом в кино, старалась избегать его проводов домой, и в президиуме сидела отдельно от него.

К милому и семь верст не околица. Но у меня такого не было. Он упрекал меня за мое замужество. «Я говорил тебе, куда ты собираешься, посмотришь, какая будет жизнь!» Я бодрилась, вскидывала голову и даже уговорила его жениться на Ольге, сестре моего мужа. Жениться-то он женился, а все приставал: «Как живешь?» И не приставал, а корил.

В 1926 году мы с мужем ушли из дома отца: там никакого внимания к нам. У нас уже первенец, а к нему никто не подходит, будто он чужой или незаконнорожденный. Говорю мужу: а что если бы у меня было так, как у твоих сестер – не успеют свадьбу сыграть, а уже и родня. Но он отмалчивался.

На первом году семейной жизни была во всякой работе – в мужской и женской, на втором – сын связал меня по рукам и ногам. Все дела по хозяйству на мне, а он кричит в люльке, по дому бегают мужнина сестра 12 лет, братья 10 и 8 лет, прошу, посмотрите за Вовиком, покачайте – не тут-то было.

На подаренные в день свадьбы деньги покупала им пряники с конфетами, благо, частная лавка под боком, сбегая, куплю, они пока едят, качают, нянчатся, кончилось угощение – убежали. А у меня работы непочатый край – по дому и по хозяйству. И в поле ездила с люлькой – там подвешу ее на сук и за дело, а сынишка кричит, на нем комары, мухи, пауты-оводы. Домой возвращаемся затемно: в доме ни кап-

ли воды, коровы не доены и все другое. Опять сына в люльку – лежи, кричи.

У свекра четыре зятя. Бабушка моя говорит мне: он строит для кого-то заимку с огородом и покосом, просись туда, чтобы вас отделили. Я к мужу, а он молчит.

Потом оказалось, что отец купил ему за 300 рублей хатку на земляном полу, с русской печкой, которую мой Петруша, ни с кем по-прежнему не разговаривая, переложил, отдав за работу печнику свой пиджак. Может, с отцом-матерью у него и были какие-то разговоры, со мной – нет.

А тут в конце октября или в начале ноября поднимается ранним-рано и говорит мне: собирайся, переезжаем. Я собрала свои шмутки, сложила в сундук, завернула в одеяльце сына, и мы поехали. Привез меня к этой хате, сгрузил, а сам уехал. Ему в день свадьбы отец подарил коня, вот он и работал на нем: возил дрова, сено всем родственникам.

Хатка холодная, нетопленная. Затопила печку, стало теплее, но потекло по стенам, с потолка закапало, набросила на люльку какую-то тряпку, чтобы на ребенка не попадало. Размок пол.

Я побежала к соседям за помощью. Соседка оказалась доброй, отзывчивой, дала известки и щетку, не только дала, но и стала помогать белить, мы белим, а стены текут. Принесла соседка железную печку, затопили мы ее, чтобы просушить жилище... Но оно два месяца сохло. На пол набросали досечек, ходили как по тротуарам.

Хочу есть, а есть нечего. Есть картошка, но сварить не в чем.

Добра моя соседка сходила к маме, рассказала ей все, как есть, та появилась у меня вечером, принесла булку хлеба, сала и молока. Тут мы ожили с сыном, да еще муженек привез чугунок, две тарелки, две ложки. Наварили картошки – и все у нас, как у людей.

Через неделю свекровь принесла в подарок лампу 7-линейку, ведро и дежу – деревянное корытце для выпечки хлеба, муж приобрел мешок муки.

Кстати, и я забрала у родителей свою дареную корову, со времени дарения прошло полтора года – корова моя оказалась с теленочком. Ну прямо чувствовала, как земля под ногами становится твердой.

У соседей рождается дочь, мы почти роднимся с ними: приглашают стать кумой, муженька – кумом. И все это на первой неделе. Они – много старше нас, называют нас кум и кума, а мы их по имени-отчеству.

– Кум, – говорит сосед моему мужу, – поедем заготавливать лес: тебе – на дом, мне – на амбар.

Петенька помолчал, а потом сказал: поедем.

Мы, женщины, заготавливали на неделю продукты своим мужикам, они – корм своим лошадям. Уехали – живут в фанзе, валяя строевой лес, вывозят на чистое место, где потом его можно будет грузить на сани.

Так они проработали в лесу два месяца, но через неделю обязательно приезжали домой на сутки – за кормом для лошадей и себя.

Лес успели вывезти до распутицы, началась она, а нам не страшно – лес вывезен, поставили козлы, продольной пилой напилили брусьев и тесу, сложили все в порядке, накрыли тесом и поняли – на дом всего этого не хватит. А сосед-кум амбар построил: у него было две лошади, на его долю пришлось всего больше – и хватило.

Мы с мужем летом сеяли-пахали, он спарился с дядей своим, у которого тоже была одна лошадь.

У меня уже огород, уже курочек развела, да родители поросеночка еще дали, а кума яйца индюшек – у меня все разводилось, плодилось, множилось.

Уже год, как мы живем сами по себе.

Мне двадцать лет, мужу – двадцать два.

Совсем не страшно уже, что хата страшная, что на земляном полу. Кто-то очень правильно сказал: поставь хату с Лободы, да в чужую не вводи.

Двадцать второго сентября у меня родился второй сын, а двадцатого октября я проводила мужа на службу в морфлот, на четыре года.

Ну да что горевать!

Сама езжу в лес за дровами, а также родители привозят и свекор.

Моя тетка привезла мне старое корыто – ванну по-потеперешнему, – старую табуретку, старый тазик: целое царство у меня и я царица. Есть где искупать ребенка, есть где посадить прихожего.

Настало лето 1928 года.

Дядя мужа вспахал мне огород, я его засадила всем, чем могла, даже лен посеяла и мак для получения опия, что тогда уже было запрещено властями – в 1923 году. Но, думала, пощадят меня за бедноту, что муж на службе, что одна с двумя детьми.

Поспел мак, занялась его сбором. Кто-то донес в район.

Приехал сам начальник милиции, забежал в огород и давай рубить саблей головки мака:

– Я тебя штрафую! – Кричал он. – Нельзя собирать опий, ты же знаешь!

– Откуда мне знать, – отвечаю. – А на что мне жить с двумя-то детьми?

– Ты на детей получаешь пособие! – Кричит он, размахивая саблей.

– Ничего не получаю! – Говорю.

– Сегодня же все выясню. Но ты убери весь мак.

Ушел.

Ушел. А я то утром раненько, то вечером поздненько собираю мак потихоньку, а как кончила-убрала – засеяла все гречихой, вернее, не я, а кум принес семена и засеял.

Милиционер сдержал слово, через недельку-другую пожаловал ко мне в гости, а с ним наш председатель сельсовета и председатель райисполкома – предрика – по своим делам попал к нам ко времени.

Пришли, посмотрели. Предрика сказал:

– Через недельку – другую зайдите к нам, рассмотрим ваш вопрос о пособии.

«Через недельку-другую» у них, видимо, присказка такая была. А вопрос о пособии вовсе не им было решать – на то был закон.

В общем, через неделю я стала богачка: получила за три своих месяца красноармейки 35 рублей 25 копеек – по 11,75 в месяц. Такие деньги! Есть на сахар, спички, керосин, манку, а молоко свое.

Даже кумовья занимают у меня то 10, то 5 рублей, чтобы дожить до субботы, а в субботу едут на базар в район, торгуют, покупают необходимое: семья у них огромная, моя крестница у них была пятым ребенком, а потом еще двое было и только седьмой – мальчик, они мне и говорят, счастливая, мол, ты кума, у тебе двое – и оба мальчики.

Летом я оставляла своих сыновей на попечение старшей дочери моих кумовей, ездила помогать свекору на сенокосе, чтобы и мне сено было, и родителям своим помогала, а они мне – тоже: где сена привезут, где дров.

XVIII

С получением пособия за мужа стала я видным человеком – избрали меня в сельсовет в числе 43 других, потом членом исполкома в числе пяти человек – и там и здесь я одна женщина.

Но в следующую весну я все равно посеяла мак, на опий. Да так его замаскировала, что ниоткуда никто не увидел, и опять сняла и землю опять засеяла гречкой – кум увозил ее на крупорушку в район, и мы с сыновьями ели гречневую кашу, а теперь воспоминаниями о том сыты.

Одеть детей – немного надо было, пока малые – рубашонка да штанишки, а зиму сидят дома: на воздух выносила их в одеяле, а иногда и кумовские девочки с саночками подбегали, кричали: давайте мы покатаем ваших мальчиков. Я ставлю на санки корыто, сажу своих отпрысков в него и сама их катаю.

Время от времени меня приглашают для работы в сельсовете.

В семье мужа я прожила полтора года, в нем места мне не находилось: то в летней кухне болтается люлька моего сына, то в холодное время – он в доме, но на полу.

Той корове, которую подарил мне отец на свадьбу, тоже не было места. А родился у меня второй, переехали мы в свою хату, забрала я свою корову, а у нее уже была телочка, и бычок

потом появился, я его месячным продала китайцам, потому что первая телочка сама отелилась – она худущая, еле на ногах стоит, молока у нее нет, вши заели ее и теленка.

И тут председатель сельсовета ко мне с замечанием: на тебя жалуются, две коровы имеешь и пособие получаешь. Я отвечаю: посмотри, какая это корова. Он пришел, посмотрел, покачал головой, но говорит: на каждый роток не накинешь платок. Твоей корове цена 50 рублей вместе с теленком в базарный день, а пенсии ты можешь лишиться – продай ее.

Тут едут мои родители на ярмарку в район – она два раза в году бывала, – прошу взять с собой и меня.

Мне, конечно, не отказали.

Привязала я корову к телеге, теленочка к хвосту коровы и мы поехали.

На базаре я запросила за них 50 рублей – как говорил председатель, люди смотрят и уходят, не рядясь. Сажу на телеге, жду.

Покупатели нашлись все же.

– Сколько?

– Пятьдесят.

– По рукам.

Дают пятьдесят и тут же, как полагается:

– Выбрось из-под полы рупь на счастье.

Бросаю. За сорок девять рублей ушли у меня корова с теленком.

А дома появился свекор:

– Что, продала корову? Юбку себе купишь, а коровы нема. – И замахнулся на меня тростью.

Я испугалась и заплакала. Тут подошел брат свекора:

– Мне не дадут пособия, если у меня будет две коровы. – Говорю ему. – Он принял мою сторону.

Но свекор все выговаривал:

– Не хозяйка ты. Надо во двор, а ты со двора.

К тем сорока девяти рублям я прикопила кое-какие деньги и купила себе швейную машину.

А тут отелилась корова, я опять с теленочком.

Началась заготовка хлеба, и стали всех облагать налогом – кому сколько вывезти на заготпункт. Кто первый сдавал положенное, того облагали повторно. У кого хорошая земля, у кого ее больше – для того и налог был выше, но все как-то было выполнимо. Это в 28 году стали выделять кулаков: у кого есть мельница, барабаны-молотилки, паровики-локомотивы. У них забирали весь хлеб, все мельницы, всю технику – начали раскулачивать и организовывать колхозы. Кулаков и подкулачников решили убрать, чтобы они не мешали заниматься этим делом.

Сопровитвлялись все, но больше 100-десятинники – говорили, мы и без объединения всех прокормим: и себя, и государство. Но пропаганды было много, а зимой приехали командированные из России, они за колхозы взялись основательно.

Даже меня заставляли в сельсовете вступать, мол, отказываться нельзя, ты член сельсовета, тем более, исполкома.

– Нет, – отвечала, – вступать не буду: у меня нет лошади, а без лошади какой от меня толк.

(Как только мужа призвали в армию, его отец забрал подаренную сыну лошадь, и больше у нас ее не было).

– Да, – соглашались со мной. – Какой ты работник, если еще и двое детей на руках.

А вот свекру вручили предписание на высылку в Читу. И еще одного из района туда же.

Только не помню, дали им денег на дорогу, или они туда на свои отправились.

Моего отца арестовывают, отправляют в район, оттуда – в тюрьму. Как врага народа.

Их семьи живут в своих домах, никто не беспокоит их, хотя из амбаров вывезено до последнего зернышка, лошади уведены в коммуны.

100-десятинники организовали свою команду: мол, у нас все свое – и земля, и лошади, и инвентарь с техникой.

Дескать, сами себе будем хозяева, сами будем распоряжаться. Но не так это просто: стала проникать в команду к ним беднота: ни кола ни двора, один куст калины и тот не цветет. Пошли туда, подавали заявления и те, у кого есть земля, но нет лошади, или есть лошадь, но нет земли, и те, у кого ни того, ни другого и сами живут по квартирам. Это не понравилось первым, что, мол, у нас все есть, а эти на всем готовом будут на наших лошадях ездить, наш хлеб есть – мы не согласные.

Тут же организуется комбед – комитет бедноты, и хозяев раскулачивают, забирают землю, скот, технику.

XIX

Шла такая несчастливая жизнь.

Нашего первого комсомольца Илью Коротенко арестовали в 1937 году. Но через три-четыре месяца выпустили с условием покинуть дальневосточный край.

Он уехал в Сибирь, там учительствовал. Его жена, сестра моего мужа, с ним не поехала и вскоре вышла замуж за демобилизованного солдата. Уехала с ним в Саратовскую область, а двоих детей от Ильи оставила у своей сестры.

Коротенко приезжал к ним ненадолго, взял с собой сына Володю и вернулся в Сибирь, опять женился, родил еще одного сына, в сорок первом ушел на фронт, а в сорок втором был убит. В сорок четвертом призвали его сына Володю, он был тяжело ранен, вышел из госпиталя без одной ноги, вернулся к нам на Дальний Восток, там, у тетки, жила его сестра Майя. А их мать, то есть моя золовка, из Саратовской области переехала в Севастополь, муж ее служил в милиции и не просто служил, а даже стал ее начальником. Но тут на рейде Севастополя гибнет линкор «Новороссийск»... Даже милицию обвинили в его гибели.

Как потом я узнала, это случилось 29 октября 1955 года в 1 час 30 минут ночи. Под днищем корабля один за другим прогремело несколько мощных взрывов. В 4 часа линкор опрокинулся и унес на дно сотни человеческих жизней.

«Новороссийск» – итальянский боевой корабль «Джулио Цезаре», то есть «Юлий Цезарь», после войны достался СССР, в феврале 1949 года прибыл в Севастополь, был переименован в «Новороссийск». Следствие искало виновных всюду, находило и называло их, но наказаны были непричастные: свойственника моего уволили из милиции, в Севастополе им стало невозможно жить, они переехали в Евпаторию, перебивались с куля в рогожу. Он устроился шофером, сумел получить хорошую квартиру. Во дворе стояли старые овчарни, так они их почистили, прибрали – и пошел доход с отдыхающих без путевок.

Когда Володя вернулся из госпиталя, разыскал свою сестру Майю, решили они тогда разыскать и мать, нашли ее адрес – и свалились, как снег на голову: мама-то их скрыла перед молодым мужем, он на восемь лет был ее моложе, что у нее есть дети.

В это время отдыхала у них одинокая женщина с сыном из Ленинграда, преподаватель-товаровед. Так она сказала, если Володя женится на ней, она и Майю возьмет с собой в Ленинград, обоих выучит на товароведов – так все и получилось.

Майя вышла замуж, родился сын, но муж оказался эпилептиком, и она рассталась с ним, одна растила сына, жила только для него, только им. И к ней пришла радость, сын долго, упорно учился – и получился хороший художник.

А Володя со своей учительницей прожил недолго, дал ей развод – она было много старше его. Сошелся с молодой. Нажил ребенка и опять развелся, уехал в Караганду, в третий раз женился, стал директором большого универмага и здесь его подстерегла внезапная смерть – инфаркт.

XX

Когда наших отцов увезли в район, мне сказали, что от полкома меня отрешают, а в сельсовете, мол, пока оставайся. Через какое-то время председатель говорит, не нашего села он, приезжий – присланный:

– Дочери кулаков-вредителей среди нас не место, она может все выносить отсюда и передавать своим кулакам-подкулачникам.

Я встала, не стала ждать их решения.

– Нашел пан кожух, не возрадовался, потерял, не расстроился, – сказала до свидания и ушла.

Кстати, до этого я вступила в колхоз, и мне предложили организовать в селе детский садик. На пустом месте.

– Где помещение брать, где столы – табуретки, посуду и всякое другое? – спросила у председателя. – Всю домашнюю утварь?

– Ты знаешь, кого раскулачили, всё у них возмёшь.

– Нет, нет, – сказала я, – лучше в поле пойду работать, чем таким делом заниматься стану.

Детей не так уж, чтобы у каждого семеро по лавкам, да и оставить их есть с кем: то бабушки-дедушки, то старшие дети. Я работала в поле, а своих детей оставляла то у своей матери, то у кумовьев. Правда, они были очень недовольны, что я пошла в колхоз, они потом уехали в Уссурийск, половина села туда уехала от колхоза.

Прошло два месяца, как увезли наших отцов, мы живем, занимаемся хозяйством, благо, нам по корове оставили, а о них ничего не знаем.

Но тут возвращается свекор. Рассказывает, приехали они в Читу, пошли искать, куда им обращаться, а у них на руках только бумажка, что высланы в Читу и все. Потыкались-потыкались и вернулись на вокзал, но тут нашелся сведущий человек, направил в горисполком. Пошли – а оба неграмотные, еще мотались по кабинетам, пока им не сказали: вас тут никто не ждал, поезжайте туда, откуда приехали.

– Так у нас денег нет на обратный путь.

– Это не наша забота, – отвечают.

Пошли мужики на железную дорогу разгружать вагоны с углем и лесом, денег на обратный путь зарабатывать, поработали от души, заработанных денег на все с лихвой хватило. При-

ехали домой и живут среди порушенных хозяйств, никто к ним ни с чем не обращается.

С моим отцом получилось чуть иначе.

В Чите он написал в краевое управление: за что и почему, мол, меня арестовали, а не судят. Из управления пришло: «Освободить!» и отец вернулся к семье – к нему тоже вроде никакого интереса.

Но за это время, пока их дома не было, уже из сельсовета сообщили в армию, что отцы у наших мужей и старших братьев – кулаки.

А брат мой уже лейтенант, служит в авиационном училище, а муж на флоте. И вдруг он появляется, а в военкомате не знают, почему он раньше времени окончил службу, поехал в район, там у начальства глаза на лоб полезли: как так, семья значится бедняцкая, пособие получает, а он кулацкий сын и без военного билета уволен?

Приезжает ко мне на следующий день комиссия, обследовала мою хату с моим хозяйством, соседей пригласила.

– Да, – подтвердили соседи, – они живут тут с двадцать шестого года, и это у них все, что вы здесь видите.

– Приезжайте завтра в военкомат, – сказали мужу.

Он приехал, а там уже готово: билет выписан и статья указана, по какой уволен: как имеющий двух малолетних детей.

Ну, в селе моего Петра Филипповича стали приглашать в колхоз, он в сельсовете смолчал, а мне сказал: уедем отсюда.

А Костю, моего брата, расстреляли в Чите.

Отец бросил все, что осталось порушенного, махнул рукой и уехал в город, и мы продали хату за триста рублей, корову тоже за триста, продали все, что я собрала в огороде, оставили себе только телочку и уехали следом за отцом.

Остановились у моей сестры, ее муж и двоюродный брат моего Петруши работали на железной дороге, помогали и ему туда устроиться, но жить было негде. В то время уже начали облагать большим налогом тех, у кого есть многоквартирные

дома, которые они сдают за хорошую цену. Домовладельцы стали их продавать побыстрее, чтобы их не отняли, не продали с торгов. Купили мы с двоюродным братом мужа на две семьи две комнатки с кухней за две тысячи рублей. А комнаты заселенные и жильцы их оставлять не думают. Благо, у одного из них, напротив, в просторном доме жила теща, так начальство совестило-совестило его и усовестило освободить нашу квартиру, и поселились мы в ней две семьи, нас четверо да их пятеро в одной комнатке, две кровати, два стола, но большая часть семей – на полу. И так три года.

Муж без отрыва от производства выучился с кочегара на машиниста, а я работала в кассе кассиром. За городом мы обнаружили участки земли, когда-то возделанные и засеваемые хлебом и разной разностью, а теперь брошенные, обрабатывали их, посадили там картошку, посеяли кукурузу, фасоль – все поддержка какая-никакая с огорода. Детей устроила в садик, а через три года и вторая квартира освободилась – как говорится, вздохнули свободно, зажили, купили кое-что из мебели. Да еще весной этого же года нам на кассу дали три тысячи рублей для приобретения коллективной коровы или огорода. Я вступила в этот коллектив. Старший кассир, пожилой человек, член партии, был избран нашим кассиром – в его ведение поступили эти деньги. Купили мы три мешка картошки на посадку, вспахали землю и якобы на это ушли все денежки. Ездили на свой огород по очереди в выходные дни и после работы – было даже специальное разрешение дано на проезд бесплатный по железной дороге до участка, так что мы быстро все рассадили. Нас было семь человек. Подошла моя очередь. Поехала я туда с женой нашего старшего инспектора.

Увидели этот огород – и сердце у нас оборвалось: земля вспахана еще в прошлом году, на ней царствовал пырей, его корни переплелись, что не воткнешь лопату, а наши горе-огородники картошку побросали как попало. Мы с моей напарни-

цей перекопали свои участки, вытрясли корни – две копны их наложили, как сена, картошку уж посадили на завтра.

Когда поехали полоть, то там, где сажали до нас, пырей стоит в человеческий рост, и никаких признаков картошки. А наша – кустистая, зеленая и земелька черная, чистая.

XXI

В тот день я задержалась на работе дотемна.

Прихожу домой, сыночки мои сидят за столом и спят. По расчетам, муж, должен был вернуться из поездки в 3 часа дня, а его нет.

Перенесла детей в постельку и скорее варить картошку: сейчас Петруша вернется, и я его накормлю свеженькой – только что выкопали, свезли в сарай кассиру, ну и с собой чуть прихватили.

Кипит, варится мой ужин, и заходит муж, я будто не вижу, продолжаю готовить, а он не один, а с НКВД.

Конвоир берет меня за локоть:

– Пригласите постороннего человека. – Я оглянулась. – Боже мой! – чуть не умерла от страха.

Пригласила постороннего свидетеля, и НКВД стал делать обыск.

Кроме бумажек, ничего не брал, а бумажки складывал на стол.

Потом стал их перебирать, раскладывать на две кучки, закончил одну – отодвинул, вторую на другой ряд положил и тоже отодвинул, стал перелистывать и трясти книжки. Потом написал, что при обыске ничего подозрительного не обнаружено. Понятой расписался и ушел. А я смотрю на все и ничего не понимаю.

– Можете поужинать! – сказал НКВД.

Я поняла, что Петра заберут.

Поставила его ужин, он пригласил уполномоченного, тот отказался, а у моего спазмы пищевода, сидит давится: налила ему чаю, пригубил раз-другой, поднялся.

– Проститься с детьми можно? – спросил.

– Можно.

Дети спали, ничего не видели, не слышали. Я разревелась.

– Не плачьте, он скоро вернется, – успокаивал меня НКВД.

– Скажите, за что вы его забираете, что он сделал, я же должна знать! – причитала я.

– Там разберутся и все ему скажут.

– Туда вы ворота широко раскрываете, а обратно узко, – начала я.

Но они простились и ушли.

Утром детям ничего не сказала, отвела их в садик, сама ушла на работу. Зареванная, рассказала своей операционной части – это где кассиры и контролеры, где деньги и займы, – бухгалтерия и заведующий в другом помещении, а у нас работала жена другого уполномоченного НКВД, она пообещала, что скажет своему, чтобы он расспросил у того, за что моего мужа забрали, за кем он числится. Я ее прошу узнать, можно ли приносить передачу мужу.

Наутро она все мне поведала: за кем мой Петр Филиппович числится, и что тот человек хороший, что передачу можно носить хоть каждый день, а свиданья пока запрещены. И еще сказала, что через два дня в пять часов я могу прийти к тому хорошему человеку.

И я пошла.

– Садитесь, не волнуйтесь. – Принял меня тот хороший человек.

Я села и первое дело: за что арестовали?

– По статье 58а.

– Это о чем?

Он засмеялся и сказал: арестован по доносу за агитацию.

– Не может быть. – Обомлела я. – Он не из тех людей, чтоб агитировать.

Он раскрывает папку. Там дел много, не только моего муженька. Нашел, раскрыл:

– Смотрите, сколько на него написано и сколько подписей внизу.

Бог мой, сколько их там было, подписей, разными карандашами, чернилами, каракули большими буквами все. Он прикрыл их рукой, я ни одной фамилии не прочила. И заплакала.

– Это просто ненависть людей друг к другу, – сказала.

– А как вы жили в деревне? Вас раскулачили?

Я показала ему мою бедняцкую справку из сельсовета и все-го еще навспоминала и наговорила, спросила, куда надо писать о такой несправедливости.

– Только в Хабаровск, – ответил он. – Там есть специальная тройка ГПУ. – И свою справочку приложите к заявлению.

Я поняла, что он отделяется от меня. А он продолжает:

– ...и справку с его производства.

На работе моя сотрудница сказала, что тот человек все-таки хороший, и надо делать все так, как он сказал.

А тут паспортизация, чистка была не только партии, но всего человечества. Сдали мы документы всей сберкассой, ждем результата. Он пришел – для меня плачевный: мне было отказано, так как муж в каталажке по 58-й статье.

Заведующий сберкассой дает мне хорошую характеристику и советует вновь подать заявление о приеме меня на работу, что я и делаю. Заявление принимают и обещают со временем рассмотреть.

Сама беру очередной отпуск, беру младшего сына и еду в Хабаровск, в ГПУ. В городе мне есть у кого остановиться, там жили мои родители, уехав из деревни, они работали на железной дороге.

О приезде я не сообщила, а поезд пришел в три часа ночи. Снег, слякоть.

Хотела сына оставить на скамейке в зале, не разрешили, гонят всех из вокзала.

Сынишка плачет:

– Пусть придет дедушка и унесет меня отсюда.

Была у нас корзина, где лежали вещички сына и продукты, что остались от дороги, были деньги на обратный конец, я их в штанишки сыну зашила еще дома, а в корзине оставила три рубля, в случае если нападут ночные разбойники, так меня обыщут, а у сынишки не найдут.

Пошли мы в ночь, под ногами чавкает, сынишка плачет, ему всего три годика. У меня ноги промокли, зябнут.

Дошли до центральной улицы – ни души не встретили, а сошли на плотинку, ведущую к мостику, как за нами увязался человек, где попадалась полоска света, было видно, что одет он прекрасно: пальто, шапка, но сам маленького роста, не в теле. Мы идем едва-едва, сынишка плачет, а этот шкет не опережает нас, не отстает. И уже никакого света нет, и уже мост. И тут вдруг гром, тарарам, стреляют, кричат – видно, кого-то ловят. И я уже никуда: раз стрельба, значит, милиция рядом, меня не тронут, наоборот, помогут.

И этот шкет как в воду канул.

Помешкала и скорей через мост, и вижу: впереди тот шкет и уже идет быстро. Я в первый попавшийся двор, калитку закрыла на щеколду, которую завязала носовым платком.

Ворота и калитка высокие – не перелезет.

Собаки не лают, сына прошу: не плачь. Простояли мы минут двадцать, дрожим, зуб на зуб не попадает от страха.

Оставляю сына во дворе, выхожу на улицу: если тот человек стоит – стану кричать. Хоть и закрыты ставни, люди услышат.

Но на улице пусто.

Пошли по-над речкой, там базар под навесом – я это место знала, приезжала провожать брата в армию. И что же? Ни одной лавочки, темень, снег, холод. А под навесами спят люди, прямо на земле. Кто они – бродяги, воры или такие же, как мы? Раз-другой кому-то наступила на ногу, в ответ – матерщина. «Пусть, – думаю, – матерятся, только бы не вставали».

Родители жили на первом этаже двухэтажного дома. Мама на стук приоткрыла шторку и сразу запричитала:

– Ой, что-то случилось, тато, Танька в такую ночь да еще с дитем. – Открыла и тут же в слезы.

А сыночек мой сказал деду:

– Почему ты не пришел и не взял меня на ручки? А папа нас бросил, не хочет жить с нами. – Все, как я ему объясняла.

Переодели его у сухую рубашку, и он сразу уснул на руках у бабушки.

XXII

Отец рассказал, на какой улице тот дом.

Много прошла коридоров, во многие окошечки заглянула, но нашла, что надо. Приняли мое заявление, документы.

– Рассмотрим и сообщим на место, – сказали.

Побыла у родителей два-три дня, оставила им сына и поехала в Уссурийск.

Мужа моего уже перевели в тюрьму. Оказывается, тогда не одного его взяли, а сотни людей: только из нашего железнодорожного ГПУ через два-три дня этапы угоняли в тюрьму.

Пошла я с передачей, приняли. На второй день – тоже. Прошу о свидании, обещают. Но когда?

Пришло время рассмотрения моего заявления на паспорт.

Отказ. И записка с печатью: освободить Дальний Восток в 24 часа.

Освободить освобожу, но куда мне без паспорта?

Пришла домой, растопила печку, готовлю ужин: сыночек придет из садика.

Но сначала пришел милиционер, зачитал приказ: в течение часа освободить квартиру, а до 24 ночи – город. И начал выбрасывать вещи: что в окно выбросит, что во двор.

Я бросилась за соседкой – она помогла вынести кровать, комод, шкаф, все остальное сложили поверх этого имущества.

Тут из садика возвращается мой первенец, Володя.

– Что это? – удивился он.

– Переезжаем, – отвечаю.

Милиционер опечатал двери нашей квартиры и ушел.

Оставила сына при вещах, пошла к нашему земляку-односельчанину, он работал на лошади, договорились с ним: завтра он заезжает и увозит мои вещи на толкучку.

Володю отправила ночевать к моей сестре, а сама ночь прокоротала на своих вещах. О том, что мне в полночь надо оставить город, никто из властей не напоминал.

Не напоминал о себе и двоюродный брат моего Петеньки, с которым мы вместе владели этим домом, который жил за стенкой. Не подошел, не помог ни словом ни делом. Такое было время – родные братья, сестры отрекались друг от друга, даже дети от родителей, родители от детей. Петенька мой в свое время тоже отрекся от отца в местной газете, хотя уже было сталинское постановление, что дети не отвечают за родителей.

Утром подъехал земляк, сложил на телегу наш скарб, для себя оставил новенький кухонный стол – и больше ничего не взял за работу, отвез на базар. Я продала все.

Ночевала у сестры моей свекрови. Она сказала:

– Я ничего не боюсь, даже можешь остаться жить у меня.

Но надо уволиться с работы.

Заведующий сберкассой поступил справедливо, вернее, по-человечески: написал в справке – по собственному желанию.

А в профсоюзе написали: в связи с неполучением паспорта. (Наш профсоюз – госбанк, райфо и сберкассы).

Вот такими мы оказались.

Я порвала свой профсоюзный билет.

Но за наш коллективный огород и картошку с меня вычли 280 рублей – два моих месячных оклада, а картошки с того поля даже не попробовала: так побывала в кооперативе. Кто-то расстряс те три тысячи, а я им заплатила за это.

Это мое второе кооперативное дело.

Первое – вступление в колхоз: проработала год, первый убранный хлеб распределили по мешку (не помню, сколько он

весил) на работавшего, независимо от того, сколько у кого трудодней. Два работника – два мешка, три работника – три... Я одна работница – один мешок и получила, увезла его на мельницу. Там оказалась последней в очереди, но размолоть размолота, только вывезти не смогла – поздно. А кума в деревне не было – работал на своей заимке, он в колхоз не вступал, приехал поздно. Я его тем не менее попросила пособить. Он сказал, что завтра раненько. Утром вышел запрягать лошадей: увидел, что бегут люди, что пожар, что горела мельница.

Ее спасти не смогли.

Мне никто ничем не помог.

А вот лес, который еще в 26-27 году муж готовил на дом, забрали на ремонт школы, потому что все, кто вступал в колхоз, сдавали – объединяли всех лошадей, а у меня лошади не было – отец мужа ее у меня забрал и продал – лес стал моим паем при вступлении в колхоз.

Отдавая его, не очень печалилась. Когда продавали с молотка хозяйства раскулаченных, я вступила в торг за хорошего леса амбар, крытый цинком, метя его на дом. Цена поднималась – 70 рублей, 75, 80, и я сдалась. Продали его за 125 рублей.

Месяца через три ко мне пришел человек, купивший амбар, и говорит:

– Знаю, тебе он нужен. Покупай у меня за 75.

И я купила: за это время продала китайцу свой опиум за 150 рублей, приложить к ним 25 рублей ничего не стоило. Купила без всякого документа, но при людях отдала деньги. Когда муж вернулся из армии и уехал в город, а там задумал на двоих с двоюродным братом купить дом, то деньги у нас были – вложенные в этот амбар.

Из колхоза мне даже справку не дали, что я там работала.

...Добрые люди посоветовали мне ехать в те районы, где еще не было паспортизации, подальше от центра. И я поехала, и на мое счастье – объявление: требуется рабочая сила, вернее, идет набор рабочей силы. Я туда, а там уже очередь, но говорят, что берут только беспартийных: дают

справку, что устроитесь на работу, по ней получаете паспорт в паспортном столе.

Подала заявление, получила справку – и в паспортный стол, а там мира еще больше, опять стою в очереди. Работают 5-6 столов, и все принимают документы, работают до часу ночи, и благо, что хоть в тепле. Стояли и сидели на полу, и спали.

Наконец, дошла.

Спрашивают: семья.

– Двое детей, – отвечаю.

– А муж?

– Развелись. У него другая семья.

Ночь досидела на вокзале. Сын у сестры в городе, документы будут готовы через 3-4 дня, а еще кто знает: какими они будут.

Наутро подала заявление в ЗАГС о разводе. Там спросили, где муж работает – назвала прежнее место его работы: на железнодорожном транспорте.

Справку о разводе мне выдали в тот же день, перед этим спросили: какую фамилию возьмете, но предупредили, что дети останутся на фамилии отца. Я сказала: останусь на той же.

Так я обзавелась одним оградительным документом.

Тут же встретила со своими земляками, рассказала, что ищу работу, они пригласили к себе. Живут в бараках, комнатки 3х4 метра, здесь и плита, и кухня и все остальное.

Через четыре дня получаю паспорт.

– Где муж, почему сюда приехали? – Опять задают вопрос.

– С мужем разошлись, приехала к родителям, – отвечаю.

Мне выдают одногодичный паспорт, но это уже жизнь.

В очереди на приемном пункте узнаю, что берут больше мужчин и одиноких женщин.

Осторожно выхожу из очереди, иду в сберкасса, интересуюсь. А там как раз нужен кассир!

Меня принимают. Без жилья, но я знаю, что перебуюсь.

Отпускают за сыном.

XXIII

Стоим с сестрой перед окошечком тюрьмы, спрашиваем:

– Он еще здесь или уже увезли в Магадан?

Оказывается, он уже расконвоирован, осужден на три года и работает во дворе тюрьмы. Их таких трое, они будут вот-вот переведены на строительство сахарного завода, который планируется построить за городом. Их берут туда как механиков.

Я остановилась у сестры, на второй день сюда отпустили моего бедолагу мужа.

Он проводил меня на поезд. Я расплакалась – горько начинать жизнь в четвертый раз. Четвертую жизнь.

Первая – из родной семьи в семью мужа, вторая – в свою хату с пустыми руками, третья – переезд в город, а сейчас – четвертая.

Забрала сына и уехала.

Квартиры не нашла, потому что в поселке строился военный аэродром, военными забито все, а казармы только-только начинают строиться.

Приду с работы, сын зареван, с распухшими глазами. У хозяев трое своих, двое – постарше, вот они весь день и скубут его, обижают.

Пожаловалась родителям, их ответ известен:

– Ищи квартиру.

Стала брать его на работу. Хозяйка не разрешала готовить пищу на их плите, я сдала хлебные карточки в столовую, там у нас теперь завтрак, обед и ужин. Только ночевать приходим. Но искать квартиру было сказано всерьез.

Наш заведующий жил при сберкассе – в комнатке при кладовой.

И тут ему дают квартиру. Я заняла его логово – дожить до весны, а почему до весны – сама не знаю. Просто потому, что так сама для себя раньше определила. В заявлении так и сказала – до 1 апреля, то есть чтобы к этому числу передать

должность. На мое место оказалось много желающих, я радуюсь, но на мое увольнение нет пока добро от ОГПУ, я уже не радуюсь, а страшусь. Но разрешение пришло, передаю дела и деньги молодой женщине с грудным ребенком. Муж ее тут же находится в кассе: она считает деньги, он нянчит ребенка, раскричится – она берет его на руки, муж считает деньги. До этого он подавал документы на это место, но ему ОГПУ отказало.

К началу мая я оказалась там, откуда меня выгнали, дома.

Оказалось, что свою квартиру я могу продать, ее нам вернули, а жить в городе мне запрещено.

На майские дни к нам отпускали моего бедолагу.

Узнала, что и отец вернулся из Хабаровска, работает недалеко от города, на военном объекте, снимает комнату в крестьянской семье. Ну что же, если нельзя жить в городе, поеду к нему, и муж мой толкует об этом же.

Приехали. Отец уговорил меня пойти работать в столовую – и кормиться там будете, и паек хороший: работающим дают хлеба по восемьсот граммов, детям – шестьсот, мяса на работающего – три кг, детям – 1; молоко сгущенное по 2 банки на человека, тушенка – по столько же.

Нам такой паек и не снился! Я соблазнилась – пошла. А жить-то негде.

Рядом с хибаркой, в которой отец снимал комнату, высились два дома-красавца раскулаченных, в них жило военное начальство. А во дворе стояли два сарая, в одном жила семья с двумя детьми, второй – пустой. Отец пошел в сельсовет, взял разрешение на использование этого сарая под жилье.

Он так захламлен, что страшно смотреть. Десяток ведер воды вылили на пол, чтобы можно было его отскоблить лопатой. Подчистили, оклеили стены газетами, поставили топчаны, и началась новая жизнь.

Работа в столовой адская, по четыре человека дежури́м с шести утра до шести утра, повар – военный, рядовой красноармеец, мы, женщины, ему в помощь, он только подсказывает, что делать, все на наших женских плечах, присесть нет времени.

Наша столовая для бойцов, столы, скамейки – все такое грубое, из-под топора. Три раза приходят они за день в столовую, наш повар стоит в окошке, разливает им первое, накладывает второе, а мы подаем ему посуду – это сто мисок тех и других. Прием пищи закончился – моем котлы, посуду, бочки, чашки, а потом столы, скамейки, полы, подбеливаем стены на кухне и снова чистка картошки, открывание консервных банок – это на очередные сто персон. И так изо дня в день.

Ну хоть дрова солдаты пилили и кололи, мы только носили их на кухню.

И бойцы, и командиры ухаживали за девушками, приставали, меня как-то стеснялись.

– Не верьте их словам, клятвам! – наставляла я девушек. – Будете оставлены да еще с приданным в подоле.

– Правду говорит Таня! – поддержал меня повар, молодой, но умный. Всех называл по именам.

Домой прихожу к восьми и сразу падаю в постель. Сплю до трёх-четырёх часов, а там стирка и огород, а иногда сразу в огород без отдыха, тогда уж у вечера ноги совсем не носят, а к шести утра опять на работу.

Теперь сутки работают, трое отдыхают. Кто нам поверит. Да, только мы прибрали в сарае, приехал двоюродный брат моего Петра Филипповича – отсидел два года, вернулся в квартиру ту, что когда-то одновременно с нами покупал, а ему паспорта не дают и не прописывают, хотя там живет его семья: жена и дети.

Мой отец устроил его плотником, тут он и паспорт получил. Так вот, если кто из командиров начинал подбираться, я ему: спасибо, у меня муж есть.

Однажды получила я свои продукты, иду, ко мне пристраивается капитан:

– Разрешите помочь! – А я кричу в окно плотницкой: – Даниил пойдем домой!

И он подошел, и подошел отец – он здесь заведовал кадрами, никто не знал, что он мой отец.

– Скажите фамилию этого плотника, – попросил отца капитан.

Отец назвал. Мой ухажер отдал честь и удалился.

Даниил был хороший плотник, работающий, безотказный, как-то сразу оказался на доске почета.

Одинокие командиры питались тоже в нашей столовой, только им готовили особо.

Прохожу я как-то мимо их столов, поднимается тот капитан и говорит при всех:

– Кого ты взяла в мужья! А знаешь, кого могла бы. Вон наш политрук по тебе страдает.

– Поздно вы все родились, опоздали, – засмеялась я. И подумала: «Вот ты зачем подкатывал».

Проработала два месяца и отказалась от хорошего пайка, уволилась. Зашла в городе в сберкассау – там нужен кассир-заведующий кладовой, иду на эту работу, но говорю:

– Мне нужна квартира.

– Пожалуйста, – отвечают. «Господи, как хорошо иногда бывает на свете». – Можете занимать хоть сегодня, – говорят.

У сберкассы в собственности дом на три квартиры. В одной живет инспектор с женой и дочкой, во второй – женское общежитие, в третьей – пожилая женщина, но она переходит в общежитие.

Оформилась, перевезла кое-что из вещей своих отовсюду, потому что дети и отец с матерью остались жить в овчарнике, я пустила к себе одну из наших соотрудниц.

Детей и родителей навещала каждую неделю. Там вокруг нашего овчарника мы посадили огород. Как туго станет с продуктами, мы и катим с моей новой подружкой сюда – на ломаем кукурузы, нарвем огурцов, наберем фасоли, накопаем картошки. И живем припеваючи три-четыре дня.

В выходные дни приходила сюда, обстирывала всех, своих мальчиков в первую очередь, мыла полы, купала детишек, хотя они не вылазили из речки. Это им строго запрещалось делать, но они росли неслухами.

XXIV

Прежде смерти не умирай.

Случился у меня целый месяц сумасшедшей работы: очень много принимала ценностей, в основном облигации займов всех годов выпуска – это дело наркомфин, но и марочное дело шло – клиентский портфель: принимала на хранение облигации, переписывала купюры и их достоинства, номера и серии... Уже в третьей сберкассе работаю, а все вокруг кажется новым, и сама работа – тоже. Теперешняя сберкасса – районная, а весь район охвачен подпиской на заем через нас. На этом деле у нас два бухгалтера, один из них главный. Как главный он забирал под свою руку все, даже то, что было не положено. Я все видела, но пока меня это не касалось, молчала.

Переехали мы к первому сентября на новую квартиру. Старшего сына я еще в июле записала в школу, но привела его туда только четвертого, идя на работу: она у меня начиналась в девять часов, и в школе занятия тоже начинались в девять. Прихожу домой с работы, сын сидит над букварем. Спрашиваю его:

– Ну, как, понравилось?

– Да, – отвечает. – Знаешь, когда нас повели в класс, я один был, а не плакал, другие были с родителями, а плакали, не хотели оставаться в классе....

Прошел месяц или около того, прибегает он ко мне на работу, благо, школа была рядом, подает бумажку. Читаю и обомлеваю: приглашаюсь на родительское собрание к шести часам вечера, да, я родительница, надо же бывать в школе, знать, как твое дитя учится, как там себя ведет.

Еле дождалась конца рабочего дня, прибежала в школу, почти последняя, все места в классе заняты родителями. Стесняюсь, пошла села за последнюю парту.

Вошла учительница. Представилась, назвала имя-отчество. И тут же:

– А родители Вовы Белим есть?

И сказать-то всего одно слово, но я еле-еле выговорила его:
– Есть.

«Мой сын, наверное, самый плохой в классе, а я только-только об этом узнаю», – думаю.

– Ваш сын – зеркало класса, – говорит учительница. – Очень хороший мальчик, внимательный, помогает товарищам, скромный...

Я стою, глаза всех повернуты на меня, ноги мои подсекаются.

– Да вы садитесь, – говорит учительница.

По дороге домой я пообещала сыну сходить с ним в кино.

Но обещание выполнила не скоро, так как сдавала экзамены на вечерний факультет. Окончив четыре класса, я не знала ни дробей, ни простых, ни десятичных, ни географии, много чего не знала.

И вот каждый вечер с семи до одиннадцати-двенадцати часов вечера ходила по виадуку над железной дорогой от своего дома в другую часть города, за виадуком – еще километра три. Но если прямо через рельсы-пути, то это рядом. Вот я и лазила через вагоны, а чаще – под вагонами.

Путь широк, не под одним вагоном пролезешь – под десятком. И страшно, но зато близко.

Девушку, что жила с нами, я уговорила тоже поступить на рабфак. Она загорелась, задергала руками, затанцевала вокруг себя: «Айя-ий!» Что-то, наверное, ей представилось впереди. Но экзамена она не сдала, хоть за нею-то были те же четыре класса.

– Попроси какую-нибудь учительницу за плату подготовить тебя к экзамену.

– Нет-нет, Танечка, я не смогу.

А на рабфак-то потом принимали всю зиму всех желающих: уговаривали, доказывали:

– Сможешь учиться, не сможешь, но хоть что-то поймешь, что-то узнаешь.

И все же первого сентября у нас числилось сорок семь человек, а весной на экзаменах оказалось восемнадцать. А ведь на подготовку давалось две недели с освобождением от всех работ и нагрузок, вся группа занималась вместе. Я с ними так свободно заниматься не могла: у меня – заем, деньги, документы, аккредитивы... Да сколько всего в каждой работе... Главбух заявляет:

– Танечка, зима ли, лето ли, ночь ли, день – он у вас не нормирован рабочий день.

У нас на хранении находились таблицы всех займов, мы обязаны были проверять их и сообщать владельцам облигаций, на которые выпал выигрыш, чтобы пришли получить его. На это полагалось иметь отдельного человека, но главбух со старбухом тут мудрили, а заведующий сберкассой был двадцатипятидесятилетний, посланный нам по партийной линии на укрепление из России, совсем не разбирался в нашем деле и больше пребывал в райкоме или райисполкоме, так что его наши бухи обводили вокруг пальца, а он им верил. Я же всю зиму сидела за облигациями, меня даже на занятия в рабфак не отпускали.

– Твое дело, займы, Танечка, работай, работай, работай.

Я пожаловалась директору рабфака – он позвонил нашему заву, но его на месте не было, ответил главбух:

– У нее ненормированный день...

Тогда директор не то в райисполком, не то в горком со своим постановлением, что обучающиеся на рабфаке работают только в дневную смену, в вечернее время их работой не загружать. Вызвали к начальству нашего зама, а он только глазами хлопает: ничего не знает об этом. Пришел ко мне, спрашивает, что да как. Я все рассказала, и о постановлении в том числе, ему, незнакомому. Он издал приказ не задерживать меня на работе после шести часов вечера. Это не понравилось главбуху, в отместку он все хотел подловить меня на чем-нибудь, но я – не копай ямы ближнему, сам в нее попадешь. Так оно позднее и случилось.

Вечер мне освободили, однако работы не уменьшили: все надо было сделать до шести вечера. Но все же я экзамен сдала, и даже чуть премию не получила: все предметы пять да четыре, а вот география меня подвела, я ее не любила, да, по правде сказать, и не понимала, учитель мне вкатил двойку. Так что премия прошла мимо меня. Из нас восемнадцати окончивших было три женщины, одна – жена военного, тумба тумбой, и еще одна девушка, о которой я расскажу попозже. На дворе лето, отдых, а мы все в учебе, каждый день, кроме субботы и воскресенья. И никаких каникул, ибо полагалось учиться четыре года, и диплом нам давали о среднем образовании.

А работа суматошная и спешная: все займы у меня в кладовой, в сейфах, рыночный, как его тогда называли, заем тоже у меня, его облигации свободно продавались и покупались, перед тиражом их стоимость увеличивалась на какие-то копейки, а после тиража шла рубль за рубль. То был выпуск 1932 года, да он и сейчас есть, это заем 1982 года. Он принадлежал депо наркомфина, то есть государству. Перед тиражом нераспроданные облигации мы пересчитывали, опечатывали в кладовой особой печатью, имеющейся у главбуха, но хранилась она у меня. Тиражи выигрышей проводились шесть раз в год. С получением таблиц у нас создавалась комиссия, в которую я входила обязательно, входили оба буха и кто-нибудь из других сотрудников, чаще всего кто-нибудь из учениц. Их у нас всегда было много, потому что вокруг открывались большие строительства, там нужны были счетные работники – выдавать и принимать деньги у рабочих. Два-три месяца девочки учатся, сидят рядом с нами и нашим контролером, смотрят, как оформляются документы, а потом мы проверяем их, и если самостоятельно уже умеют провести все операции, то аттестуем, и они отправляются на самостоятельную работу.

Так вот бухи берут кого-нибудь из учениц, запираются в кабинете зава, когда его нет, и берут у меня опечатанный заем, проверяют. Девочка просидит с ними, как баран у новых во-

рот, посмотрит, как они сверяют номера облигаций с номерами в опубликованном тираже, подписывают акт, и девочке дают подписать. Потом возвращают мне все облигации, а выигравшие просят оприходовать. Выигрыши у них все получались по десять рублей, а я-то знала, что это не так.

Розыгрыши были каждые два месяца. И вот в один день бухи долго ждали, когда уйдет зав, уже и рабочий день приближается к концу, а он все сидит в своем кабинете, наконец, прибежал ко мне главбух: «Давай заем, надо проверить», и девочку пригласил. Ушли, закрылись. А у меня дело горит, скорее бы все закончить да домой – хотя бы перекусить (благо, мама с детьми моими была постоянно) и на рабфак, конечно же, под вагонами. Закрыла все и убежала: кругом не успеваю.

Идет урок. И вдруг в дверях появляется сторож, называет мою фамилию: дескать, тебя к телефону. У меня сердце оборвалось, испугалась до онемения: что, где, ай-яй, ой-ой-ой! Бегу в преподавательскую, беру трубку, а там главбух:

– Где твой заем тридцать второго года? Вот я тебе пропишу ижицу, схлопочешь строгий выговор!

– Да он у вас! – говорю я, а самую начинает трясти от злости: сами затянули время, а меня еще и виновной считают. – А насчет ижицы еще посмотрим, кто кому еще пропишет! – и повесила трубку.

Раным-рано утром бегу на работу, а он уже тут. Подошел, положил на стол заем, как будто ничего не было, сказал:

– Акт и выигравшие облигации принесет Георгий Семенович. (Это старший бухгалтер, старбух).

Старбух действительно все отдал, но вид у него был как у пойманного за руку. И было с чего ему так выглядеть. Он водил дружбу с главбухом железнодорожной кассы, там шли такие же подсчеты в присутствии учениц.

В магазине как-то подошла ко мне молодая женщина и спросила:

– Почему это ваш старший бухгалтер выигрыши получает в нашей сберкассе? – Она оказалась кассиром.

Я промолчала, не зная, как быть.

– А еще каждый год в январе он сдает процентные талоны, – продолжала она.

В то время были облигации беспроцентные выигрышные и процентные. Процентные – это те, что шли по подписке на заем трудящегося, у него эти проценты отчислялись каждый месяц с зарплаты. По разным причинам, а главная – сталинщина, люди не получали эти талоны, они оставались у нас на юридическом хранении: найдется хозяин – его направят к нам, каждый год с января он будет получать свои проценты, обрезаая талоны, которые имелись на облигациях. Наш старбух требовал у меня облигации, обрезал талоны и оприходывал их в железнодорожной кассе. А тот старбух – тоже получал у нас.

Но я не сказала той женщине об этих махинациях.

И себе сейчас не сказала о той девушке – имени и теперь не назову, – которую подбивала поступить на рабфак. Лажу, хожу, кормлю, а рядом река. На реке – паром, а на нем – моя девушка: продает билеты, талончики на перевоз.

– У тебя что, нет перспективной работы? – удивилась я.
– Иди к нам в сберкассy.

– Прямо сейчас? – спросила она. А глаза раскосые, черные-черные, красивые.

– Да нет, сначала ученицей, – сказала я.

Она согласилась, пришла к нам и очень скоро усвоила нехитрую нашу науку.

Правда, сама оказалась хитрою.

Сидела, смотрела, вникала в работу контролера, потом контролер сидела, смотрела, как новая ученица работает. А работала она хорошо.

Но вот через какое-то время контролер подходит ко мне:

– Татьяна Николаевна, а у нас не хватает одного аккредитива на тысячу рублей.

Я с этой вестью к главбуху – и вместе к новой сотруднице:

– Аня, ты, наверное, испортила его и бросила в печку? – спрашивает главбух.

– Или изорвала и бросила в мусорную корзину? – говорю я.

– Скажи честно, что случилось, тебе ничего не будет! – опять говорит главбух.

– Нет, нет, нет! – Анечка в слезы и сопли на кулак мотает.

– Я ничего не знаю, я не виновата ни в чем...

Пока ничего не ясно, аккредитив списываем. Контрольные листы были книжечкой по двадцать пять страниц. Я проверила: сколько аккредитивов выдано, столько и контрольных листков. И поняла свое упущение – не догадалась посмотреть последний лист в книжечке. Контролер мне и говорит:

– Нет последнего листа, он и по номерам не пошел.

Мы опять к Ане:

– Скажи откровенно, тебе ничего не будет.

– Ни в чем я не виновата, – одно твердила она.

Главбух дает немедленно радиосхему, сообщает номера аккредитива и контрольного листа, но мы все уверены, что Аня испортила документ, но боится признаться. Она принята на работу по моей рекомендации, она очень толкова, исполнительна, только очень замкнутая девушка.

XXV

У нас новостройки: аэропорт, молзавод и другие объекты. Наехало много вербованных строителей. Кассовым работником на молзавод отправили Аню – как лучшую ученицу. Там работы немного: сберкасса второго разряда, один штатный сотрудник; принять деньги, выдать сберкнижку и выписать лицевой счет. Аня умела работать, людей убедить сумела, что по той же сберкнижке деньги можно получить не только у нее, но и в городе – и повалили к ней деньги, она вышла в передовые, а заработки у строителей были хорошие, но жили они в общежитиях – вот и несли деньги на сохранение в сберкассу:

во время зарплаты Аня приносила к нам по пятьдесят-шестьдесят тысяч.

В тот год за наше обучение взялся Осоавиахим, всем нам пришлось купить себе противогазы, нас обучали пользоваться ими в выходные дни, а иногда и в вечернее время, заставляли ходить на работу в противогазах и с работы уходить тоже в них. Закончились занятия – мы и думать забыли о противогазах. А в ноябре вдруг заревела сирена, как в дни обучения, мы и одуматься не успели, как в бухгалтерию заскочил человек в противогазе с кадильней в руках, из нее валил сизый дым, клиенты наши сразу оказались на улице, за ними убежал и кадильщик в райисполком – он был рядом с нашим зданием, а мы все до единого черным ходом во двор, там стоял дом, в котором жил заведующий райфо, мы все к нему и ввалились, и тут я вспомнила, что в кабинете у меня стоит на стуле Анин чемодан с сорока тремя тысячами рублей, страшно стало, хоть я еще и не приняла деньги, только документы проверила, да и у самой сейф раскрыт, а там около десяти тысяч, да и все остальное не зарыто. Схватила висевший на стене противогаз – и в кассу. Бог меня пощадил – все стоит раскрыто – и чемодан с деньгами, и сейфы. Первым делом закрыла двери уличные и черного входа, потом принялась наводить порядок в бухгалтерии, а глаза ест, в горле першит. Сторож жил в этом же здании, я сказала ему, чтобы он следил за кассой, а сама побежала в дом к своим сослуживцам. Оказалось, что наш зав и оба буха уже ушли домой, оставив все как есть на работе.

Мы вернулись в здание, в нем стоит сизый слезоточивый дым, работать нельзя, позвонили в Осоавиахим, что делать, дескать.

– Мы обучили вас всем правилам поведения при применении химических веществ. При появлении сигнала о химическом нападении вам надо было закрыть все двери, окна и форточки, а вы ждали, чтоб вас подкурили, помочь ничем не можем, – ответили нам.

Мы и на другой день не работали, и во второй-то начали только после обеда: зима, окна-форточки не открывали, открывали только двери, мы ходили вокруг да около – караулили, чтобы чего не случилось. Но еще раз Бог меня пощадил. А в одной организации, Гужтранспорте, это про гужевой – лошадиный транспорт речь, тогда автомашины были редкостью, если и появились у нас одна-две, так это из воинской части. Там такая же вещь получилась, как у нас, но кассу во время переполоха успели очистить, в ней было восемь тысяч – унесли все до копейки, а несчастного кассира осудили на восемь лет тюрьмы. Господи, случись что, сколько бы мне дали. Я и сейчас благодарна Богу, что вразумил меня быстро вернуться в кассу. Я тогда приняла деньги у Ани – все было точь-в-точь по документам, она была аккуратная, только неразговорчивая, застенчивая, я ее сравнивала с тихим летом. Она жила с родителями, кроме нее, были еще два взрослых брата, дом их стоял рядом с рабфаком.

Как-то один из моих соучеников сказал, что у Ани часто гуляет молодежь, песни, пляски до самого утра.

– Наверное, свадьба у вас вчера была, – спросила я у Ани.

– Да нет, брат день рождения отмечал, – ответила она.

Все просто объяснилось.

Как-то она сказала мне на работе, что ее отец едет в Омск и Новосибирск: купить кое-что из обуви и швейную машину. Я к ней с просьбой: может, он и моим мальчикам купит кое-что из обуви? На другой день она мне сказала, что отец не против. Я дала ей пятьдесят рублей, но ее отец ничего не купил, не было ничего детского в этих городах.

И вот конец тридцать четвертого года. У меня – ревизия, и ревизия месячная, если не больше. В комиссии три человека: председатель комиссии – инспектор райфо, второй член – представитель госбанка, третий – работник горисполкома. По положению я обязана была находиться при них все время, но главбух не освободил меня от работы с клиентами.

Начали с кладовой, выносим все на столы, а это займы разных лет на сумму более миллиона. Те трое ведут провер-

ку, я работаю с клиентами. Проверенное уносят в кладовую, в особо предназначенное для этого место, уносят при мне. И так каждый день. Ключи от сейфа и кладовой у них, а сургучная печать и рабочий сейф – у меня. И опять беда с рабфаком: заставляют работать вечерами, мол, за эту работу будет дополнительная оплата. Я к директору рабфака, он – в горисполком. И опять все наладилось. Я уходила в шесть вечера, все опечатав. Но по воскресеньям приходилось работать, сколько они скажут.

Прошел месяц такой работы: результат – недостает двадцати тысяч.

– Да что это такое, – обомлела я. – Откуда? Я не согласна. Проверьте еще раз.

– Еще раз? – удивилась комиссия. – Еще целый месяц?

– Хоть два, – говорю. – У меня дети, мне деваться некуда.

– Только за твой счет. Ты нашу работу оплатишь, но тебя все равно посадят.

Тут у меня сердце даже не дрогнуло. Я все делала по совести, кладовую книгу вела ежедневно – ни на день не запустила, ни копейки не взяла из кассы. Что могло быть?!

– Делайте во второй раз, – настаиваю.

Конечно, делают. Но во второй раз все получается быстрее, уже каждый пакет не проверяют, сверяют только суммы, но идут они – и уже пятый день на исходе, и уже злятся на меня:

– Специально затягиваешь, но нас не обманешь, стой в стороне, не подходи к ценностям.

Делаю, как велят, но сердце уже спокойно.

Закончили, результат тот же – недостает двадцати тысяч...

– Это подло, издеваться над нами! – закричал председатель комиссии. Пишут акт, я не подписываю, только смеюсь, а чему смеяться – сама не знаю.

– Ишь, хохотушка, знает, что разговоровала, и насмехается над нами.

И тут старший бухгалтер становится на мою защиту:

– Не обзывайте ее, она еще не на скамье подсудимых.

А рабочий день окончен, все уходят, я остаюсь одна, все вокруг опечатано, хотели и печать у меня забрать, но я сказала, что пока не передам дела, печать будет у меня.

Пришла домой, легла на кровать.

– Ты что, не пойдешь на рабфак?

Я заплакала:

– Да, мама, не пойду: у меня недостача двадцать тысяч, если они не найдутся, я брошусь в прорубь. Ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед собой я не виновата.

Мама перекрестилась и с дрожью в голосе спросила:

– Так как же, доченька, это случилось?

Я молча отвернулась к стене, ужинать не стала. Мама детям ничего не говорит, а они и рады, что я дома.

Пришел отец:

– Что Таня заболела? – спросил он.

– Да, – ответила мама. Но когда мои мальчики уснули, она все рассказала отцу, он подошел ко мне, увидел, что я не сплю, стал ворчать на меня:

– Как ты это могла допустить, зачем взяла такую ответственность на себя, – много чего наговорил.

Я всю ночь не сомкнула глаз, меня колотило, трясло всю ночь, все передумала: а где, а что я упустила? И тут пришла мысль: ведь я давала девочкам, нашим работницам, ключи от кладовой, они ставили туда два ящика своей картотеки, а утром так же – нате ключи, забирайте свою картотеку. Ну неужели они это сделали? За ночь перегорело, стало все безразлично: река рядом, прорубь большая. Утром встал и ушел отец, собрался и ушел в школу сын – я никому ни слова. Собралась и пошла сама, а в сенях стоит мама, фартуком вытирает глаза, берет меня за плечо:

– Таня, подумай о детях...

Пришла. В кассе – никого. И сторож уходит, как только кто-нибудь из сотрудников приходит. И появляется старбух, присаживается рядом и говорит:

– Как ты полагаешь, что могло быть?

– Давайте прокрывим наши своды на первое января тридцать пятого года и кладовую книгу.

– А ее у меня нет, опечатана в рабочем сейфе.

– Тогда с описью комиссии, второй экземпляр ее у вас.

Он называет у себя в ведомости-своде, я – у себя. И вдруг! Хранение райпотребсоюза – 24250 рублей, а у них – 42504! Опять у меня оборвалось сердце: это сделали девочки, хранение лежит первым на первой полке. «Боже, Боже!» Ровненькую суммочку прикарманили. А вокруг уже собрались сотрудники, нависают над столом, а одна из контролеров обхватила меня сзади за плечи и говорит:

– Успокойся, все будет хорошо. Сегодня ночью моя мама ворожила на луну и что тебе будет интерес.

Правду надо сказать, все мне сочувствовали, переживали за меня. Мой бухгалтер звонит в райфо, просит прийти председателя комиссии с ведомостями и ключами. Пришел. Полудень у него была фамилия. Бухгалтер показывает ему нашу сверку.

– Значит, надо проверить, – сказал председатель. Промотрел печати, открыл кладовую: – Ты не заходи, – сказал мне, – а укажи, где это хранение. Я указала с порога. Он взял, что надо, и опять закрыл на замки. А у меня так легко на душе стало. Раскрыл он этот пакет, даже буху не дал подойти близко. Вынул деньги, просчитал раз, другой начал, а мой бух говорит:

– Да по объему видно, что там не четыре семьсот пятьдесят, а много больше.

Но тот просчитал в третий раз, бросил ключи на стол, вынул акт проверки, разорвал:

– Перепишем ведомости, подпишем все трое и принесем вам.

Все сели на свои места, и начался рабочий день.

А сердце-то материнское рвется-бьется, не может: смотрю, мама заходит в сберкассу, а она и знать не знала, где место моей

работы, спрашивала у людей, где сберкасса, входит и за руку ведет моего младшенького, подходит к моему окошку и говорит:

– Тебе письмо пришло, может, что срочное, а мы не прочтем.

Подает конверт, а я вижу, что письмо-то старое, и поняла, зачем она пришла. Вышла, проводила их, рассказала, что все в порядке.

Мама перекрестилась:

– Не в силе Бог, а в правде. Завали ее золотом, затопчи в грязь – все наружу выйдет.

XXVI

День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, а у нас все нормально. Правда, только до третьего мая 1935-го года, когда нагрянули областные ревизоры: глубокая документальная ревизия.

Только тут к месту сказать: вам просим милости от Бога, а себе от вас. И до третьего мая не все гладко шло у нас. Учениц в сберкассе мы набирали всегда, все время. И главбух вдруг подумал, коль скоро я вечерами не работаю, да и никто не работает, а облигаций у народа на хранение набираем много, за что получаем денежку, но и проверять эти облигации на выигрыш обязаны за это, но и сообщать клиентам об их выигрыше, если он случится, и о получении денег, а мы своим штатом это делать не успевали и не делали, главбух и надумал взять еще троих девушек, чтобы поручить им это дело. Как задумал, так и сделал: отвел им место за печкой, а мне приказал выдавать эти хранения для проверки, я ежедневно выношу им пять-десять пакетов с облигациями, а займы разные, разных годов выпуска и тиражи разные. Девочек же никто ничему не научил, не объяснил, как и что. Вот и сидят они день-другой, третий – проверяют, я выношу и уношу им пакеты, а что с ним случилось, с пакетами, за это время, не проверяю – у меня нет времени, но все же знаю, что в таблицах есть выигрыши, а девочки о них не сообщают. Но вот пришли, дают

карточки – на такой-то номер выпал выигрыш двадцать пять рублей. А наши бухи до этого уже проверили, в их комиссии была и девочка, принеся мне карточку. Это был государственный Золотой заем. Я сказала главбуху, что пакеты с облигациями займов я выношу девочкам, а что уношу от них, не знаю, может быть, кота в мешке, чем я гарантирована, что там ничего не напорчено? Главбух об этом сказал старбуху – тот сказал, что действительно мы поступаем неправильно, взял и уволил всех учениц. А в чем они были виноваты: им никто не показал даже, как оформляется сберкнижка. Я тем временем по представленной мне карточке написала клиенту извещение об его выигрыше, клиент оказался из войсковой части. Он приехал третьего мая, предъявил мне мою писанину, я в его хранение, а облигации указанной-то нет. Я – к старбуху, он – к главбуху.

– Выплати, Татьяна, – сказал тот. – Выигрыш сто рублей, это облигация у них была двадцатирублевая. Итого – сто двадцать пять. – И выписывает ордер.

Я выплатила, прочитала остальное – все, как надо, положила на место.

– Раз недосмотрела, восстановишь своими, – сказал главбух.

День закончился. Все разошлись, ордер я оставила в кассе, как наличные деньги.

Наутро прихожу на работу, а меня уже ждут два ревизора. И начали с меня – остаток кассы, вчерашний дневник и кладовая книга. Я все это им предъявила, а еще – ордер на 125 рублей.

– Дайте нам адрес, кто получал, мы все выясним.

Я дала им адрес и даже карточку ту, что девочки написали. На второй день приезжает капитан – четыре кубика на воротнике, подтверждает, что деньги получил. Ну, слава Богу, думаю, обошлось. А вечером ревизор: покажите хранение, дескать, как могло оказаться, что в пакете не было выигравшей облигации?! Я ему рассказала об условиях нашей работы, о порядках у нас – и ревизорская проверка у нас затянулась на полгода: проверили работу бухгалтерии за много лет. Меня оставили в покое, но у всех взяли подписку о невыезде.

Помимо Ани, у нас в кассе были еще четыре таких девицы да воинские начфины пятого класса – все они отчитывались у меня деньгами и облигациями. Я была с ними строга и ответственна, многие из них дулись на меня, а некоторые даже затевали интриги. Как-то влетает ко мне начальник милиции и кричит:

– Кто-нибудь недавно получал у вас деньги по аккредитиву? – и смотрит на меня с угрозой.

– Получал, – отвечаю и смотрю ему прямо в глаза, мне нечего бояться. Он когда-то норовил поухаживать за мной, да не в ту дверь попал.

– Сколько?

– Тысячу. Выдала двумя пачками пятерок по сто штук.

– Где он, этот человек? Еще получал?

– У нас есть касса на железнодорожном вокзале, он там получил еще тысячу, просил еще одну дать, да кассир позвонила мне, можно ли еще дать, я, конечно, запретила это делать: по закону мы в один день больше тысячи выдавать не имели права; надо больше – закажи хоть десять, хоть двадцать тысяч с утра на следующий день. Этот парень и у меня просил выдать ему побольше денег, сестренкой называл.

– Ага! Он к тебе с большими аккредитивами, с сестренкой, это тебе нравится, ты и выдала ему.

– Откуда вы это взяли? Он подходил три раза, и три раза ему было отказано.

– Если он подходил три раза, был настойчив, значит, подолгу задерживался у окошка кассы, ты могла бы его узнать?

– Конечно. Он одет был в желтую куртку, на голове серая полковничья шапка.

Начальник милиции приказал вызвать сюда Катю, кассира из кассы на железной дороге, которая тому человеку тоже выплатила тысячу рублей. Катя прибежала испуганная, милиционер тут же ее допросил, задал те же вопросы, что мне задавал, она так же, как я, отвечала.

– Идите в милицию, – сказал он нам, – узнаем, на каком основании вы выдавали ему деньги.

Я выдавала их подотчет старшему контролеру. Но почему-то у меня екнуло сердце, подумалось: «А вдруг я не вернусь?»

Зашли в его кабинет, в нем окна были во двор. Начальник открыл сейф, показал пачки денег:

– Которые ты ему давала?

– Вот эти мои, он просил дать купюрами покрупнее, но у меня их не было. Здесь и дата на бандероли, и моя роспись.

– Давайте его сюда! – кому-то крикнул он через окно.

Мы видим, ведут нашего знакомого. Вдруг шум, крики, начальник выскакивает из кабинета, мы сидим ни живы ни мертвы минут десять – пятнадцать. И тут дверь открывается, наш знакомец утирается кровью, а начальник будто оправдывается перед нами:

– Уже на базаре поймали...

Базар рядом, он оттолкнул милиционера и туда, чтобы затеряться среди народа. Те, что завели его, стоят, держат под руки, начальник что-то сказал им, посадили его, потом сидячего подняли и со всей силой ударили об пол, один и другой раз – он только вскрикнул: «ой». Мы с Катей соскочили и убежали, не смогли смотреть на это. Потом нас еще раз позвали в милицию, расписаться, а через месяц пригласили на суд. Здесь мы узнали, что паспорт и аккредитивы были им у кого-то украдены, деньги получал по паспорту, тогда они были без фотографий, а разница у него в возрасте с хозяином была меньше двух лет, фамилии были далеко разные, на что обратил внимание начальник милиции, а мы не обратили. Дали ему десять лет, после приговора он вскочил и бодро крикнул:

– Отсижу два года – и даешь Европу.

Меня все считают разведенной, говорят, какой же муж был безголовый, что мог тебя бросить.

– Не он меня бросил, – отвечала я, – это я на другого позарилась.

И мальчики мои ничего не знают: бросил их папа, вот и все.

У нас глубокая ревизия, на работе задерживались до позднего вечера. А тут прошел такой ливень, ручьи по улицам бегут, а он то перестанет на несколько минут, то опять за свое примется, нам домой надо, но ливню-то не прикажешь. И вдруг появляется мой старшенький, уроки у него закончились, идет ко мне, несет дождевик. И мы с ним отправились домой.

— Мама, — говорит мне сын, — приехал тот, кто был наш папа.

Я его за руку и бегом по лужам. Знала, что он должен освободиться в июне, а сейчас конец мая.

Конечно, встреча, радость: папа вернулся, дети висят у него на шее, а у меня-то, ну, разумеется, родное что-то, но такое далекое — будто муж и не он будто, такое нехорошее, отстраненное чувство.

— Поедем в Анапу, мать, — сказал он. — Договорился с другом по отсидке, он уже туда уехал, я здесь, чтобы забрать вас.

— Конечно, конечно, Петруша, — говорю. — Но у меня подписка о невыезде. Ты поживи с нами, сколько можешь, и догоняй своего товарища. Мы приедем следом, ты там к встрече приготовишься.

Так и решили. Думали, месяц-другой продлится это дело, муженек мой уехал, а у нас закрутилось такое!

Наша Анечка оказалась совсем уж очень умной — из-за нее два раза пришлось ездить в область к военному прокурору, вот вам и робкая-то и тихая-то девочка. Что она удумала? Помимо карточки вкладчиков, завела свою картотеку, а в них или ничего не вписывает, или вписывает какие-то крохи. Никаких приходных ордеров не выписывала. И вот предъявляет человеку книжку, ордер выписывает на хорошую сумму, контролер взяла книжку — там вроде все в порядке, а на лицевом счету таких денежек в помине не водилось, поискала — и приходных ордеров нет. Она к ревизорам — ревизия все еще у нас идет.

— Выдать все, сколько просит. Остаток, что в книжке, введите мне и лицевой счет мне.

Вечером Анечка пришла, отчиталась, ничего не зная, а утром ревизор с лицевыми счетами к ней и давай сверять ее с картотечкой. Да и рабочим-вкладчикам было объявлено, чтобы в любое время со сберкнижками зашли сюда и ровно месяц жили там, раскручивая Анечкины дела. Наша тихоня день с ревизорами в кассе, ночь – в милиции. Оказалось, разворовала она пятьдесят три тысячи трудовых рубликов. Совсем немного! Вот почему каждый вечер в ее доме были дни рождения у ее братьев.

XXVII

Только закончили Анечку, то же самое обнаружилось у военного начфина, этот уже со шпалами на воротнике, он был наш агент, отчитывался передо мной. Приезжал к нам на маломальской двуколке, запряженной клячей, но зато зайдет, со всеми за руку поздоровается, угостит семечками, иногда даже тыквенными, иногда угощал дынями и арбузами. С нашим главбухом они были друзьями не-разлей-вода. И вот так же предьявляет военнослужащий ордер, сберкнижку, а на лицевом счету нет тех денег, что он просит выдать: в книжке есть, на счету нет. То же, что и у Анечки. Ну, мы выдали ему требуемую сумму, вписали остаток, а утром уехали в военные части, они – которая за пятьдесят километров от нас, которая за сто, а самая близкая – двадцать пять. Начфин этой части сейчас стоит у меня перед глазами: подтянутый, аккуратный и очень внимательный, все отчеты у него были в ажуре, чистые и честные, один из всех начфинов – немолодой, фамилию его помню – Дубинкин.

Так вот не меньше месяца мы выводили его на чистую воду, насчитали пятьдесят тысяч рублей, к тому же он был распорядителем кассы взаимопомощи – там тоже набралось за ним десять тысяч, итого – шестьдесят. Меня и еще кое-кого из наших вызывали в область к военному прокурору: там нашли какую-то связь нашего главбуха с этим Дубинкиным. Конечно, можно было бы об этом кое-что сказать, но, боже мой, и не в таких делах без нас разбирались! Ревизоры поначалу подумывали, что у меня

лады с главбухом, водили наших девочек в ресторан, напропалую ухаживали, расспрашивая при этом будто нечаянно: как там, дескать, у них. А как узнали, что у меня нейтралитет и с главбухом и старбухом, давай наводить справки, что они, девочки, знают об этих бухгалтерах. Можно было бы сказать кое-что, хотя бы как они займы проверяют, но девочки решили, что если что станет известно, то пусть будет не через них. Ходили разговоры вокруг да около, перебрали горы бумаг – и вышли-таки на тот несчастный аккредитив пропавший и контрольный лист. Обнаружили и меня спросили: что да как. А я забыла, потому что случай-то произошел в ноябре тридцать четвертого.

– Этот аккредитив оплачен на станции Тайга. Тысячу рублей по нему получил отец нашей Анечки. – Ревизор посмотрел на меня, усмехнувшись. – Я грешным делом думал, что это вы, Татьяна Николаевна, нашли применение пропавшему аккредитиву, дав радиосхему по отделениям.

– Это входит в обязанности главбуха, – спокойно ответила я.

Потихоньку мы начали выходить из ситуации, созданной нашей Анечкой: проверяли книжки вкладчиков и суммы из этих книжек вносили на лицевые счета, делалось это так, чтобы никто не догадался, что происходит: к нам бы люди не приносили свои денежки, узнав, чем вызвано это обращение к ним. План вкладов у нас большой, число вкладчиков – тоже, мы все боролись за увеличение их. Вербованные на строительство мужики зарабатывали хорошо: мы, мужики вятские, люди хватские, – говорили. Мы немало с ними работали, ходили на производство во время зарплаты.

– Храните деньги в сберегательной кассе, – уговаривали их. Приносили с собою сберкнижки, лицевые счета, печати. И рабочие шли на уговоры. За счет этого мы выполняли и перевыполняли план.

Мы обеспечивали три вида вкладов: первый – текущий, то есть рабочий, по нему начислялось три процента; срочный – деньги пролежат не менее полугода, по нему начислялось пять

процентов; и третий – выигрышный, по нему проценты не начислялись, но они участвовали в розыгрыше – шесть раз в году. На тысячу номеров приходилось двадцать пять выигрышей по ним: двадцать – по двадцать пять процентов, четыре – по пятьдесят и один – сто. Розыгрыш проходил у нас в сберкассе, создавалась комиссия из представителей от разных учреждений – десять человек. В урну-барабан вкладывали бумажные трубочки, на которых писались номера счетов, на трубочки надевали пистончики, чтобы они при перемешивании не раскрывались. По сторонам стоят два пионера: один вращает барабан, второй достает трубочки, называет номер счета.

Мне помнится случай. Был у нас рабочий с трехпроцентным вкладом.

– У вас изрядная сумма, – говорю, – почему бы вам не снять ее с процентного вклада и не положить на выигрышный.

– Дураков нет, поженились, – ответил он.

Ко всяким процентам и займам отношение было неважное. Из зарплат каждый месяц высчитывали на какой-нибудь заем. Вот он и ответил мне так:

– У меня облигациями ящик в столе забит. Могу продать, пусть у тебя выигрывают, у нас они не играют.

– А у нас вы можете взять процентный положить на выигрышный, а потом возвратить на тот же процентный или вообще снять все.

Я ему доказывала, он возражал, приводил примеры нелицеприятные, обзывал всех кулаками, но потом что-то с ним случилось, дескать, была не была: взял полторы тысячи и переложил на выигрышный.

И в первом же тираже выигрывает сто процентов! Я так была рада этому, как будто моя сберкнижка выиграла. А ведь он тогда пригрозил мне:

– Ну смотри, черная, обманешь – не прощу!

И тут он приходит делать очередной процентный вклад, подает контролеру книжку, я увидела его и засмеялась.

– Что, черная, думаешь опять подбить меня. Дураков нет, поженились, – и сердито замолчал.

– Подайте контролеру выигрышную, – говорю.

Он нет, нет и матом.

– Ваша книжка выиграла сто процентов! – успокаивала и втолмачивала ему контролер.

В общем, он подал свою выигрышную книжку, контролер вписала ему новую сумму, он увидел, что вместо полутора тысяч стоит три, оторопел – и к моему окошку:

– И это все мои деньги, и я все могу сейчас взять?!

– Конечно.

– Беру все, – бросился он к контролеру. Она выписала ему.

– И те, что положил на процентный, можно?

– Берите.

Получил, постоял, посмотрел вокруг – и опять ко мне:

– Это правда мои деньги? – я кивнула головой. Народу в кассе было человек десять. Мужчина зажал деньги в руке, поднял над головой и заораторствовал: – Теперь я верю, что советская власть справедлива, не обманывает трудящегося человека.

Народ смотрел на него, как на недоумка. А он опять ко мне:

– А могу я опять положить их все на выигрышный счет?

– Конечно, конечно.

Он сделал все, как хотел, и опять ко мне – подает двадцать пять рублей:

– Вот тебе, черная, спасибо. Разъяснила мне, темному.

– Возьмите свои денежки и впредь так не поступайте! – а он будто и не слышит, повернулся – и бегом из кассы.

Его двадцать пять рублей я отдала контролеру, чтобы она вписала их в его счет.

– Я ото всей души это сделал, – упрекал он меня, придя следующий раз к нам, – а вы... Я бы конфет купил, да где их взять?

Вскорости ему повезло еще раз, но уже только на двадцать пять процентов, но и вклад у него тогда уже был солидный...

А у нас все дела ревизионные: нас дважды с контролером вызывали в область, с нами больше разговаривал военный следователь: какие отношения были у финансового начальника из войсковой части с нашим главбухом, мы в один голос: ничего не знаем, начфин хороший человек, угощал нас семечками... Потом началась ревизия в железнодорожной кассе, опять пришлось быть на допросах, отвечать на те же вопросы: какие отношения вашего главбуха с нашим главбухом, на какие облигации получал он деньги.... Да знаю я все, и ничего не знаю: на дворе сентябрь, мне надо ехать к мужу. Отвечала: все было давно, ничего не помню, у нас и кассы, и бухгалтерии отдельные. И это мне помогло быстрее уехать, задолго до суда, на котором я ничего нового не могла бы показать.

И вот двадцать пятого октября митинг вечером. Зачитали результаты ревизии. Анечка была тут же, но под охраной милиционера. Меня хвалили.

– И вот если бы на месте Татьяны Николаевны оказалась эта Бруенкова (такая фамилия была у Анечки), каких бы бед она натворила! – сказал старший ревизор.

Мне, единственной во всей бухгалтерии, вынесли благодарность. Мне прямо краска в лицо ударила – стыдно стало.

Мой муж спокойно поживает в южном городе, купается в ласковом море, снял недорогую квартиру, ждет нас и между тем пишет недобрые письма мне и моим родителям: почему Танька не едет, что от меня скрывает. Дескать, похоже на то, что вообще ко мне не собирается, нашла отговорку: видите ли, у нее взяли подписку о невыезде. О том и сестрам своим писал, а письма не просто неумные – недостойные.

А у нас здесь действительно жизнь немного наладилась: отцу дали квартиру, мы немного пожили вместе, но надо ехать. Отец выписал маме бесплатный билет, туда вписал одного из моих сыновей, а на себя и другого сына я приобрела сама. И тут меня хорошо нагрели: я подсчитала, сколько мне нужно заплатить до Новороссийска, подала в железнодорожную кассу, мне

выдали билеты, я их не проверила, положила вместе с паспортом в свою сумочку. И всего делов-то. Ан нет, век живи, век учись!

Уезжали ночью, снег – света белого не видно, из провожающих отец, сотрудницы да несколько знакомых.

В Свердловске к нам подсели какие-то ученые мужчины: порусски разговаривают чисто, хорошо, а между собой у них какой-то свой язык. И все с моими мальчиками возились, на какой-то станции купили им по книжке, старшему «Ученый агроном», наверное, потому, что мама моя сказала, что он любит копаться в огороде, цветы высаживает и тут же о моем младшеньком поведала, мол, очень друзей любит и что их у него много, так ему купили «Костя Щербатый». А его действительно звали Костей, и в то время он как раз и был щербатый. Тут и я на одной из станций покупку сделала. Раньше на вокзале стояли столы, частная торговля шла, торговали и вареным, и пареным, и жареным, молоком и сырами, много чем торговали. Я купила брикет сливочного масла, а когда стали пить чай, хотела взять масло на нож, а брикет и рассыпался: сверху масло, а под ним – брюква-калега. Красиво сделано, но чаю с таким маслом не попьешь.

Наши соседи долго над нами смеялись.

– Видишь, какие дела, Константин Щербатый, ты ротозей, да и мама твоя вон как зевнула!

Какая-то очень крупная станция. Наши соседи выбегают, я за ними: купила всякой всячины съестной, зелени, яйца. Вернулась в вагон, следом запыхавшиеся соседи наши прибежали. Возбужденные, только тронулся поезд, засели за трапезу, у них колбаса, ветчина, куры – все, что нами давным-давно забыто. Надо всем богатым столом возвышаются две большие бутылки, невиданные, с красивыми наклейками-этикетками – дорожные-предо-рожные, сургучные печати по бокам, не простые фабричные.

Красивые ученые мужчины развернули все это богатство, говорят нам:

– Угощаем! Давайте ваши чашки.

Мы с мамой отказались.

Один из них налил себе, хорошо отхлебнул – и поперхнулся. Другой посмотрел на него с понимаем, отставил свой стакан, открыл вторую, бутылку, а первый налитое выплеснул в проход. Налили из второй по чуть-чуть, попробовали и отставили. Смеются:

– Вот теперь ты, Костя Щербатый, смейся над нами! Нас речной водой угостили.

Ко мне подошла проводница. За ней контролер.

–Куда едете?

–До Новороссийска.

–А почему билет до Новосибирска?

У меня оборвалось сердце, ноги подкосились.

– Да как же, – я деньги до Новороссийска платила, мы вместе с мамой туда билеты покупали. – Взяла у мамы билет, показываю. – Мы же вместе едем.

– Ничего не знаю! – говорит ревизор. – Покупайте билет от Новосибирска до Свердловска.

– Боже мой, – обомлела я, – а дальше-то как?

– А дальше, вот скоро будет длительная стоянка, купите билет до Новороссийска.

Шестого ноября мы приехали в Москву, детей определили в детскую комнату, а сами поехали смотреть город. Я повела ее по местам, где была в тридцать первом.

...Да, да. Тридцать первый год... У дяди Васи, мужа моей сестры, характер шебуршной, сумасшедший: что перед ним – не видит, что за ним – не оглядывается. У него железнодорожный билет на двоих – работник ж. д. К нему вписали меня. У него в Москве двоюродный брат, у дяди Васи есть его адрес. Мы с поезда – в камеры хранения, он оставил меня сдавать чемоданы, а сам побежал искать брата: думал, как в деревне все всех знают. Вернулся разгоряченный, громкий: я уже расспросил, где можно найти Марка, там Сухаревский рынок, там магазины, там трамвай такой-то, а какой, я уже не помню. Приехали на

Сухаревку, там ларек, мой спутник кричит, на нас обращают внимание, он ни на кого не обращает, но, тем не менее, кое-что купила, он побольше, потому что и денег у него много – он машинист, я поменьше. Предложила, прежде чем поедем искать Марка, давай покупки положим в чемоданы и сдадим их в камеру хранения. Поехали, сдали, а он меня опять на Сухаревку тащит и утащил – его не уговоришь. Он бегаёт по базару, кричит: Таня сюда, Таня туда, а народу не протолкнуться, я за ним не поспеваю. Успела купить себе платок зимний, ботиночки своим мальчикам – денег осталось двадцать пять рублей, да сотня спрятана в чулке, в туфле, и у него припрятано сто двадцать пять рублей. Таня туда, Таня сюда, кричит мой напарник, опять мечется по базару, вдруг я заметила, что за нами следят.

– Тише, Вася, – одергиваю его, – тише. Похоже, за нами следят.

– Да что с того, что следят, это Москва, чего нам тут бояться.

Он орет, а я вижу, что на нас-то действительно обращают внимание двое мужчин, а милиции вокруг никакой, отберут у нас все покупки, ограбят.

– Пойдем отсюда, Васенька, – прошу, а он задрал голову, зыркает туда-сюда глазами и носится по рынку.

Те двое подходят к нам:

– Товарищи без шума пройдемте с нами.

Я испугалась.

Мой спутник побледнел: кое-как выговорил трясущимися губами:

– Никуда я не пойду, давайте сюда милицию.

Один из мужчин достает удостоверение, предъявил ему.

– Я этому не верю, давайте сюда милицию! – повторил Вася.

– Уведем силой, – сказали они. И Вася смирился.

Мы пошли, шум рынка остался далеко позади, подошли к какому-то узенькому проходу, с двух сторон стены, неба не видно. И мой шустрый мужичок закричал:

– Режьте меня здесь, дальше не пойду! Возьмите все, и отпустите меня.

– Хорошо, оставайся, – сказала я ему, – а я пойду с одним из товарищей.

Прошли тупик, он оканчивался дверью. Вошли в нее, а за нею большое зало, полным-полно народу-работников, мужчин и женщин, милиционеры в форме, множество столов, следом за мною и Вася притащился. Подводят нас к милиционеру.

– Ваши документы, кто вы, что вы.

Мы показали свои удостоверения и билеты.

– Вы что, часто ездите сюда?

– Нам железнодорожный билет бесплатно дается один раз в год, не будь этого билета, нам век бы Москвы не видать.

– Почему вы не зашли сразу к нам, не посоветовались, мы бы вам посоветовали, как быть, как вести себя, где что купить в магазинах. А Сухаревка – это толкучка, здесь одни спекулянты и воры...

– Откуда нам было все это знать, нам в поезде говорили, что на Сухаревке только живой воды нет, – вставила я.

– Так вот мы на первый раз вас немного оштрафуем, на другой раз не попадайтесь – осудим.

Взяли с нас пять рублей штрафа, с Васи – двадцать пять. А за что, я и по сей день не понимаю. Выписали квитанции, отпустили, но проверили, что же мы купили, а покупок-то было у меня на шестьдесят рублей, у Васи на восемьдесят.

– Давай погуляем по Москве, – говорю ему, потому что как-то спокойнее на душе стало. – Погуляем, посмотрим, не следят ли за нами.

– Только на вокзал! Никуда более, – кричит Вася.

Приехали. Он захотел тут же компостировать билеты обратно на четыре часа дня.

– Бог с тобой, – говорю. – Мы в шесть утра только приехали, одиннадцать суток тряслись в дороге, а ты уже домой собрался!

– Только уезжать, Танечка. Только уезжать. Мы попали в руки какой-то шайки.

Еле-еле уговорила его остаться. Уложили все в чемоданы и опять сдали их в камеру хранения. И поехали искать квартиру брата Марка на Ленинградском шоссе. Нашли. Комната три на три метра на четвертом этаже, кровать, столик и все. Старушка-хозяйка расплакалась:

– Жил он тут у меня, когда у него никакого угла не было, сейчас нашел где-то себе получше квартиру.

Но напоила нас чаем, ночевать оставила, меня положила к себе на кровать, а Вася лег тут же рядом на полу. Утром бабуся опять напоила нас чаем и повезла к месту работы Марка. Он сразу там нашелся: приковылял на проходную. Он старый партизан, у него протез до колена, дрался с белыми на востоке, весь был изрублен, изранен, но выжил. Теперь живет в Москве, работает на обувной фабрике.

Бабуся со слезами на глазах к нему:

– Видишь, твой брат приехал, а тебя найти не может.

– Хватит тебе! – сказал ей сердито Марк.

Мы рассказали ему о своих вчерашних приключениях, он так же сердито отругал брата, а меня он не знал, потому ко мне почти не обращался, лишь посмотрел в мою сторону, когда Василий сказал, кто я. Обозвал нас простофилями, назвал адрес, куда мы должны обратиться, там нам вернут деньги, которые у нас ни за что взяли.

– А вечером приезжайте ко мне, – он назвал новый свой адрес, – там, кроме меня, будет вон та женщина, – указал он на опрятную работницу во дворе, – ее зовут Полина Павловна. Она мне вроде жены, – и засмеялся. – Познакомились мы с ней, приводит она меня к себе на квартиру, раздеваемся, она улыбается во весь рот: «Был у меня один протез, теперь будет два». – Я хромаю на правую ногу, она достает из-под кровати протез на левую. Это говорит, у меня от первого мужа остался. – Тут он что-то поскукнел и произнес: – В общем, живем. Приходите.

Поехали мы с Васей искать учреждение, куда нас отправил Марк, на всякий случай денежки свои спрятали в туфли,

оставили в карманах лишь по пятерке. Ехали-ехали – и вот оно учреждение: все правильно и номер дома тот, и название учреждения, и комната № 8 в подвале. Я первая туда спустилась.

– Нашла, – говорю, – вот она номер восемь.

Спустился Васенька: иди, говорит, первая, я потом войду. И тут появляется вчерашний наш штрафовальщик, заулыбался и вошел в № 8. Василий меня за руку:

– Бежим, они нас тут посадят!

Бегом по лестнице вверх и давай путать улицы, чтобы нас не нашли преследователи. Скорей, скорей – и на вокзал в кассу. Он встал в одну очередь, я в другую. На восток, на восток! И на него мест хватило, он закомпостировал билет, а у нас в кассе билетов не оказалось. «Оставайся! – кричит Вася. – А я уезжаю». Я оглянулась на очередь: такую отстояла (она, конечно, во много раз меньше наших!) и вот ни с чем оказалась. И тут меня осенило.

– Васенька, у тебя билет-то на двоих.

Он оторопело посмотрел на меня, потом хлопнул себя по лбу:

– Правильно! – однако, подумав, произнес: – Ну и что!?

В те годы, одного из членов семей тоже вписывали в бесплатный железнодорожный билет, моя сестра, жена-то его, тоже должна была поехать с нами, но свекровь не захотела остаться с их детьми.

– А то, что я сяду по твоему билету, а потом свой в дороге закомпостирую.

– Ох, и умница ты, Танька! – только и нашелся он, что ответить.

И мы поехали несолоно хлебавши из столицы на родной Дальний Восток. Нас в вагоне считают мужем и женой, проводник тоже, а у меня кошки скребут на сердце: удостоверение-то у меня на другую фамилию. Компостирую часа через три свой билет, а Васенька бегает по вокзалам, разыскивает себе вино, найдет, выпивает все сразу и ложится спать, а меня пассажиры стыдят:

– Что это ты за жена такая, не можешь его уговорить, отнять деньги, да как ты с ним живешь?!

– Он мне не муж, – наконец ответила я.

На следующий день в вагоне появляется ревизор и прямо-ком ко мне:

—Ваш билет и ваше удостоверение.

Я предъявила.

—А почему садились по другому билету?

Я объяснила, как было. Он молча кивнул головой и вышел из вагона.

Меж пассажирами разговор:

—На вокзале в Иркутске прямо на вокзале госвинмагазин.

«Вот удача, — подумала я. — Куплю бутылочку, приеду к родителям не с пустыми руками». Дело в том, что, едуци в Москву, я оставила своего младшенького у родителей. Вот и бутылочка кстати при встрече: тогда вина нигде не было или было очень-очень редко.

Взяла я все-таки эту бутылочку, Васенька тоже взял. «Скажем своим, что московская». Не прошло и дня, как он свою выпил, а моя в чемодане закрыта и ключ у меня в кармане. Я в соседнем купе играю в карты, а Васенька знай себе спит-посапывает. Загляну раз — спит, загляну два — спит.

Наигралась, вернулась в свое купе.

—А твой-то чемодан, девонька, открыл ножом, взял бутылку и выпил.

— С чем мы к родителям-то заедем, — ругала я его, когда он проспался. Да ему хоть бы что: прости да прости.

На родительской станции он отказался выйти, поехал дальше.

Телеграммы никакой домой я не давала. Появилась нежданной-негаданной. Дома все перепугались: что случилось? Не верят, что из Москвы приехала.

Рассказала им обо всем. На том и ночевать улеглись.

XXIX

Прошло четыре года, и я снова в Москве. Но уже с мамой и своими детьми. И мама моя, и дети рты пораскрывали на то, что перед ними появилось, никогда о таких чудесах даже не мечтали.

Повозила маму по местам, где мы до этого побывали с Васенькой.

Марк так и жил с Полиной Павловной в уже обваливающемся частном домике на Соколе: кухонька, комнатка да еще что-то вроде пристройки через дверь.

Боже мой, сколько бед на народ свалилось после революции!

Представляю всех моих родственников сейчас в том времени и теряю нить повествования. Спустя двадцать лет, в 1957 году, мы уже с мужем были в Москве, заезжали к тому же Марку, их домик с Полиной Павловной совсем скособочился, чужим смотрелся в Москве. Полина Павловна смотрелась бодро, а Марк совсем был плох. Мы были в августе, а седьмого ноября он умер, как нам передали: вошел в туалет – и у него инфаркт, да такой, что как упал, так и не встал больше. Потом еще через три года, в шестидесятом, я была в Москве со своей дочерью. Полина Павловна еще хорошо выглядела, мы посумерничали, она достала из шкафа два протеза:

– Вот похоронила двух красных партизан, за советскую власть рисковали жизнью, всю жизнь прыгали на одной ноге, а что они получили? Мизерную пенсию. Даже своего уголочка оба не имели.

– Зачем вы их храните, эти протезы? – спросила я неуместно.

– Как же, как же! Это память о них обоих. Вроде как бы поговорю иногда с ними. А иногда и покажу их тем, кто кое о чем забыл...

Страшно вспоминать, в каких условиях жили те завоеватели советской власти. Слава Богу, что теперь хоть кто защищал родину в Великую Отечественную войну как-то получше стали жить, получше к ним стали относиться. А вообще, трудно жилось и в годы революции, и после. Крестьян облагали хлебосдачей, непосильными налогами, раскулачивали. Колхозы. Люди работали, с поля день и ночь не уходили, а хлеба им за это ни крошки: все сдавали на хлебозаготовки, только со своего огорода и жили. Картошка всех выручала. Вот и расползся народ

по всему белому свету. А тут эта пятьдесят восьмая сталинская статья. Стали народ забирать и неизвестно куда девать, а за что про что – неизвестно. И все – враги народа: то есть народ сам себе враг. Лучших людей – хлеборобов – под корень. А там уже пошло – кто кого. Кто кем-то недоволен, придумывал на него что-нибудь и доносил, забирали людей сплошь и рядом, везли во все концы страны – и почти всех безвозвратно. Теперь только у кого остались близкие родные, хлопочут о реабилитации. Сколько их, замученных непосильным трудом, унижениями, издевательствами, пытками. Счастливы те, кого расстреляли сразу: не мучались десятилетиями по лагерям и тюрьмам.

Так и прошла вся жизнь под страхом.

Мы смотрели на Москву шестого ноября, купили для моих мальчиков, что надо, взяли их из детской комнаты – покормили. А тут объявление по радио: в шесть часов состоится торжественное собрание, посвященное 18-й годовщине Октября, у кого транзитные билеты, просьба пройти на второй этаж вокзала.

–Пойдем, Танька, послушаем, – пристает ко мне мама. – Не упрямся, пойдем.

Сдали ребят снова в детскую комнату и отправились на торжественное. Оно было, как всюду, скучное, но после был концерт, и он нам очень понравился. Сидели в зале до пяти утра – спать-то, преклонить голову все равно негде. В шесть часов закомпостировали билеты, в семь утра поехали на юг. Но его приближение мы поняли только после Воронежа: теплынь на улицах, дети бегают босиком, поля зеленые, скотина пасется.

– Вот где жизнь – радость одна, – сказала мама, – не то, что у нас – уже горы снега, в хорошее место вы едете. Тепло, тихо, добро.

Мы вышли на Тоннельной, соседи по купе посоветовали: от Новороссийска до Анапы только морем, а от Тоннельной хоть раз в сутки, но ходит автобус, не будет автобуса, можно на лошадах – до Анапы всего тридцать километров.

Сошли. Никаких автовокзалов в то время и в помине не было.

– Ой, какая благодать, – ахнула мама. – Ни тебе валенок, ни шуб не надо. Прекрасный край, – и побежала обследовать округу.

Вернулась с расстроеным видом:

– Ой, какая тут нищета! Вон, смотри, стоит женщина, продает картофельные очистки, да просто кожуру, с горсточку лежит у нее на тряпочке. И она ею торгует.

Вот и Анапа, и домик по адресу, такой же низенький и скобоченный, как у Марка в Москве. К нашей телеге тут же бросаются двадцать носильщиков-помощников – заработать переноской наших вещей.

Но из калитки выходит наша верста коломенская папа:

– Отойдите, – кричит, – мы сами справимся.

Связал в узлы, нацеплял на себя весь багаж и понес во двор. Мама идет за ним следом и шепчет мне:

– Ой, не сладко ему здесь живется.

«Несладко, несладко», – думаю и я, оглядывая наше новое пристанище. Кухня, комната, теплый коридор, где можно держать примус, воду. Ни стола, ни стула, ни кровати, в общем, голая квартира. Да, оказывается, еще и не оплачена. И у самого хозяина – ни копейки нет и нет работы.

Пришлось приобретать самое необходимое, отдавать его долги. А мама опять за свое:

– Куда мы, доченька, попали. Еще в дороге нам говорили, что в Анапе нет работы, будет только летом, когда откроются санатории, а сегодня только одиннадцатое ноября.

А муженек мой, похоже, и не искал работы, во второй половине дома жила незамужняя женщина – он у нее и состоял на иждивении, как потом нам рассказали. А санаториев-то было тогда всего четыре, из отдыхающих летом – только дикари, в основном – евреи.

Вот где выручили меня денежки, которые я получила за проданную хату. Прожила одна с детьми два года и не тронула их, зная, что крышу над головой надо будет приобретать, никто нам ничего не даст, ведь в основном-то все жили в частных домах. Жила, укладываясь в одну зарплату. Да и покупать тогда

не шибко чего было: выкупала паек – и все. Остальное на стол, что лопатой в огороде добудешь: картошка, фасоль, кукуруза. Ничего этого на базаре не купишь, если где-то кто-то привез на базар – то к нему не подступиться: мешок картошки 300-400 рублей стоил. Его не приобретешь.

В Анапе оказалось еще хуже: картошки вообще нет, зато лежат горы яблок, обложенные камышом, перед ним сидит старичок, торгует и спит тут же. Ну еще рыба. Мы успели застать виноград – малость поели. Однажды случился переполох на базаре – колхоз какой-то привез машину капусты, в давке и драке отвоевали себе кочан. Правда, хлеб и крупы были уже без карточек, было и сливочное масло, но его мы брали по 50-100 граммов, чтобы заправлять супы.

Мама засобиравалась домой. Я проводила ее морем до Новороссийска. Уезжая, она расплакалась, расцеловала моих мальчиков, а когда я ее посадила в поезд, расплакалась и сама, разревелась.

Ночевала на вокзале.

Не спала – размышляла: что я за это время здесь сделала? Да почти ничего. Обставила квартирку какой ни на есть мебелишкой, устроила детей в школу: одного в первый класс, другого – во второй. Вот и все мои дела. Главное – не нашла работу. Да где ее искать – Анапа вся как на ладони: морской порт, к которому большие корабли не подходят, к ним пассажиров увозят катерами, рыбоопсоюз, школа, больница да три-четыре санатория. Вот и все. Да к нам нынче эвакуированных после землетрясения армян прибыло больше, чем тогда здесь жителей было. Обошла все эти учреждения, даже в школе была – просилась уборщицей, но все занято. В сберкассе сказали: мест пока нет, но оставьте адрес, потребуетесь, сообщим...

Вернулась из Новороссийска – мужа нет, отправился на поиски работы. Накормила детей, одела, отправила в школу, а сама вслед за своим, с той же целью...

В Анапе жил друг мужа Жора, они вместе были в армии, вернее, строили сахарный завод, но мой строил по пятьдесят

восьмой статье, а Жора потому, что до этого работал в Анапе председателем райпотребсоюза и удовлетворял материальные запросы молодой жены, а в сторону старой даже глазком не косил. Видимо, слишком глубоко запустил руку в государственный карман, коли так далеко оказался. Кроме пятьдесят восьмой статьи, в праздники за ворота завода выпускали всех, так Жора со своим другом помогали моему Петьке каким-то образом тоже выходить за ворота. Вернулся в Анапу и позвал моего сюда. А самому-то жить негде было: молодая жена давно уехала в неизвестном направлении, старая жила в Сочи. Он пришел к старому тестю, взял адрес и вызвал её в Анапу, стали они жить у тестя, а тесть сам-то был женат на другой женщине, потому что первая умерла. В тесноте, да не в обиде жили, а тут приезжает вызванный Жорой дружок – мой муженек, их всех сразу и выперли. Вот друзья и стали искать новое жилье. Жора нашел получше, чем мой, и работу нашел – в какой-то жестяной артели. А наш папа до нашего приезда нигде не работал, и сейчас все впустую ходит по городу.

Только все это передумала, приходит он. Говорит: взяли на водокачку механиком.

Жена Жоры тоже нигде работы не могла найти. У нее была материнская швейная машинка, мы принялись за домашнюю работу – обшивали свои семьи, где чего-нибудь нового сошьем, где перешьем из старого. И вдруг приходит приглашение из сберкасы: принимают на должность старшего контролера. Слава Богу, тут уже дело лучше пошло, да и муж перешел на катер мотористом: у него сто двадцать рублей и у меня – двести. И купили мы за один раз шесть килограммов картошки. По два килограмма в руки давали в рыбацком союзе, где работал наш папа, да в апреле я еще одно ведро купила неизвестно у кого – дюже секретно все происходило: дала сотруднице пятьдесят рублей на два ведра, а потом наш сторож передал мне одно ведро и сдачу двадцать рублей. В общем, прожили зиму и весну, не умерли.

А летом приехали на отдых дикарями моя мама и мой брат, можно сказать, силой забрали нас от такой благодати-благодати.

Но моряк ни в какую не хочет уезжать. Разделили вещи: я с ребятами уезжаю, он остается. Мать говорит, что в Омске поселилась одна четвертая наших земляков, там уже моя сестра Лида с мужем, двоюродный брат мужа. Зовут и нас туда переехать: в Омске все есть, все дешево, особенно картошка. Мои мальчишки кричат:

–Поедем, поедem, мама. Картошка лучше, чем яблоки!

Уже все у нас упаковано, уложено. И морячок собрался вдруг уезжать с нами, решилcя уволиться с работы за день перед отъездом.

XXX

Едем. В Москве пересадка. И как раз открыли метро, такое счастье испытали, прокатившись несколько станций. Мальчишки мои от восхищения сначала потеряли дар речи, а потом всю восхищались, показывали пальчиками то на одну картину, то на другую, как по льду, катились по мраморным полам станций.

Приехали в Омск. Нас встречают мама с моим братом Михаилом, побыли с нами недельку и укатили на восток.

Наш отец устроился на работу на заводе, я опять оказалась в сберкассе, мои мальчишки пошли в школу. А жизнь опять свела нас с двоюродным братом моего мужа, Григорием, с тем, с которым из нашей деревни выехали вместе и вместе в Никольск-Уссурийском купили хату, где прожили три года – восемь человек. Теперь у нас опять общее жилье, дом, хоть домом его назвать нельзя – полуземлянка-развалюха. Порт-Артур называется это наше место в Омске, к югу от железной дороги, рядом с Атамановским хутором. Живем здесь полтора года. А у нас еще один сын появился, Геннадий. Я и на работу-то спешила устроиться побыстрее, чтобы не заметили, что мне скоро в декрет.

Объявили обмен облигаций всех, с первого, 1927-го года выпуска, на один № 1936 года, а с первого марта 1937-го их за 30% стоимости можно будет купить в любое время. Вот для этой работы меня и оформили первого декабря 1936 года. Это

были те займы, подписку на которые осуществляли бухгалтерии предприятий независимо от воли или желания тех, на кого эта подписка происходила: по выплате указанной суммы, якобы подписчику выдавались облигации. На них разыгрывались тиражи, известно – как. А тут народ узнает, что хоть тридцать процентов от отнятого у него можно будет вернуть, валом повалил в кассы, очереди образовывались километровые, мы вынуждены были прямо на улицах создавать обменные пункты. (Их правда, тут же называли обманные).

Попадались на глаза начальству эти очереди, оно распорядилось: обмен вести с восьми утра до двадцатичетырех часов. Работающим в таком режиме будет идти двойная оплата.

Я работаю, а муженек мой работу бросил, потому что устроился в областную школу механиков-комбайнеров со стипендией семьдесят рублей в месяц. Охо-хошеньки! У меня всего двести рублей, сверхурочные – после, это Бог весть когда....

Такие дела. У меня с утра весь подотчет, остальные – со сберкнижками до шести вечера. А после этого часа ко мне подсаживаются заведующая и еще один кассир, у нее муж из НКВД, в двадцать четыре приезжал за ней, а мы с заведующей с двадцати четырех подбирали по купюрам, займам, бандероли по 100 штук, подписывали до четырех-пяти утра, тут же за столом засыпали, а в восемь уже открывались: на улице народу черным-черно, только пар идет – мороз тридцать семь-сорок градусов, в нашем зале все не могут поместиться. И так до первого января 1937-го. Там уж стали работать с восьми до восьми, работать, то есть с людьми, а в двадцать четыре все заканчивали, можно было идти домой, но как? Такая даль, время темное, на улицах народ ненадежный – хоть худое пальтишко, а все равно снимут. Иногда набиралась смелости – приходила домой в час ночи и ругалась с мужем: почему не ходишь встречать! У него занятия рядом с домом, не то, что у меня. Он отзанимался с девяти до трех – и дома, а мне, пусть не так, как в рабфаковские времена, но все равно под путями, по двум тоннелям надо про-

ходить одной среди черной ночи. И ведь ни разу не встретил, ни разу на работу не пришел. Я и сейчас говорю спасибо Марии, жене его брата Григория, что варила картошку моим детям, кормила их, давала капусту, которую я засолила с осени.

С первого февраля работала уже до восьми вечера. Прибегала домой, перестирывала ночью, что успею, что другое сделаю, чуть преклоню голову – и к восьми утра опять на работу под теми же темными тоннелями.

С первого марта этого 1937 года начался прием облигаций за тридцать процентов их стоимости. Что тут началось. Мне раньше не представлялось, что так много народа живет вокруг – с утра до вечера, кажется, одна и та же очередь, бесконечная. Но сверхурочные нам определили не больше двух часов.

Эта моя работа – для меня одно удовольствие. Но тогда я сидела и чуть не хлюпала носом. В январе вызвал меня заведующий и говорит:

– Нашему коллективу, а также райфо и госбанку дали по единице на годовичные курсы бухгалтеров, стипендия по сто десять рублей, зарплата сохраняется и сохраняется рабочее место.

Стою и думаю: как хорошо-то кому-то будет, нас сто двадцать семь человек, и все молодежь. А он говорит:

– И мы решили направить вас. – Я едва устояла на ногах с горя, конечно, это все хорошо, а мне через два месяца в декрет. А он опять: – Вы не член партии, но это исправимо – мы дадим рекомендацию.

Я растерялась, спасибо, спасибо, я не могу, а он:

– Я не тороплю. Посоветуйтесь с мужем. Кстати, где он у вас сейчас работает и кто он? Какая у вас семья?

Все ему рассказала, промолчала об одном, что жду дочь.

– Хорошо, поговорите с мужем и завтра дадите ответ. Я думаю, он будет положительным. – Он поднял пачку бумаг над столом: – Вот сколько к нам заявлений поступило, все просят на эти курсы.

Я опять спасибо, спасибо – и ушла.

Утром секретарь берет меня за рукав:

– Тебя ждет заведующий.

– Передай ему, что я не буду учиться, не могу.

Первого апреля пошла в декретный отпуск, так никто не поверил, никто ничего не видел. Говорили, это, наверное, Татьяна первоапрельская шутка.

В мае у меня родился сын, а не дочь, как я ожидала. Старшие братья возились с ним, ухаживали, нянчились, но им в сентябре на учебу. Я – в профсоюз: помогите с яслями, профсоюз честно выбегал все вокруг, а ему всюду отвечали: мы одиноких-то матерей обеспечить не можем. Вот и все. Первого августа я вышла на работу, а первого сентября распрощалась с нею. Лопнуло мое счастье, кончилась моя работа. В январе получила свои сверхурочные 860 рублей – не кот начхал! – и началась новая полоса жизни. Купили мы на паях с дядей Гришей корову за 1100 рублей, и тут сразу легче стало: свое молоко, и его вдоволь! Сутки я кормлю коровушку и дою, сутки жена дяди Гриши – Мария. Я дою – она у меня молоко берет, она доит – я у нее беру.

А на родном моем Дальнем Востоке в середине октября поехали мама с папой из Никольска-Уссурийского в отпуск на родину, в деревню Дмитриевку, в гости к маминому брату. Родители в деревне были на хорошем счету. Приехали – и отца тут же арестовали как врага народа, увезли неизвестно куда и насколько. Как мама ни билась, куда только не обращалась – никакого вразумительного ответа нигде не получила. Одного добились – приказа в двадцать четыре часа освободить Дальний Восток.

И на нас, на детей, еще одна беда: теперь мы – дети врага народа, я боялась анкет по мужниной причине, теперь надо бояться и по своей. Напишешь правду – окажешься на Соловках или на Колыме, нужно было выкручиваться, чтобы выжить.

Мама и брат мой Михаил приехали в Омск. Жить негде. По квартирам ходить не находишься: дорого и хлопотно, да весь наш Омский Порт-Артур заселен плотно. В апреле тридцать восьмого мы с братом и мамой покупаем домик на две семьи, домик раньше был окраинной пивной, мы наделали комнатенок

для каждого, вроде обустроились, но уж такой он был низенький – потолки белили с пола. Никаких подставок не надо было.

Ушли мы от дяди Гриши, переехали через дорогу, он за полтора года нашего проживания ни копейки не взял с нас. Корову оставили им с Марией, но они за нее часть денег отдали, и мы, приплатив от своих, купили для себя корову с молоком. И опять живем. В это время муж закончил школу механиков и получил направление на Крайний Север Омской области, тогда Тюменской еще не было. Был конец августа, он уехал один.

– Куда я вас возьму – зима, а что там, как там, кто знает, а ведь Север, тут хоть малюсенький, но свой угол.

Уехал. Оклад ему дали пятьсот рублей, нам посылал сто – и на том спасибо. Хорошо распределено: на одного – четырехста, на четверых – сто...

Просила маму: посиди с малышами, пока я на работе, – мама не согласилась. И вот уж этот год был очень трудным, настрадались вдоволь, благо, что насадила в поле картошки, убрала, перевезла и до новой ее хватило. За коровой ухаживала я одна, и кормила ее, и поила, и доила. Мама не могла, была больна. За деньги мамы и брата покупала корм для коровы – ездила сто километров на лошади за сеном с дядей Гришей, а лошадь давал сосед, половину сена я отдавала ему. На лошади я ездила и за топливом для печки – по пояс в снегу ломала полынь, стебли толстенные, а она высокая, наломаю полные сани, привезу и на полтора месяца хватает ее, потом опять – степь, полынь, сани. Так и перезимовали. Прочитала в газете объявление: организуются курсы бухгалтеров для МТС (машинно-тракторных станций) с выездом для работы в сельской местности, стипендия сто рублей, срок обучения – десять месяцев. Учиться при сельхозинституте.

Прошу маму: помощи с детьми. Нет. Да и понять ее можно – она сердечница. Июнь. Мои мальчики свободны от школы, дядя Гриша берет Володю – тринадцати лет, дядя Вася Костю – двенадцати – на работу: отвозить землю на телегах: мужчины заняты на земляных работах, моим малышам хоть какой-то

заработок будет: нагрузят им землей телегу – грабарку, ребята отвезут ее куда надо, свалят и возвращаются. За такую работу один получил парусиновые туфли, другой – рубаху. Как они были рады! Да и заняты были целое лето.

С Крайнего Севера к нам идут письма: приеду в июне, приеду в августе... Уже конец августа, а его все нет. Пишу директору МТС: что он там думает о семье, или нам опять зимовать здесь?

В нашем Порт-Артуре все больше и больше накапливалось дальневосточников, к ним стали приезжать в гости те, кого оттуда не просили убраться, а не просили тех, кто был перед ОГПУ чист. Приехал и к нашим дальним родственникам по жене Игнат Степанович Избенко. Пришли они нас попроводовать. Избенко сел во дворе на бревна между мной и мамой, положил мне на плечо руку, вскинул гордую голову:

– Зря вы на меня сердитесь. Да, я загнал вашего отца в лагерь. Но как же я мог, – он застучал по своей груди кулаком, – нося партбилет у сердца, скрывать врагов народа, не выдавать тех, кто против товарища Сталина!

Мама поднялась, ушла домой, залилась слезами. Я, как могла, держалась, чтобы не заплакать, не плюнуть ему в глаза, не вцепиться ногтями.

Даже сказала:

– Ну что же поделаешь, раз так надо.

Он похвалил меня за внимание:

– Молодец. Я коммунист, нам не менее двух врагов народа каждому надо выявить.

Меня охватил ужас за себя, за мужа и брата, который уже работал в гражданском аэропорту бортмехаником. За всю жизнь стало страшно. Я даже оправдываться стала перед ним:

– Я уже не жила там, не знаю, что случилось, – и ушла.

А в доме мама заламывает руки: что же будет с Мишей, он и его предаст. Брат полмесяца после этого не ночевал дома, притыкался, где придется, а мы все ждали, что вот придут но-

чью и заберут нас всех. Тогда забирали только ночью. Заберут меня, заберут и мужа – найдут и на Крайнем Севере. Время такое жуткое было. Придешь в магазин, народ стоит, как перед покойником, все говорят шепотом – и слезы, слезы.

Половина сентября. Последние пароходы уходят двадцать пятого. И тут появляется наш папа, значит, в шею погнали за семьей.

Оставила маме с братом корову и бычка в дополнение к плате за дом, в котором жили. И поплыли.

XXXI

Северное село Реполово. Готова хорошая квартира, две большие комнаты, кухня, подсобные помещения – купеческий дом на две половины, там живет другая семья.

Северное село Реполово – глухая северная деревня на левом берегу Иртыша между Тобольском и Ханты-Мансийском. Сельское хозяйство там плохо развивалось: или не хотели люди, или не умели, или незачем им было заниматься сельским хозяйством. Хлеба с той земли не ели. Из зерновых там рос только овес, и то не всегда, все зависело от погоды. Весной сойдут снега, поднимутся все реки-протоки – зальют все окрест, и долго-долго стоит вода. Время уже упущено, пшеницу сеять поздно, только овес и успевал созреть, потому что сеять его надо попозже, но и то еле-еле успевали убрать перед самыми заморозками, а бывало, и не успевал созревать. Это называлось район освоения, он дохода не давал, скорее, не оправдывал себя, но надо было осваивать, иметь здесь посевные площади. Если хотели этого и работали над этим, то здесь созревали овощи в срок, картошка, морковь, свекла, турнепс, репа, брюква – все хорошо росло и наливалось, успевало вырасти. Но здесь люди привыкли к тому, что придет осенью баржа с картошкой и капустой – они запасутся на год. Когда мы прибыли – никаких барж уже не было, начался рекостав. У запасливых хозяев купили немного картошки, капусты, а с молоком было плохо: колхоз

все молоко сдавал на завод, у частников коровы такие, как на юге козы, но они там, пожалуй, давали молока даже больше. А моему младшему – третий годик, ему без молока нельзя. Договарилась с одной хозяйкой на литр в день. Но какое это было молоко, никакой жирности, просто белая жидкость. Понесла узнать на завод: что это, дескать, за молоко? Мне передали – это не молоко, это ополоски, шестьдесят процентов воды. Так мой малыш и остался без молока. Из продуктов была рыба разная, но у частников, в магазинах ничего этого не было. А частники идут, идут, несут, что получше. Приходят и говорят: завтра забиваем корову, бычка или свинью, приходите, берите. Другой раз нет денег, ибо зарплата часто задерживалась, деньги возили из окружного города Ханты-Мансийска, все равно говорят: берите, потом заплатите. Это как у нас по-украински: было бы ударено, когда-нибудь взбухнет.

Когда устроила детей в школу, директор посмотрел справки, дневники и сказал:

– К нам из города всегда приезжают отличники, а у нас выходят неуспевающими. Зайдите через недельку, мы скажем, какие у вас отличники.

Не прошло и недели, мои сыновья в голос:

– Мама, тебя просит директор зайти в школу.

У меня давние страхи: что они там натворили, спрашиваю, а они в голос:

– Мама, мы не бедокурили.

Прихожу в школу, а директор встречает меня в коридоре, подает руку и ведет в кабинет...

– Садитесь. Мы благодарим вас за хороших сыновей. Спасибо вам за них.

Представляет учителям:

– Это мать Владимира и Кости.

Прихожу домой, а вслед бежит посыльный из сельсовета:

– Мы вас пригласили сказать, что вам поручается заниматься с неграмотными.

– Что вы, что вы! Я ведь не учительница, не могу.

А тут директор школы:

– Как это не могу? У таких сыновей, что, неграмотная мать?!

Мы вам дадим таких колхозниц, которые не могут ходить на ликбез: одна – свинарка, детей куча, вторая – телятница. К ним нужно два раза в неделю вечером, много не требуется, пусть хоть научатся расписываться.

Дали мне буквари, тетради, карандаши – и я сосватана.

Прихожу к первой моей ученице в восемь вечера, а она только с работы пришла, разжигает железную печку, сквозь дым мало что видно, но детей сосчитала – пять человек. Оказалось, один уже в школу ходит, в первый класс. Закричала на меня, замахала руками:

– Уходите и не приходите больше, не буду я учиться, вот уже один балбес у нас есть и с нас хватит.

Заявила в сельсовет об этой встрече, еще раз зашла и все.

Вторую научила расписываться и читать по буквам. Читаем:

– Ра – ма.

– Что вышло?

– Да вроде окно.

Читаем «ли-са» – тут входят два мужичка, зашли послушать, как Ульяна читает. Сидят у порога, курят. Она прочла.

– Что получилось?

– Да ровно как Вася.

В то время на селе торговлей ведала потребительская кооперация. Все должны были быть ее пайщиками, рабочие членские взносы платили по 50 рублей, неработающие – по 25. Я немедленно вступила в кооперацию, потому что промтовары давали только по паевым книжкам. Не прошло и двух месяцев со дня нашего прибытия сюда – у них отчетно-выборное собрание. Присутствие пайщиков обязательно. А я не пошла – я должна была быть у Ульяны. Прихожу, а ее нет – она на этом самом собрании. А утром мне сообщают: вас избрали членом лавочной комиссии. Правда, не одну меня, а всего восемь человек,

но они все работали, были при деле: учитель, медсестры, счетовод молзавода и другие специалисты. Всю работу и взвалили на меня, безотказную запрягли. Ходила в комиссиях, ревизовала магазины, столовую, ресторан, школу, всевозможные буфеты, пекарню, устанавливала припек – да мало ли дел каких-то делать надо! За эту работу мне платили со ставки председателя потребкооперации, но меньше, чем если бы я была штатной работницей. Но что было делать – жить-то надо.

Вскоре приглашают меня счетоводом в правление кооперации. Обрадовалась, а потом охолонула: как быть, отец – враг народа. И сразу отказалась. А мне: не торопитесь, возьмите анкету, заполните ее в трех экземплярах, успокойтесь – и придете к правильному решению. А для меня эти анкеты – будто ядом пропитаны, их заполняют от и до... Нет-нет, говорю, у меня сынишке еще трех нет.

Взялась за хозяйство. Весной приобрели – в который раз! – корову, возле дома разбила огород под мелочь, а на усадьбе посадила картошку, сама копала, и мальчики мои мне помогали. Такой урожай осенью собрали – чудо. И самим хватило, и корове на поило. Но чем удивила местных хозяев, так это овощными: сама прорастила семена, сама высадила и режим им определила. Смех и грех. Затеяла я делать гряду под огурцы, бабоньки укладывали груди на изгородь, говорили мне:

– Зря, девонька, силы тратишь. Огурцы тут не растут, да и год нонешний сороковой, не огурешный.

Но я делала свое, гряда моя грелась под навозом, посеяла – взошла хорошая рассада, ее оказалось много лишней, конечно, я гряду накрывала рамами, говорю женщинам: берите, а они смеются, дескать, посмотрим, что за огурцы у тебя получатся!

Только одна взяла.

Огурцов уродилось столько, что не знали, куда их девать: раздавали соседям, знакомым, всем, кто брал. У той женщины – такой же урожай.

Сорок первый год пришел большой водой: катера ходили по деревне, у каждого жителя в доме по лодке – плавали за таль-

ником, ломали, чтоб кормить коров, правда, таких было мало, остальные держали запруды, наш квартал – шесть дворов держал эти запруды день и ночь: валили в них бревна, землю, сено, тальник, больше метра подняли – и выдержали коров дома, а остальные, в том числе и колхоз, вывели скот в горы – и лошадей и коров. Почти во всех домах-хатах стояла вода, люди жили на чердаках, на вышке, ставили там железные печи, варили и жарили на них, а у лестницы стояли-покачивались лодки.

А тут объявили войну. Призыв на фронт начался. Призывников снимали с крыш – на лодку, а с лодки – на катер, и через два месяца уже похоронки. Горе. Слезы.

Вода стала уходить в августе, сено – травы выросли под три метра, вода ушла и трава легла. Значит, сена не будет. Стали заготавливать в горах силос, это на той стороне Иртыша. Валили березу, осину – все подряд, обрубали ветки, укладывали в ямы. Но это только для колхозного скота.

Вызвали меня в сельсовет, сказали организовать всех неработающих женщин для этой работы на том берегу. И каждый день на лодках мы переплывали Иртыш, тальника много, месяц – сентябрь, воды нет, ломали ветки, связывали в веники, вывешивали для просушки, потом укладывали в силосные ямы.

Однажды утром иду я мимо сельсовета на свою работу в тальники, мне постучали в окно, дескать, зайдите. Захожу, а там новый председатель и секретаря нет – обоих забрали в армию.

– Вас решили секретарем взять, вместе со мной будете работать.

Он пожилой и малограмотный. Так он мне объяснил. Я отказалась.

– По семейным обстоятельствам не могу, – сказала. – Да и, наверное, скоро мужа моего призовут, тогда я с детьми уеду в Омск. – И ушла в свои тальники.

– Вас Онисимов вызывает, – слышу за своею спиной. Оглядываюсь: сидит на лошади паренек рассыльный, спрашиваю у него:

– Кого, меня?!

– Да, вас...

Я охолодела. Ведь это же окружное ОГПУ! Пошла ни жива ни мертва. Мысли перегоняют друг друга. Переплыла реку, зашла в сельсовет.

– Ты что думаешь, что твоего мужа не возьмут на фронт и не хочешь работать?! – налетел на меня с криком Онисимов...

– Я потому не берусь за эту работу, что если мужа возьмут, я уеду домой.

– Сейчас война, – еще грубее закричал он. – Каждый хоть где-нибудь должен работать!

Я понимала, что секретарем, пожалуй, в селе-то и некому работать: мужчин нет, грамотные женщины – это в основном молодые специалисты, а рыбачки-колхозницы сплошь неграмотные. Но работать секретарем в сельсовете – это вести секретные дела, вести секретные разговоры, на этих должностях работают коммунисты, меня заставят вступать в партию, а я не могу: расписать биографию – погубить себя. Анкету ведь не обойдешь.

Маюсь я с этими вопросами, чем-то занимаюсь во дворе. Мимо проходит председатель потребкооперации, здоровается и говорит:

– Нам округ разрешил открыть столовую. Нужен заведующий. У нас вечером заседание правления, подходите, мы хотим утвердить вас.

Да, тут пришлось подумать, как быть. Осень. Последние пароходы ушли, до весны никуда с места не тронуться. Мужу облсельхозуправление выслала бронь, а вместе с нею и чей-то приказ: старших механиков в армию не призывать: фронту нужен хлеб. Значит, придется жить здесь. И от работы ни от какой не открутишься. На лесозаготовки отошлют. Но как быть с анкетой?

И все же вечером я пошла на собрание.

XXXII

Основные вопросы уже закончились. Я пришла к самому концу, села в сторонке. Председатель взял в руки какую-то бумажку и говорит:

– Вот заявление Татьяны Николаевны Белим на заведывание столовой. Это наш ревизор, мы все ее знаем, думаю, утвердим без обсуждения.

В зале все закивали головами, заговорили: «Конечно, конечно». Председатель подозвал меня:

– С завтрашнего дня и приступайте. Здание под столовую через два дома отсюда. Оборудуйте, получите посуду, все необходимое, короче, возьмите со складов, но через неделю столовую надо открыть.

Вот так все само собою и получилось.

Председатель говорил: подбирайте нужный коллектив. А как подбирать, когда уже заявлений у него на столе лежит целая кipa. Все красноармейки, и все неграмотные. Взяли поваром вдову, уже работавшую поваром, в кухонные рабочие взяли в основном матерей-одиночек. Через неделю открылись, работа пошла, никаких нареканий не было ни от начальства, ни от посетителей. И вдруг меня вызывает председатель сельсовета, говорит: пошли жалобы в округ, почему взяли вас, а красноармейкам отказали? Уже Онисимов из ОГПУ звонил. Я ему ответил, что взяли как специалиста, кроме вас, некого было назначить на эту должность.

На этом дело и кончилось. Вроде бы. Недели через две появляется этот самый ОГПУ, собрал всех жалобщиков и тех, кто подавал заявление на заведующую, спросил:

– Кто из вас готов принять эту должность прямо сейчас?

Все они опустили головы. Готовых не оказалось.

– Лады, – произнес ОГПУ. – Ну а теперь пойдем посмотрим, как ты работаешь.

Пришел, мы его накормили. Он не ел, а таял от удовольствия, как нам казалось. Но он сказал мне, вставая:

– Вот почему отказалась работать в сельсовете. Здесь и теплее, и сытнее.

Такая рожа, что сама на оплеуху напрашивается, говорил мой отец.

Но и потом у меня были стычки с Онисимовым, да куда серьезней.

Чем обеспечивалась столовая? Картошки в селе вообще не было, о капусте и говорить нечего, только крупы да рыба, но и та не лучших сортов, да мясо. Но какое это было мясо. Голод в селе начался с первого дня войны. Та большая вода не дала урожая ни на колхозных полях, ни в частных огородах. И сена не дала. В колхозе начали забивать скотину, но только ту, что не могла стоять на ногах от истощения. Частники тоже забивали коров, но они истощения не ждали, спешили мясо сдать в кооперацию, пока цены были хорошие – копейка во все времена нужна людям. Вот и промтовары в магазине стали выдавать не по паевым книжкам, а по распределению. А у нас в столовой какой был продукт, такова и цена на блюдо. Обед из трех блюд стоил у нас от 80 копеек до 1 рубля.

С января сорок второго в столовой разрешили кормить только работающих, если работали муж и жена – разрешалось выдавать обеды на детей домой. К тому времени уже скормила деревня всех коров частников, в колхозе начался падеж скота, его торопились забить – и все мясо к нам в столовую. Какие уж тут вкусовые качества у наших блюд?! Суп – бульон с горсткой крупы, никаких жиров, уха да рыба жареная. Были еще пельмени, но нечасто. Их делали надомницы: получали туши мяса (это, к слову, туши, на самом деле – одни ребра), обрезали мякоть, готовили фарш, хранили его в подполье. Пельмени получались невкусные, на них нет-нет да поступали жалобы. Однажды пообедала у нас акушерка и подходит ко мне:

– Пельмени никуда не годные, мясо несвежее, надо обратить на это внимание.

– Прежде всего, пельмени делаем не мы, о чем вам нужно знать в первую голову, мы получаем их мороженными в готовом виде, и надо бы вам знать, от кого получаем. От надомниц. Из каких продуктов они приготовлены, в каких санитарных условиях? – отрезала я.

– Вы заведующая, вы должны все это знать и все контролировать! – вскипела она.

Вскоре опять появился ОГПУ. Заказал пельмени, попробовал и подозвал меня.

– Чем вы кормите людей. Это же отравы – не пельмени. – Я объяснила ему, что и как. Он закричал: – Под суд вас, под суд. Уж я позабочусь об этом!

Я прошу его пригласить акушерку – это вся наша медицина! И сходить посмотреть, из чего эти пельмени делаются, где, как и кем делаются. Мне ведь их доставляют морожеными, я даю им справку о том, сколько принято, и они за это получают деньги.

Акушерку он живо согласился пригласить, дело привычное для него, она не имела мужа, воспитывала одна шестилетнего сына, ОГПУ давно ее обхаживал и ублажал. Она, собственно, и донесла на нас ему при случае.

И что же? Стали заходить к тем, кто готовил для нас пельмени, акушерка лазила в каждый подпол, брала тазы с фаршем, нюхала – и все они уже пахли кислым. Мы написали акт, принесли к председателю сельсовета.

Он с недоумением обратился к акушерке:

– Я ведь спрашивал у вас, можно ли допустить на дому такую работу, и получил добро. Не в сельсовете ищите виновных.

Но тут медицина переглянувшись с ОГПУ, забрали из рук председателя акт, закрыли самостоятельно такую мясофабрику, пельменей больше мы не варили, да и мяса уже не стало в деревне, перебивались рыбой, но и ее вскоре не стало. И столовую закрыли – кормить народ было нечем.

Много всяких воспоминаний у меня связано с этой столовой.

В своем далеком краю мы с остальным миром были связаны «веревочкой». По ней ходили связисты, почтари, да и начальство разное. Все заметно-занесено снегом. Дорогу только лошади копытом находят. Вот и пустили гуськом одну за другой, связанных постромками, – парой и тройкой не проедешь. Вот и тянулась такая «веревочка» от села до села, а там происходила смена. Одни лошади выпрягались, другие становились «веревочкой».

Как-то мы узнали, – это было в сорок первом, – что к нам прибыли «веревочкой» ревизоры. Я со своими красноармейка-

ми подготовилась к их встрече. И в такую рань, в четыре утра, стучат. Мои девчата открывают дверь, а там цыгане. Господи, откуда они? Лютая зима, снега, а они в своих шалях да юбках. Просят покормить.

– В шесть утра, – сказала я. – Наравне со всеми.

А девочки мои в слезы:

– Вам хорошо, ваш муж дома, а наших нет. Пусть нам погадают цыганки.

– Хорошо – кормите. И пусть гадают, но смотрите в оба, чтобы не обокрали.

Наелась шумная орава и принялась за гадание. Одной, другой погадали.

Подходят к моему окошечку:

– А ты что же, не хочешь знать правду?

– А что мне гадать, если я уже похоронку получила, – завожу я.

Она все же взяла мою руку.

– Да, ты получила печальную бумагу, но ты еще надеешься на встречу – напрасно, его уже нет в живых...

Я выдернула руку:

– Хватит врать, – сказала. – Стыдно. Мой муж дома.

– Что поделаешь, – спокойно ответила она, – мы такой род.

– Вас покормили и кыш отсюда! – не вытерпела я.

А тут опять стук в дверь: пришли те самые омские ревизоры, которые приехали по «веревочке», покормить просят. К нашим блюдам еще и бутылочку попросили – я выдала им из своих тайных запасов. Позавтракали, уходя, спросили, во сколько мы вечером закрываемся. Мы закрывались в девять.

Приходят на ужин. Опять бутылочку попросили. А девочки мне после их завтрака сказали: они вами интересовались, спросили, не красноармейка ли ваша заведующая. Мы сказали, что да, что вы из Омска. Вот они ужинают, бутылочку распивают и все меня землячкой навеличивают. И начинают подговариваться, не провести ли нам вечер вместе. Ну, думаю, подведу я вас под монастырь. И заюлила:

– Отчего же, можно. Только у меня еще работы до одиннадцати-двенадцати часов: продукты отпустить на завтра, калькуляцию на день составить, подсчитать талоны сегодняшнего дня, вывести книгу расходов и приходов, то есть сейчас уйти нельзя.

– Да оставьте все на утро, успеется, – настаивают они.

Я подмигнула своим девчатам.

– Ну, хорошо, пошли. Есть тут одно местечко.

Быстренько оделись, бутылочку еще одну попросили и пошли. Подходим к «местечку». В окнах свет горит.

– Вот мальчики мои уроки делают, и муж уже, наверное, пришел с работы.

– Что, у вас и муж есть? – пришли они в недоумение.

– У меня все есть, – засмеялась я. И ухажеры мои, укоризненно качая головами, отправились в гостиницу. Я даже домой не стала заходить – вернулась скорее заканчивать рабочий день.

Не успела прийти – стук в дверь, девочки пришли, а ними мальчик с «веревочки», там и есть спальня. Мальчик позвал меня и сказал:

– Дяденьки сумку у вас забыли.

– На вешалке чья-то полевая сумка висит, – говорят мне девочки.

Я оценила ситуацию, сказала:

– Сумка у нас, но отдать ее не могу. Пусть дядя сам придет за нею.

И он пришел, извинился, погрозил кулаком девочкам и сказал:

– Правильно вы нам рожки наставили, впредь будем умнее.

Девчата хохочут: нарвались! Знайте наших!

В сорок втором был такой же случай, но много серьезней. С зарплатой в МТС было очень плохо, по два-три месяца не платили: деньги получали в Ханты-Мансийске, а перечисления шли из области, задерживались, трактористам кормиться было не на что. Мой муж на мое имя написал официальное прошение кормить его ребят в долг, написал, потому что исполнял обязанности директора, которого уже не было полгода,

старый умер, а нового не из кого было выбирать – война подобрала всех. И я кормила в долг не только из МТС, но и некоторых учителей, записывала в тетрадь – и вся бухгалтерия. И вот зимой, вернее, в марте, пришел пообедать уполномоченный из окружкома. Раз пришел, другой и так же спрашивает у девочек, есть ли муж у заведующей. Не знаю, что они ему ответили, но 7 марта он поужинал и спрашивает: можно ли 8 марта провести вместе?

– Я не одна, у нас коллектив, – сказала я.

– Зачем нам коллектив? – удивился он, даже рыжие брови вскинул.

– Ну ладно, мы придем все, а там как получится.

Я выпросила в управлении Красного Креста своим девчонкам красный кумач на косынки – будто бы премия, они нарядились, похорошели. Занавесили окна в столовой, собрались своими семьями: у двух девочек – родители, да со мной – муж. Долго не сидели: день рабочий и сегодня, и завтра, мы работали без выходных (которые не оплачивались). Разошлись быстро. А нашего уполномоченного нет как нет.

Появился утром:

– Извиняюсь, что не пришел. Сегодня уезжаю, возможно, для того, чтобы вернуться сюда насовсем.

И так многозначительно смотрел на меня.

Прошло какое-то время – он появился в столовой, заказал, что ему приготовить на обед.

– Мы порционных блюд не готовим, нам их не из чего готовить, – сказала я ему.

– Но хоть строганину-то из нельмы можно заказать?

– Можно. Нельма у нас хорошая. Но вам надо договориться с поварами. Я быстренько все скалькулирую и отпущу.

Договорился. Остался очень доволен.

По слухам я уже знала, что он приехал работать директором МТС. Но будто бы наугад спросила:

– Вы директором МТС приехали?

– Да.

– А деньги вы привезли?

– Да.

– Ваши трактористы ремонт уже закончили, скоро разъедутся по колхозам, а не получая два месяца зарплаты, они питались у меня в долг...

– Дайте мне списочек, – перебил он меня, – я сам принесу долги.

– Не надо списка, выдайте им зарплату – они сами расплатятся.

– Откуда вы знаете все наши дела?

– Мне муж рассказывает, он старший механик у вас...

– Он ваш муж? – не столько с недоумением, сколько со злобой спросил он. – Да когда же вы успели пожениться?

– Семнадцать лет назад.

– Да вам и сейчас двадцати пяти не дашь!

Сотрудницы мои хохочут. А он им:

– Это вы все мне подстроили!

Не стал есть заказанную строганину-патонку, оделся и ушел.

А с мужем моим у них дело не стало клеиться. Я Петруше моему все рассказала.

– Я сегодня чуть не выбросил директора в окно, – приходит и говорит он мне.

– Что такое?

– Он настаивал подписать акт в область, где указано на два отремонтированных трактора больше. Я отказался. Из него как понесло! Такого наговорил – уши вянут. Договорился до того, что прокричал: у тебя жена неверная! Я его чуть в окно не выбросил! Не знаю, что меня сдержало.

Так у них и не пошло в работе. Директор требовал заменить старшего механика, ему отвечали из окрсельхозотдела: его область держит под бронью.

Директор был больным человеком, страдал печенью, в армию его не брали, он в наш окрсельхозотдел прибыл с большой

земли, там оставил жену, приехал сюда с ее родной сестрой, она устроилась конюхом в отделе. Должность ответственная, так как в округе один транспорт – лошади. А теперь стал директором – большим человеком – и эта уже в жены не подходила ему. Хорошо, что ни у той, ни у другой детей от него не было – этим хоть не наказал сестер.

По этому времени стали привозить к нам несчастных женщин, мужей которых на фронте называли изменниками родины. Если они были такие, то за них, подлецов, отвечали в тылу жены и дети. Высылали и братьев, и сестер, у которых мужья были на фронте.

Директор подсыпался к женщине-одиночке врачу. А она:

– Я не верю, верю только мужу, он никак не мог стать изменником! – и указала на дверь директору. Так до конца войны и работала у нас заведующей больницей, одинокая.

Директор женился на другой, тоже городской, но с мальчиком четырех лет, он его усыновил. Она не работала, а он заметнее стал сдавать, худел, желтел. Через десять месяцев она ему родила еще одного сына, а через две недели после его рождения директор умер. Ей дали пенсию на детей, освободили, выдали паспорт, и она куда-то выехала.

XXXIII

Одна забота – работай до пота.

Закрела столовую – зовут в сельсовет: организуй детский садик, чтобы все женщины могли работать. У нас так: если детей нет или они взрослые – женщины отправляются на лесозаготовки, если дети маленькие – отправляются на заготовку дров или кормов для оставшихся лошадей, коров или овец, – то есть не так далеко от дома.

Садик я организовала, а чем детей кормить? С колхозом договаривайтесь! Не я, они сами договорились – обязали. А у колхоза одна ячменная крупа. Ну, еще молоко выделяли – один литр на четверых в день, и рыба – какую уж поймают.

И ревизорство было мне вменено. Благо, реализовать было не много чего: на все была норма. И та, правда, постоянно уре-

заемая. Поручилось мне переписать нуждающиеся красноармейские семьи. Село небольшое, все на виду, но в квартирах я не была и, Боже мой, что я теперь увидела!

Без слез и сейчас вспоминать не могу.

Разговариваю с одной женщиной, она сидит передо мной в козушке, накинута на голое тело. Подбегает ее сынишка, за письку держится, она снимает козушок, передает ему, остается голой, он босиком по снегу бежит во двор справлять нужду. А на полу у них трухлявое сено, на котором они спят, свою деревянную кровать они давно сожгли – нет дров. Мальчонка прибежал с улицы, отдал одежку матери, а я смотрю, в ней вшей больше, чем шерсти.

Пришла в сельсовет со списком. Посмотрели, покачали головами и некоторым семьям из моего списка выделили сливочное шоколадное масло, которое уже стало поступать из Америки, – по двести граммов на ребенка до двенадцати лет. А меня назначают в родительский комитет: добиваться, чтобы все дети учились, а они голы и босы, счастливыми считаются те, у кого хоть какие-то лохмотья есть прикрыть тело. Поочередно меняются козушками, валенками, чтобы сбегать с санками в лес за дровишками. Да какие для них дровишки – один хворост. Но тем и жили. Какая тут им школа?! А меня опять закрыли: детей кормить нечем, да и летние работы кончились.

Происходил прием в партию. Смешнее не придумаешь.

– Зачем вступаешь? – спрашивают на бюро.

– Там у вас партактив, а ему дают по пятьсот граммов сливочного масла.

Партактив собрался: начали поступать учителя, акушерки, медсестры – все женщины, но и мужчины, которых по каким-то причинам не брали в армию. Но мужчин таких было всего трое. Один с паховой грыжей тракторист, работал участковым механиком, четверо детей, старшему пятнадцать лет. Он первым вступил в партию, ему сразу после приема дали направление на операцию в больницу, он взял с собой всю семью и скрылся в неизвестном направлении. Много позже пошли слухи, что

он работает бакенщиком от Омского пароходства, но в нашем районе, конечно, подальше от села. Жилая избушка на берегу, рыбалка, сухой паек привозят ему и семье пароходы – муку, крупу, консервы и сухие овощи. Зимой платят гарантийную зарплату. В общем, устроился лучше всех.

Второй мужчина вступил в партию, никто не знал, почему его в армию не брали, по всему было видно, что он удирать отсюда никуда не собирается, приняли его и вручили пятьсот граммов масла. Жена третьего кричит при всех:

– Коля, вступай в партию, вот Тима вступил и ему уже масла дали!

А у Коли и Тимы есть свои дойные коровы.

– У нас дети умирают с голоду, – сказала я в сельсовете, – а сливочное масло отдают тем, у кого отцы дома и свои коровы имеются.

– Ты не болтай, – сказал мне председатель, – а то, знаешь, скоро приедет Онисимов, такое будет! – он отвернулся от меня, посмотрел в окно. – Мы ведь тебя приглашали, так ты не хочешь. И не говори потому о других.

Мне стало страшно, и я подумала: правда, лучше молчать.

Но вышел другой случай – и я не выдержала.

Получил магазин продукты, выдавать их полагалось по спискам. Все организации несли в сельсовет заверять их, а потом сдавали в магазин для отоваривания. Стали приходить получатели. Я проверила списки МТС, потому что знала там всех: кто на какой должности, какая норма кому дается – директор, старший механик, агроном, заведующий мастерской, им побольше выделяется, остальным поровну и поменьше. А тут чудо великое! Мотин летом работает мотористом на катере, а зимой – на ремонте. А в списках он – заведующий мастерской, а настоящий заведующий, Медведев, записан рабочим. И уже оба получили положенное по спискам. А у Мотина своя корова да еще и переметы ставит на хорошую рыбу и щедро делится уловом с директором, – тот и благодарит его за это чужим

пайком. У Медведева коровы нет, ему далеко за пятьдесят и ему недавно на старшего сына пришла похоронка.

Я рассказала Медведеву, раскрыла глаза, как с ним поступили, – он пошел к моему мужу, муж – к директору.

– Не твое дело, Петр Филиппович, – одернул он моего, – я знаю, что делаю.

– Раз так, – сказал этот бедолага, – я не выхожу на работу.

И не вышел. Директор позвонил в округ, оттуда тут же приехали, арестовали Медведева, осудили и приготовились везти его на лошадях в омскую тюрьму. Приписали ему Бог весть что: и агитацию, и подрыв трудовой дисциплины и морального духа. Врачи говорят: его везти нельзя, ему нужна врачебная помощь и усиленное питание. Взяли его из милиции в больницу. Там его увидел рабочий одного из колхозов и сказал:

– Я расскажу о тебе своему председателю, нам нужен такой специалист, он отхлопочет тебя.

Так и получилось: тот колхоз три месяца подкармливал его, передавал врачам кое-какие продукты, мужик поправился, его перевели на работу в колхоз и семью туда его перевезли.

Вот так кончились мои вмешательства в чужие дела.

В сороковом году в своем огороде я вырастила семена капусты, моркови, турнепса, брюквы, а в сорок первом, еще до большой воды, до войны высадила все это, удивляясь, что огородничеством здесь никто не занимается.

– Да это все трава, – смеялись надо мной, – наш корм – рыба.

Да, это так. До войны рыбачили все для себя. Конечно, и рыбколхозы были, и планы немалые им спускали, но и селян не прижимали, они ловили сетями, уловы были большие, часть рыбы даже шла у них на продажу, ее покупали тут же, в селе, кто не рыбачил, такие, например, как мы. В войну вышел строгий запрет на ловлю, да и рыбаки ушли на фронт, остались мал да стар. Тут и пригодились мои семена, пошли впрок, но все равно местные их не проращивали, не запасали, приходили ко мне. Моя зелень, это же витамины: почти в каждом огороде оказалась.

В сорок первом закрыли у нас среднюю школу, правда, учебный год дали закончить. У моего старшего сына закончен восьмой класс, у младшего – седьмой, а это был выпускной класс. И ребятам моим у нас в селе стало нечего делать. Тобольский рыбный техникум к тому времени перевели в Ханты-Мансийск, потому что здание Тобольского рыбного отдали под госпиталь, может быть, туда устроить мальчиков? Подали заявление, а на сердце скребет: хочется, чтобы они закончили десять классов и поступили в высшие учебные заведения. Мне так хотелось, чтобы они имели высшее образование!

В Омске у меня мама, брат, сестра. Они написали: пусть мальчики едут к ним, будут жить с бабушкой, она одна, потому что Мишу, моего брата, забрали в армию, а сама Ирина Владимировна попала под трамвай, у нее ампутированы пальцы на ноге, ей нужна помощь, мальчики ей, она им поможет. Я подумала: война будет молниеносной, быстро кончится, пусть ребята едут в Омск, а мы же следом за ними прибудем.

Как я потом жалела! Война затянулась, в Омске тоже жилось несладко, дети мои сами добывали, где придется, картошку, пайка, разумеется, не хватало. Но как-то пробились до весны. Младший вернулся в семью, отец устроил его на лето рабочим в МТС, а осенью – в рыбтехникум.

Со старшим просто беда приключилась: он пробился в армию. Тридцатого августа ему исполнилось семнадцать лет, я думала, он учится в десятом классе, была спокойна, а в октябре получаю письмо из хакасского города Тайшета из ШМАС – школы младших авиационных специалистов. Да что я надеялась, – мечусь – у него же год до призыва, еще бы год побыл дома! Но поздно...

Моего Петра Филипповича военкомат и директор постоянно имели на примете – первая кандидатура в армию, в приходежей на вешалке постоянно висел готовый вещмешок. Наши сельсоветчики много-много раз направляли его в окружной военкомат, он перекидывал через плечо вещмешок и уезжал, но каждый

раз возвращался: его специальность бронировалась облсельхозуправлением на все время: хлеб — это тоже фронт, писали тогда всюду. Чтобы победить, надо кормить. А Господи, как ему работалось! В мастерских одни женщины. Она, бедняжка, на работе, а душа около детей — холодных, голодных. Одни слезы кругом. А он — беспартийный, в партию вступать отказывается: что-то тут есть, говорят. Покопать поглубже. А он одно: не подготовлен еще, не созрел, а самому за тридцать пять перевалило. Но что напишешь в анкете, что сын врага народа? Уж крутись-выкручивайся, жить-то надо, а писать анкету нельзя.

Заболела я малярией, затрепало совсем, а тут еще почище — радикулит, отнялась нога — положили в больницу, унесли на одеяле, младшенький мой пяти лет, прибежал следом, залез под мою койку и кричит:

— Я отсюда не пойду, буду спать здесь.

Старушка, моя соседка, увела его и все время оставалась с ним, потому что мужа в это время не было дома, уезжал в командировку. Меня через какое-то время отправили в окружную больницу, пролежала там месяц, выписали, а ходить не могу — нога болит.

Бабушка-соседка сказала мне:

— Я тебя вылечу!

И принялась за дело: ванны — прогревание, говорит, тот же курорт, только на русской печке. Собирала в конюшне по яслям труху — объедки, разноцветные отерыши в мешок, топила русскую печь, широкую, как телега, на разогретую ее лила квас, выкладывала свою труху — сверху опять поливала квасом, это все накрывала брезентом, а когда он нагревался, поднимали меня на это ложе, укутывали, и я лежала по два часа долгие пятнадцать сеансов. Никакого контроля за состоянием других органов, естественно, не было. А у меня уже прибаливало сердце. Мне стало лучше. А бабушка разжигала примус, клала на него кирпич, ставила сковороду, в которую наливала денатурат, в него я ставила ноги, меня укутывала, я так сидела, пока могла

терпеть. А потом рвала она молодой лист березы – и в матрасный мешок, его тоже грели над сковородой, а когда он прогревался – меня укладывали в него, я лежала там тоже, пока могла терпеть, а лист был горячий, как огонь. До самых волдырей терпела – потом лечили волдыри гусиным салом. Все быстро зажило, и я постепенно стала ходить своими ногами...

Моей целительнице было в то время девяносто шесть лет, она курила «козью ножку» с махоркой, неразведенного спиртику выпивала стопку – и ни грамма больше, бывало, хватятся, а бабы Евы нет и сетей нет: она вечером уходила на берег, стлавала на воду лодку и сети ставила, утречком у нее свежая уха и соседи в гостях.

Однажды захожу к ней, а у нее сидит продавец из юрт, это в горной стороне, но нашего сельсовета, тридцать километров за рекой... Мне приходилось делать ревизию в его магазине. Он русский, а население там все ханты да манси, рыбаки. Старуха уже баню истопила и повела мыться этого продавца. «Как это так, – думаю, – среди бела дня бабка топит баню, моет продавца в рабочее время?!» А бабка заходит ко мне вечером и говорит:

– Это я его лечу, у него сифилис.

– Боже, неужели вы и это лечите? – пришла я в ужас.

– Да, уже пятьдесят лет. Только мне трудно доставать необходимое для этого конопляное масло. Кто достанет, того и лечу, а он принес целую бутылку.

Я едва дождалась утра, хоть и плохо ходила, но отправилась в сельсовет: так-то и так-то, кто у вас отвечает за здоровье продавцов, проходят ли они профилактический осмотр? Ага, вас даже четверо, а под носом у вас торгует сифилитик?

Поднялись все на ноги, увезли несчастного в окружную больницу. Мужчина был одиноким, живя в юртах, мало общался с народом, никто им не интересовался, его даже на призывной пункт не приглашали. А он был белый офицер и большой преступник, как говорили о нем, а сам он больше к нам не возвращался, у нас не появился. А бабушка Ева все кого-то

потихоньку лечила, даже меня просила при случае достать в Тобольске конопляного масла. Она сама хоть и остячка была, но родом из-под Тобольска, жила в деревне у дочери и ее мужа, со многими внуками.

После войны были выборы народных депутатов, и вот в окружной газете читаю – я тогда жила в другом районе – что в нашем Реполово первыми проголосовали старейшие жители Плахотин. И. В. ста семи лет и бабушка Ева – ста пяти. Оба они в Бога не верили, не признавали его. «Бог-то Бог да сам не будь плох», – говаривала она. (И постоянно зло матюгалась).

Мы уехали с Севера и слыхом слышали, что оба старика умерли в середине шестидесятых.

XXXIV

Кончилась война. Митинг. Радость. Слезы.

Я уже говорила, что председателя нашего сельсовета призывали в армию, он был старый вояка, без двух ребер и двух пальцев на руке, вояка со стажем – политкомиссар. Его призывали, а вместо него оставили временно исполняющим должность шестидесятилетнего старика, у которого на фронте было пятеро сыновей. На четверых у него уже были похоронки.

В тот день проводила контрольную выпечку – это когда целые сутки надо находиться в пекарне, чтобы установить размер припека. Назавтра, закончив, понесла акт в бухгалтерию, а временный наш председатель сидит за столом, склонив голову, увидел меня, поманил пальцем, заходи, дескать. Зашла. Он вынул из кармана свернутую пополам бумагу, а сам затрясся в плаче. Похоронка. На пятого сына. Я онемела, у меня опустились руки. А он трясся. Я взяла его за плечи, уговаривать стала, а он:

– Как я пойду к матери, что ей скажу! – а самого крупная дрожь колотит.

Я его оставила в кабинете, сама к главбуху, сдала акт и говорю: надо что-то делать с Ивановичем, он получил пятую похоронку, сидит за столом, плачет, его трясет.

– Ты моложе, беги за врачом! – прокричал главбух, выскочил из-за стола и к нему, а он лежит на столе, спокойный, руки вперед вытянул. Коснулись его, а он мертв.

За окнами крик, мат – бежит жена, до которой слухи дошли о похоронке, – что он вытворяет, получил и не несет мне! Кое-как уговорили подождать, не входить к нему – это же второй удар за один день! Она кое-как успокоилась, правда, ей медсестра сделала укол, за врачом сбегала техничка, – врач вошла в кабинет, жена следом, видит, что муж сидит на стуле, голова откинута и рот открыт. Все поняла. Отошла к окошку, достала кисет, свернула козью ножку, закурила и как будто сама себе сказала:

– У меня еще две дочери осталось, похоронить есть кому.

Но дочери живут не здесь, не враз приедешь, да и плыть-то сколько суток пароходом! И схоронили несчастного общими силами, женщины и могилу рыли, и телегу с гробом везли – нести некому было.

Вдова не плакала, не рыдала – все в ней, видимо, запеклось камнем, сидела на телеге рядом с гробом и курила.

Беда беду родит. А у меня одно тяжелое воспоминание родит другое тяжелое. На нашей «веревочке» были специально отведены дома, которые были как бы постоянные дворы, здесь проезжему давали горячий чай, перепрягали лошадей, а для раненых было определенное количество тулупов, валенок пар пять, – одевают во все это раненых, демобилизованных домой, везут до другой веревочки, забирают все это имущество, возвращаются домой, а там уж на других «веревочках» все это повторяется. И вот однажды привезли на нашу «веревочку» трех раненых, а «веревочка» уже ушла. Эти трое ждать следующей не захотели, решили добираться до дому пешком. Они из другого района, на дворе трескучий январь, но главное – волки, у них в эту пору гон идет, волчьи свадьбы. В это время в путь отправляются только с оружием да еще везут заготовленные заранее жгуты из соломы или сена, в дороге их поджигают и

связанными отпускают по следу саней – такой огненный ручей тянется за санями. Почта тоже ходила только так – с оружием и огнем. А эти трое ночью отправились в путь без всего. Через день три их оглоданные скелета нашли недалеко от нашей деревни. Все на них было разорвано в клочья, только ботинки на ногах остались. Какие страшные муки приняли бойцы далеко от фронта, рядом с родным домом.

После этого случая строго не разрешалось уходить из села пешком.

Удивительная личность появляется в нашей столовой: вроде бы раненый, прихрамывает, на нем длинная шинель, на голове островерхий буденовский шлем, а сам здоровяк-здоровяком.

– Что, у вас одни женщины здесь работают? – сразу спросил он.

– Да, – в один голос ответили мои девочки.

– А мужья что – воюют?

– Да!

– А знаете, что им воевать нечем? Одни бутылки с горючей смесью, побьет их Гитлер, вы все вдовами останетесь.

Я все слышу, но не подхожу, а солдатики мои уши развесили, кое-кто в слезы. Он увидел, что никак на его слова не реагирую, подошел и говорит:

– Мне нужно конфет.

– Этого продукта у нас нет, вот через дорогу от нас рыбокооп, зайдите туда, обратитесь к председателю, он даст указание в магазин, если конфеты там есть.

Он поблагодарил и ушел, а за ужином высказал мне:

– Ваш муж, – и что-то споткнулся вроде, – он хоть и муж ваш, но большая сволочь.

Я оторопела.

– В чем дело?

– Он мне сказал: зайдите вечером, мы тут соберемся все, и вы расскажете, как идут дела на фронте, тут будет буфет с конфетами. Я отказался от его конфет и от собрания.

Я поняла все, сказала, что председатель не мой муж. И поняла, что он враг-шпион, потому что такой формы давно не носят. Потому что не знает, что в нашей стране муж и жена могут работать в одной организации и не подчиняться друг другу, а этот посетитель понял, что столовая принадлежит частному лицу, что председатель ее собственник, а я жена председателя. Но кому свои мысли выскажешь? На ночь его взял директор маслозавода, у него сын в армии и сноха, вот они, сердобольные, истопили ему баньку, помыть его он никому не разрешил, ему дают в баньку свою одежду — он не берет, с шинелью своей не расстается, после бани его укладывают в чистую постель, а он и туда со своей шинелью. Утром в сердобольной семье опять накормили его, проводили на «веревочку».

Вечером я пришла домой, а жили мы, как я уже говорила, в старом купеческом доме, во второй половине которого жил агроном Вялков, тоже человек печальной судьбы. Он служил в армии, в политотделе, а тут горе — отца арестовали как врага народа, Вялкова исключили из партии, сняли с работы и отправили сюда, на Север, тут хоть и не сразу, но все-таки взяли по старой сельскохозяйственной его специальности. Я ему, поскольку он бывший политрук, рассказала об этой встрече, свои подозрения высказала, а к кому больше обратиться — никого нет. Но и Иван Федорович ничего не мог сделать. А вскорости поехал в окрсельхозотдел, вернувшись, сразу зашел ко мне в столовую сказать: да, ты права, крупная птица. Как позже выяснилось, на побережье Карского моря был с самолета высажен десант, который уже подбирался к самому Салехарду, что с ним стало, не знаю, а этот человек через города и села и, возможно, не один, сеял панику среди населения и, кто знает, какие еще имел здания, при нем обнаружили карты и планы и все для того, чтобы встретиться с теми, что поджидали его в наших краях.

Потом еще случай был. Созрела черная смородина, но это за Иртышом, далеко на другом берегу, на лодке надо плыть. Соб-

рались мы, пять женщин и девочка с нами лет двенадцати, и поплыли ближе к вечеру с расчетом заночевать, а с утра взяться за ягоду. Над самой рекой развели костер, набрали сухой травы, вернее, сена, тут рядом был сенокос, сидим, чай попиваем, всякие байки рассказываем. А как стемнело, подходит к нам человек, одет не по-местному, на нем дорожной костюм, который когда-то был очень хорош, но теперь даже обрямкан. Мы малость испугались, примолкли, а он: женщины, можно я вашего чайку попою? Мы переглянулись: ну пейте! Он вынул из кармана засаленный узелок, достал из него кусочек хлеба и сахара, а кружку попросил у нас.

В нашей компании была острая на язычок чудачка, смелая, подала ему кружку и говорит: пей да уматывай поскорее отсюда, нам мужиков не надо.

– Я все-таки здесь у костерка заночую, здесь комаров нет, – проговорил он, отдавая нашей смелячке Шуручке кружку.

– Ну, если не уйдешь, – ответила она ему, – тогда рассказывай, кто ты и что здесь желаешь?

Он, дескать, я из экспедиции, ищем нефть, а Шура ему напрямик: не ври, здесь нефти не ищут, ищут ее за Полярным кругом. Он свое: отбился от моей партии, брожу по тайге один.

– Тогда ночуй здесь, – разрешает ему Шура, – а завтра мы увезем тебя в село, узнаем, кто ты такой.

Он улегся у костра, вроде бы спит. Да так и должно оно быть после тайги. Мы шутили на его счет, просто так шутили, пели песни, чтобы не вздремнуть до утра. Но все же уснули. Просыпаемся, а его нет, нет нашей сумки. Это нашей-то сумки нет, с хлебом, молоком и зеленью! Через какое-то время, может быть, через месяц пошли разговоры: в лесу задержали такого человека, арестовали и под конвоем увезли в округ. Не простой чудака был, давно разыскиваемый был субчик.

XXXV

Мужа переводят в другой район, много севернее, в другую МТС. А мы собрались вернуться в Омск. Уже сентябрь. Сорок пятый год, мы так долго здесь задержались. Муж идет к начальству с отказом, а за нами из того района, Микояновского (теперь Октябрьский), уже пришел катер с паромом-паузком за семьей. Муж отказывается. Из округа прибывает начальник сельхозуправления. Везет с собой механика принять должность у моего Петра Филипповича. И судью привезли с собой.

Прибегает ко мне домой счетовод рыбкоопа, расстроенная, мы с нею жили по-дружески, она коммунистка и судебный заседатель.

– Что вы делаете? – выпаливает она. – Беги, говори скорее своему, чтобы соглашался на перевод, а то ведь судья Спасенников приехал, судить будет за отказ. – Она даже стакан воды себе налила, чтобы передохнуть: – Меня уже в суд вызывали, говорили, судить будут здесь же, в сельсовете.

Я к Спасенкову: что будет Белиму? Сказал, не менее пяти лет заключения за отказ от работы.

Я рассказала мужу, рассказала ему все, он мне ответил, что разговаривал уже с начальством, ему все объяснил, придется ехать.

– А кому должность передавать будешь?

– Да тому Николаеву, что с грыжей убежал из больницы в бакенщики.

Я подумала: вот ведь четыре года проваляндил на бакенах, не голодал, не холодал, а вернулся на хорошую должность. Случись такое с беспартийным, что было бы?!

Как арестованных, собрали нас к отправке: рабочих сняли с работы, чтобы перенесли наши вещи на плашкоут, который стоял на берегу, там была еще одна семья: начальник политотдела вернулся из армии. Его направили на работу в округ. Катер идет полным ходом, тянет наш паром-паузок, мы занимаемся кто во что горазд. Жена политотдела ходит по бордюрику па-

узкая, в одной руке чашка, другой она достает из нее бруснику и ест, ходит-ходит и вдруг оступает – оказывается за бортом. Мы все в паузке ох и ах, она барахтается в холодной воде, сняла ботинки, держится, но ее относит течением к водовороту, вдруг парень (их к нам много тогда навезли) раздевается и в воду с веревкой в руке, а она уже в водовороте, он бросает ей веревку, она никак не может ее поймать. На паузке вопли, плач, дети ее орут – а их четверо, орут, стучат кулачками по бордюру, муж бледный, как полотно, стоит, тихо приговаривая: она пловчиха, спортсменка, призы брала на соревнованиях. Она, наконец, поймала веревку, оба они подплыли к паузку, их вытащили на борт, помогли подняться. Ей хотелось удивить нас, а чуть не получилось как в той басенке. Муж с бабой поехали на престольный праздник в дальнюю деревню к храму. Жена говорит: путь далек, давай пообедаем, но чтобы получилось по-быстрому, ты хлебай борщ, а я – жаркое. Муж согласился. Пообедали. Теперь, чтобы было по-быстрому, ты садись на воз, а я – на коня, сказал и ускакал, баба осталась сидеть на возу.

В новой МТС нас встретили хорошо, была приготовлена хорошая квартира, муж приступил к работе, я устроила своего сынишку в школу. И как-то сразу муж отправился в командировку по участкам, оно и понятно: ознакомиться с хозяйством своим новым надо. Он уехал, а ко мне ночью в дверь стук. Я смотрю в боковое окно: стоят два мужика. Спрашиваю через дверь: кто и что. Отвечают: из милиции. Не открою, говорю, в доме еще три жильца, вызовите их. Вызвали. Вместе с ними и зашли в нашу квартиру. Зашли, расспросили: кто, откуда? Думаю, если пришли, то уж наверняка знаете, кто мы и откуда, но все рассказываю и объясняю. Прописаться надо, сказали, встать на учет в военкомате и ушли. Наутро я все обошла, все сделала, прониклась уважением к власти: у нас в селе ничего этого не было. Что значит район!

– Ты где-нибудь работаешь, – спросил у меня председатель райисполкома.

– Нет.

– Нет! Так вот тебе общественная работа – провести под-
писку на заем среди неорганизованного населения: домашние
хозяйки, домработницы, пенсионеры. Вот вам все документы.
Действуйте. Деньги сдавайте в банк.

Так меня и оженили.

В селе это тоже было моей обязанностью. Я и отчитывалась,
показала, что могу работать, дала даже двести процентов и
не тянула десять месяцев, а управилась за два и рассчиталась.
Попутно зашла в рыбокооп, оформила переводом сюда свои пае-
вые книжки. Муж мало времени бывал дома, лето все больше по
участкам – колхозам, зимой на ремонте с утра до двух ночи, часто
не обедал, даже вовсе не приходил, ну и закашлял кровью – тубер-
кулез легких. Лечение: порошки, таблетки и ничего более, улуч-
шения нет. Отец одного тракториста привез ему литровую банку
топленого медвежьего сала: пей перед едой столовую ложку, ска-
зал, а я потом еще кое-что приготовлю. Врачи же рекомендовали
лекарство из семи веществ и обязательно то же медвежье сало, но
можно и барсучье или собачье. Я все делала и поила, и кормила.

Взрослые сыновья живут далеко от нас, у каждого своя
жизнь. Младший, разумеется, с нами. И вот ему неестествен-
ным показалось, что отец пьет медвежий жир. Когда-то за за-
втраком наш больной наливает себе ложку этого жира, выпив-
ает, а Гена, младший-то, давай изображать, что его затошнило:
ыээ, ыээ. Отец обиделся, не стал есть и ушел, не позавтракав. Я
пожурила сынишку, он потупился: «Больше не буду», – сказал.
На второй или третий день поставила на стол жареную карто-
шку на сковороде, каждый наложил себе в тарелку, с аппетитом
поели, а отец смотрит на малыша и говорит:

– Что, ыээ, ыээ? Я три ложки жира вылил в картошку, а вы
ели и ничего не заметили.

Гена опять потупился. К весне своевременное и полное, по
нашим тогдашним возможностям, лечение дало хороший ре-
зультат – отец выздоровел.

На собрании пайщиков, как только объявили о выборах лавочной комиссии, председатель райисполкома мою кандидатуру назвал первой, и проработала я в этой комиссии до самого отъезда в Омск – без малого двадцать пять лет. Зарплату получала, но стаж не шел – общественная работа.

Дважды в сберкассе случались большие недоразумения и дважды меня приглашали на работу туда, даже из райкома приходили, уговаривали. Я нет и нет. Не будь этой проклятой анкеты, да разве бы я отказалась?

В сорок шестом у меня родилась долгожданная дочь. В этом же году летом у моего мужа умерла в Новосибирске мать, Любовь Власьевна, я со своей свекровью постоянно была в натянутых отношениях, но в честь нее согласилась назвать дочь Любовью. Но тут почему-то стали сопротивляться такому имени мои сотрудницы. Назовите ее Жанной, вон как по-современному звучит. Я опять согласилась: Жанна так Жанна. Но под окна роддома прибегает мой Генка, стучит в окно: «Мам, я с вашей Жанной водиться не буду. Назовите ее так, как зовут дочь механика, – называет фамилию, которую я забыла, – назовите ее Альбиной! Альбиной!» И убежал. Так мы и сделали. Требования сына были настойчивы и убедительны.

В сорок восьмом был обмен всех выпусков массового займа, меня попросили помочь открыть обменный пункт при МТС, район здесь был большой: кроме МТС, рыбзавод и частники. Взялась за это, уже привычное дело, как-то легко и хорошо все получилось, сделала, отчиталась, а от оплаты отказалась, так как еще перед тем, как взяться за эту работу, бухгалтер расплакался передо мной: ничего не дали на эту компанию.

– Мне ничего и не надо, – ответила я, – но помочь помогу.

В женотделе райкома меня избрали женорганизатором. Пришлось проводить занятия с женщинами, готовиться к ним. Мне дали примерную тематику таких занятий за подписью первого секретаря райкома – и два вечера в неделю я проводила эти занятия. И опять мне предлагают вступить в партию, и опять мне надо изворачиваться...

А здоровье стадо сдавать: пошаливало сердце, душили приступы стенокардии. Веду учет-ревизию в магазине, на базе, и вдруг приступ, меня отсюда прямо в больницу отвозят.

Дважды под суд попадала вместе с продавцом и заведующей базой. Но, как говорят, невинную голову меч не сечет...

В первый раз проверяли мы базу. Нас два человека комиссии: я председатель, второй член – женщина счетовод из конторы, результаты полагалось доложить до первого января, а на дворе декабрь. А одной муки около ста тонн, сотни банок овощной продукции в подвале, там же вино, компоты, соки. Решили так: я перевешиваю с грузчиками муку, а счетовод с заведующим базой – молодым мужчиной – проверяют остальное в подвале. У меня грузчики сделают два-три веса – и в избушку сторожа на перекур, там всегда тепло. Перекурят – и дальше за работу. Те двое тоже поднимаются из подвала погреться, протопят печки, подсчитают, запишут – и опять в подвал. И так весь месяц. Закончили: все в порядке. Правда, я списала ящик папирос – там мыши гнезд наделали, все в труху превратилось. Мы со счетоводом подписали ведомости: она доверяла мне, я ей. Все у нас сошлось, все хорошо. Я сдала ведомости. Но не прошло и полгода, на базу назначается другая комиссия, ее проведение назначил сам базист, как у нас называли заведующего базой: его стали замечать часто пьяным, даже спавшим на складе. Вторая комиссия проверила в основном вино и водку. Выявилась большая недостача. Поднялся шум, вот мол, первую ревизию проводили домохозяйки, их провели вокруг пальца. Я мимо ушей пропустила такие наветы. Осудили заведующего, дали что-то четыре или пять лет. А причина была та, что его жену отправили на десять месяцев на учебу, вот он и оказался бесконтрольным. Да еще запойные грузчики рядом – брали вино и водку к нему на дом и там распивали. Была и мне повестка в суд, и второму ревизору тоже, она вино в подвале проверяла с базистом. Но ей ничего не было. Она мне сама сказала перед вызовом в суд: я коммунистка и ханты, мне ничего не будет.

Парень отсидел полтора года, и его выпустили, он опять стал заведовать базой, вообще, он был грамотен и умен, просто в отсутствии жены его бес попутал.

Другой раз ревизируем мы универмаг: я в магазине, второй член комиссии – во дворе на складе. Опять обнаружена недостача, опять суд, и я опять свидетелем на суде.

Обо мне уже стали поговаривать в торговле: не накликай на себя Татьяну Николаевну. А накликивали, потому что начальство часто приглашало меня для такой работы...

Наши базы, например, получали вино в бочках, они хранились в подвалах, затем их разливали по бутылкам в пищекомбинате, эту работу выполняют рабочие, на нас лежит контроль. Когда я стою на смене с вином, все в норме, как только другой член комиссии – не хватает трети. Поэтому меня назначили на две смены сразу. И вот однажды мне к вечеру стало плохо, меня увезли в больницу, смена закончилась без меня. И что же – опять нет одной трети. Кто прав, кто виноват – просто не выясняли, замешены были все: и рабочие, и женщины, что разливали вино по бутылкам, а в основном наши грузчики, что увозили ящики, я каждую недостающую бутылку ставила на счет бригадиру, с него потом высчитывали. Он следил, чтобы его компания на бутылки не зарилась, а на меня злился: «Почему ты, что тебе, больше всех надо?!»

XXXVI

Проходит месяц-другой, как переехали мы из села в район. Доходят до нас слухи, что облсельхозуправление выслало медали за победу для награждения рабочих и служащих, в том числе старшего механика, что работал под бронью, а его уже нет в том МТС, медаль выдали тому, кто принял у него должность, кто скрывался в бакенщиках от призыва в армию, скрывался от войны. Его бы судить за дезертирство, ан нет. Его награждают чужой медалью, он нацепил ее и гордится: «Я коммунист, мне положено».

Говорю мужу: ты что молчишь? Он только рукой махнул: да пусть, куда пойдешь?! Через какие только несправедливости прошли тысячи ни в чем не повинных людей! И мы среди них.

Вот она наша партийная правда.

Тракторный парк в Октябрьском был много больше, больше и штат. Положен и заведующий мастерскими. А директор должности не дает. Мой тянет все сам, вот и дотянул до болезни. Я пошла к заведующему райфо узнать, есть ли в профинплане штатная единица заведующего мастерскими. Мне ответили: вот копия облсельхозуправления, наш профинплан утвержден.

– Вижу, что утвержден, – сказала я, – но в МТС такой должности пока нет.

Заведующая позвонила главбуху в МТС, он ответил, что есть и она занята. И назвал фамилию своей жены. А она домохозяйка, летом сидит дома, а на зиму ее берут ученицей бухгалтера. Директор дал согласие на оформление ее заведующей мастерскими, и та денежки получала полностью, а в мастерские хода не знала, да и что бы она там делала? Училась на бухгалтера за государственные денежки и собственного мужа.

Рассказала об этих проделках мужу, он по привычке махнул рукой: что мы можем сделать. Кажется, они знают, кто мы, потому так на наших глазах и творят беззаконие. Дескать, мы не пискнем. Мы и не пискнем, надо как-то жить.

Но мне надоело быть смирной овечкой, я рассказала всем своим знакомым, все громко заговорили: вот как делают из своих жен бухгалтеров в нашем районе!

Ну и что из этого вышло. Главбух просто-напросто наказал моего мужа: вырвал из его личного дела все документы и с первого января перестал выплачивать северные, те, что в прежней МТС ему начисляли. Да так еще поступил со мной: эту пустую папку послал мне со счетоводом: вот, мол, северных ему там не начисляли, нет никаких документов.

– Почему мне-то принесли эту папку? Несите к Петру Филипповичу.

Сама оделась – и опять в райфо, рассказала все, там руками всплеснули: как же так?! Заведующая набрала телефон бухгалтера.

– Николай Иванович, я тебе поставлю на счет все северные, которые ты не выплачиваешь Белиму! На каком основании ты выплачивал их раньше? – не знаю, что он ей ответил, только она сказала: – То-то, этим не шутят.

Северные стали начислять, но нашлось, чем укусить Петра Филипповича и укусить больно. Написали в трудовой книжке вместо «переведен по службе» – «переехал из Реполово», в результате не получилось двадцати лет непрерывного стажа. Когда стали к пенсии начислять десять процентов за такой стаж, это здорово отразилось на нашем бюджете. Я тогда еще говорила, собери все документы, нет, не захотел. Только бы жить на свете и на воле. Такие времена были. Все боялся: за большим погонишься, малое потеряешь. А как же не бояться: отец враг народа, японский шпион. Да, молодые годы он прожил в Порт-Артуре, его отец, дед мужа, был знаменитый кузнец. У него было шестеро сыновей, один из них тоже стал кузнецом, он и в деревне у нас кузнечил, когда их выслали из Порт-Артура в Россию. Все шестеро братьев занимались крестьянством, старшим отец поставил отличные дома, а двум младшим не успел – умер, и они влачили жалкое существование. Отец моего мужа и в деревне остался знаменитым кузнецом, находился под надзором полиции, из города запрашивали местное начальство. Как он ведет себя, он в поведении был безупречен. Мне смешно было, когда он такой специалист, измеряющий все линейкой на миллиметры и дециметры, не умел расписываться, ставил крестик. Село большое, он один специалист, у него всегда есть работа, кто с плугом идет к нему, кто с бороной, лопаты, тяпки несут, ведра запаять, самовары. Он работал и богател, даже мельницу заимел свою. Она три раза горела – то ли по вражде-зависти поджигали, то ли по неосторожности это происходило. Когда стали раскулачивать – мельницы у него уже не было. А когда у него отобрали дом и стали перевозить его под школу, он забрал семью: мать, жену, сына одиннадцати лет, дочь четырех и уехал во Владивосток, там его с руками, с ногами забрали на завод, а там наши же односельчане наговаривают на

него, его увольняют, он переезжает в Лесозаводск, там тоже долго не поработалось, по той же причине – болтовне односельчан, его увольняют. В колхоз он не идет, в городе начинается индустриализация, он переезжает в город Свободный, там нужны специалисты, туда, в тайгу, уезжали многие: кто в колхоз не пошел, кто бежал из колхоза, кого раскулачили, так и оказались в Амурской области, определили ему восстановить разрушенную мельницу, потому что молотить зерно приходилось возить за пятьдесят километров на санях, а лошади все колхозные, а летом возить приходилось на лодках. Жизнь вроде бы начала налаживаться, но в тридцать седьмом пришли за ним, ни слова не говоря, забрали с собой, а в газете появляется вскоре объявление: расстрелян как японский шпион. Жил за границей.

Когда реабилитировать стали, на запрос пришел ответ из Порт-Артура: принимал участие в демонстрации 1905 года, за что и был выслан в Россию. Вместе с этой писаниной вручили реабилитацию: ни в чем не виновен. Ни за что погибали наши отцы, а мы всю жизнь протряслись: день и ночь – а вдруг, а вдруг... Мы прожили страшный век. Мне было семь лет, когда началась война 1914 года, и с тех пор мне помнится только плохое, хорошего было мало. Гражданская, японская оккупация, только вздохнули – коллективизация. Непосильные налоги, хлебопоставки – собирали хлеб до последнего зернышка... И дальше все то, о чем здесь рассказано.

Господи, где только наше семейство не носило по стране, чего только мы не насмотрелись!

Тридцатые годы. Самый известный поезд 501. Его называли «пятьсот веселый». Это три-четыре пассажирских вагона с общими местами, к ним сколько угодно прицеплялось товарных вагонов. Останавливается он на всех полустанках. На всех разъездах и станциях. И вот идет он из Владивостока на запад. Я сажусь на станции в вагон, который, кажется, от пола до потолка забит людьми: на нижних полках сидят по четыре-пять человек, на верхних – по несколько человек, некоторые привязаны ремня-

ми, чтобы не упасть. Чемоданы их там же, под головами. На полу сидят на корточках или лежат, спят. И темень — не проглядеть: одна лампочка у входа в вагон, над проводником.

Заходят в вагон человек шесть молодежи с гармошкой, заиграли, запели, да так хорошо, а женщина сверху, аж с третьей полки кричит:

— Ото ж наг्राют на чью-то голову!

Несколько раз говорит и говорит одно и то же. А ребята играют действительно хорошо, хорошо поют и шуточные, и задушевные, и жалостливые. Наверное, часа два играли и ушли, все притихло, была глухая ночь, кто мог, вздремнул. В четыре часа засобирались сходить те, кто с торгов ехал, туда возили кто что — фасоль и мак, и масло сливочное, и картошку. Там выменивали все на обувь, одежонку, на какой-нибудь метр ситчика. И едут домой довольные, у них же чемоданы в руках. И тут как закричит опять та женщина, что предупреждала: «ой наг्राют на чью-то голову!»:

— А де ж мий чемодан, боже ж мий. Де мий чемодан?! — она кричит и ревет. — Да я ж Левку чоботы купила, а боже, а де мий чемодан, а с чем я до дому вернусь, а боже ж мий, що он мыни скаже...

Она кричит и плачет, а вагон хохочет до упаду. На самом деле, как могло случиться: она лежала на самой верхней полке, чемодан был при ней, она всех предупреждала быть осторожнее.

— То ж бачь, на чью голову нагнали! — успокаивалась женщина...

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Комаров. «Анатолий Васильев: «И тоже пламенем объят»	
Статья	5
Стихотворения.....	11
Я на донышке капли увидел тебя	
«Я на донышке капли увидел тебя».....	12
«Долго-долго гармошка плакала...»	13
«Затерялась ты...»	14
«Ах, какая ты рыжая-рыжая!».....	15
«Сумасбродная, непослушная...»	16
«Ты улыбнешься издалека...»	17
«Небосвода осенняя полинь...»	18
«Далекая, как звезда...»	19
«Алюминиевой окраски...»	20
«...И какой ни была бы гроза...»	21
«Весь мир зови на выручку...»	22
«Все вопреки тебе, все вопреки...»	23
«Все не так у нас, все не этак...»	24
«Мне четыреста лет. Пока!»	25
«Это что за разговоры, что за тон!...»	26
«Вот и кончено – расстаемся»	27
«А я без тебя все равно не смогу...»	28
«...И какой же я вежливый...»	29
«Все в мире сегодня привычно...»	30
«Не смотрите бережно...»	31
«Ой, не ходи, не ходи ты около...»	32
«Пьет земля весенние дожди...»	33
«Выдумывал, сравнивал, взвешивал...».....	34
«Какая девочка со мной!»	35
«Я буду юность с тебя писать...»	36
Лирика	37
«Много в жизни страниц зачеркнутых...»	38
«Талка – не весталка»	39
Осенняя арфа	40
Новогоднее	41
«Женщина стоит на подоконнике»	42
«Я хожу по Первомайской...»	43
«Года взрослей, а дни моложе...»	44
«А я тебя читаю между строк...»	45
«У самой степи, над которой...»	46

«Я жениться приеду в Ишим...»	47
«По-над кварталами...»	48
«Что кому завещано»	49
«Фигурка, рвущаяся в талии...»	50
Молодость	51
«И, кажется, глухнут антенны...»	52
Вечерние птицы	53
«Мы еще вернемся в Парники...»	54
«Конечно, я этот и тот...»	55
«Я руки к тебе тяну через годы в детство...»	56
«Вся на взводах, на вздохах-выдохах...»	58
«И боль кровотока...»	59
К любви	60
Снежный этюд	61

Зеленый остров

«Дошатый мост. Дорога на Ишим...»	64
«Поезд скроется, даль клубя...»	65
«Вставало солнце в начале дороги...»	66
«Умерла моя мама. Отхлопотала...»	67
«Поля не ждут войны...»	68
«Я на земле в родстве со всем...»	69
«Прибой. Будто белые кони...»	70
«Смолкло море...»	71
«Ни ходко ни валко...»	72
«Литого июльского моря...»	73
Черкесск	74
Стихи о старом городе Таре	75
На зеленом острове	76
На станции «Никола Полома»	77
Московские стихи	79
Февраль	80
Апрель	81
«Закат себя сожжет вот-вот...»	82
«Раскалился июль - и уже...»	83
«Тяжелей и ровней поплыла...»	84
Осень	85
«Низко поклоны кладу...»	86
Дачники	87
«Ах, эти сосны, эти сосны...»	88
«Надо мною кулики...»	89
Дорога	90

Батюшка хлеб	92
На реке Кайле	99
Январь	100
Обращение к любви	101

Свет без тени

«Люблю неторопливые слова...»	116
«А жизнь права: последней переправы...»	117
«Дай у твоего костра погреться...»	118
«Гулеванам обед на столбе...»	119
«...И за глухими ставнями...»	120
Казашка	121
Айя	122
«Свет без тени. Рощи – мачтами»	123
«Все не то я делаю...»	124
«Некогда дань платить мелочам»	125
«Мы растем быстрее, чем города...»	126
«Еще весенние ветры...»	127
1919	128
Лермонтов. 1841	129
Блок. 1917	130
Коммунальный сюжет	131
«Все те же споры в свете ламповом...»	132
Моей пишущей машинке	133
Стихи из кинозала	134
«Несло-несло и вынесло...»	135
«Ты куда опять, капитан?!»	136
«В бесполезных гаснут усилиях»	137
«Этих мы в Дели...»	138
«Соседу яму не копаю...»	139
«Все обыденно просто...»	140
«Научи меня быть молодым...»	141
«И нет спасенья от тоски...»	142
Сорокины	143
«Который раз я поражен...»	144
«Завтра выпадет снег. Последние...»	145
«Говорок печурки картав»	146
«По мосткам-переходам из жиденьких плашек»	147
«По огнищам, урочищам, поймам...»	148
Памяти Брайса Вегиса	149
О старости	150
Да, господа, не слабо!	151
Река и берег	152

Офицерское общежитие

Производство в офицеры	160
«Они из каких семян прорастают...»	161
Офицерское общежитие	162
Баллада о мальчишках	163
«Над кварталами звезд – как из короба»	165
«Ни за понюшку ни за чох»	166
Условный противник	167
«Не положить Россию ниц»	170

Тюменский Север

Тюмень	171
В самолете	172
Междуреченск	173
Тюмень – Тобольск	174
«На берегах Инк-ван-югана»	175
«Идут осенние дожди»	176
Письмо сыну	177
«Здесь наломанного, набитого...»	178

Переводы

Сергей Брат (с черкесского). Речка	179
Булат Сулейманов (с татарского)	
«Клином отлетные гуси прошли...»	180
«Свободную птицу с красивым пером...»	181
Юсуп Хаппалаев (с лакского). Бариба	182

Венок сонетов России	183
Палиндромы и фразы	198

Эссе. Воспоминания

Я – база!	202
Послесловие	216
Русская Венесуэла	276
Вся человеческая жизнь	281

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

Том третий

СТИХОТВОРЕНИЯ. ЭССЕ. ВОСПОМИНАНИЯ

Художник **Янке В. В.**
Корректор **Назырова Т. Н.**

Набор, верстка ОАО «Тюменский издательский дом»
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 11
тел./факс 8(3452) 45-01-16, 45-35-67

Сдано в набор 09.09.06 г.
Подписано к печати 15.03.07 г.
Формат 60х90/16. Объем 26 усл. п. л. Бумага ВХИ.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 240

Отпечатано с готовых PS-файлов
в ОАО «Тюменский дом печати»
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81